

А. В. ОГНЁВ
МИХАИЛ ШОЛОХОВ И НАШЕ ВРЕМЯ
Тверь 1996

В книге Огнёва А. В., доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки РФ, дается анализ творчества М. А. Шолохова, его общественно-политических и литературно-эстетических взглядов в контексте современной идеологической борьбы. В работе использованы новые - появившиеся в печати - материалы о жизни и творчестве Шолохова, дается развернутый ответ на многочисленные инсинуации о его "плагиате".

ВВЕДЕНИЕ

Михаил Александрович Шолохов - великий писатель, истый патриот русской земли, плоть от плоти нашего народа - был нерасторжимыми нитями связан с простыми людьми, жил их повседневными заботами, чаяниями и надеждами. Самая что ни есть живая русская жизнь с ее удивительно щедрым разнотравьем предстает в его незабываемых творениях, обладающих всеми чертами истинной народности. О прозе М. Шолохова можно сказать словами А. Пушкина: "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет". Шолохов выбирал для художественного изображения самые критические, судьбоносные периоды в жизни народа, что обусловило подлинную эпическую наполненность его произведений и насыщенность трагическими коллизиями огромного исторического масштаба. В их высокохудожественном раскрытии с наибольшей силой и яркостью проявилась его гениальность как духовного выразителя русской нации. А. Овчаренко назвал "временем Шолохова" целое пятидесятилетие в советской литературе.

Шолохов создал обессмертивший его "Тихий Дон" - лучшую эпопею XX века. В ней с бесстрашной правдой он показал великие по социально-общественному смыслу конфликты крутого переломного времени, наиболее устойчивые нравственно-психологические качества русской нации, отразил глубинные изменения в России в результате активного участия народа в событиях всемирно - исторического значения. Верно писал Л. Ершов: "Шолохов - величайший оптимист и гуманист, хотя литература XX века не знала еще трагического художника такой силы. Не имеет она в своем арсенале и эпического полотна, сравнимого по размаху, глубине и мощи с шолоховской эпопеей" (Звезда. 1975. № 5. С.162).

В "Тихом Доне" с гениальной прозорливостью поставлена кардинальная проблема великого по своим достижениям и тягостного по утратам XX века: судьба русской нации в эпоху глубочайшего социального перелома. Шолохов с мудрым проникновением в сложнейшие закономерности развития вздыбленной революцией жизни изобразил в эпопее, как в изнурительной, страшной по своим разрушительным последствиям братоубийственной войне рушился привычный старый мир, как с огромными людскими и материальными потерями возникла новая общественная система, что обусловило "новое раскрытие таких "вечных" вопросов, как "человек и история", "война и мир", "личность и масса" (Л. Ершов).

Выросший в степном казачьем крае, испытавший в своей жизни много несправедливостей, не раз оклеветанный, Шолохов прославил родную страну, русский народ произведениями, вошедшими в общепризнанную мировую классику. Они поражают чудовищной силой изобразительности, той необыкновенной пластичностью образов и глубочайшим проникновением в самые укромные тайники человеческой психологии, которые создают чарующую иллюзию жизни, раскрывающей свои сокровенные тайны перед читателем.

Первичный источник этого необыкновенного волшебства заключается не только в колоссальной способности писателя рисовать очень яркие, удивительно зримые картины действительности и точно угадывать сугубо индивидуальное

проявление человеческой души в том или ином состоянии, но и в его непоколебимой вере в силу справедливости, в силу любви к людям, родной стране. Неистребимая любовь к родине, величайший гуманизм постоянно питали мужество и честность Шолохова, его веру в неукротимую устремленность русского народа к лучшей жизни, полной социальной справедливости и свободе. Эта могучая любовь помогала ему жить по высшим законам правды и совести, сделать правду краеугольным камнем своего жизненного и творческого поведения, основополагающим принципом своей художественной деятельности.

Без всепоглощающей любви к своей родине, без сильнейшей устремленности к правдивому изображению самых сложных жизненных коллизий не было бы великого писателя Шолохова. Он был убежден в том, что “литератор должен нести ответственность перед своим народом за каждую свою строку” (Огонек. 1985. № 21. С. 22). При получении Нобелевской премии в Стокгольме Шолохов так сказал о призвании, задачах писателя, который считает себя “сыном своего народа, малой частицей человечества”: “Говорить с читателем честно, говорить людям правду - подчас суровую, но всегда мужественную...” Он считал, что писателю нельзя приукрашивать “действительность в прямой ущерб правде” и щадить “чувствительность читателя из ложного желания приспособиться к нему” (М. Шолохов. Собр. соч. в 8-ми томах. ГИХЛ. 1956-1960 гг. С. 8,104). В дальнейшем цитаты из произведений Шолохова, кроме особо оговоренных, даются по этому изданию, в скобках указываются том и страницы.

Потрясающую правдивость творчества Шолохова отмечали многие писатели. С. Михалков говорил: “Во всех томах его произведений нет ни одного слова лжи. Именно поэтому имя Шолохова стало высшим критерием для всего советского искусства” (Литературная газета. 1984. 29 февраля). Многоаспектная проблема правды стала ведущей темой его творчества, притягательным центром его художественных раздумий, мощным стимулом его писаний и даже могучей нравственной опорой в борьбе за лучшую жизнь для всего народа. По мнению Шолохова, самое главное в творчестве писателя - “верность правде жизни, родному народу”. Верность правде жизни стоит у него рядом с верностью своему народу. Это неустанное стремление жить по правде и изображать в своих произведениях полновесную правду с подлинно народных позиций очень многое определяло в нравственном и писательском облике Шолохова.

“Раздумывая о величии и неповторимости таланта Шолохова, С. Бондарчук вспомнил разговор с ним о правде в искусстве: “И Михаил Александрович задумчиво сказал, что писать правду нелегко, но этим не ограничивается писательское предназначение - сложнее писать истину. Истину! Потом, уже после разговора, Василий Шукшин недаром сравнит Шолохова со знаменитым пушкинским образом подвижника - летописца Пимена из “Бориса Годунова”: ”Еще одно, последнее сказанье - и летопись окончена моя...” Ведь Пушкин, введя в трагедию этот образ, тоже поставил главную для художника проблему - правды и истины. Правда - понятие многоликое. И об этом хорошо сказал замечательный советский кинорежиссер Александр Довженко, обращаясь к актерам перед началом

съемок фильма “Щорс”: “Приготовьте самые чистые краски, художники. Мы будем писать отшумевшую юность свою... Уберите все пятаки медных правд. Оставьте только чистое золото истины”. Для Шолохова понятие истины в искусстве связано прежде всего с глубинным постижением народного характера, с необычной зоркостью взгляда, прозорливым проникновением в поэзию земного, с поистине удивительным знанием того, о чем он пишет. Каждая строка его - поиски этой истины” (Могучий талант. М., 1981. С. 30). При повторном цитировании коллективного сборника, кроме фамилии автора статьи, даются название сборника и страницы. Если цитируется единственная работа автора, то при повторном цитировании указываются его фамилия и страницы издания.

Шолохов как великий писатель рожден Октябрьской революцией, он глубоко впитал в себя ее идеалы и с беспощадной правдивостью отразил в своих произведениях жестокую и вместе с тем величественную суть того времени. Изображая его, он в своем творчестве сумел встать на такую высоту, на такую ступень художественного познания, которая позволила ему раскрыть трагическую правду революционного переворота, разделившего русский народ на враждующие лагеря, - и понять и передать читателям правду и одной, и другой стороны.

Важные стороны творчества Шолохова и его героев определил Н. Федь: “У Гомера, Сервантеса, Шекспира, Л. Толстого и Шолохова... есть некие общие, родственные черты - и прежде всего широкий взгляд на мир и возвышенное спокойствие духа при трагическом состоянии мира. Близок Шолохов к великим предшественникам и своими героями, исполненного бунтарского духа, активного действия и безусловной объективности. Они гибнут непобежденные, веря в правду, в жизнь ради жизни. У Шолохова, как и у Шекспира, “нет в мире виноватых”, что свидетельствует о глубоком осознании социальной несправедливости, а равно ответственности общества за страдания безвинных людей; рушится мир, но не сломлен дух человека и живет вера в возможность духовно-нравственного возрождения личности” (Молодая гвардия. 1995. № 3. С. 250).

В 1984 г. “читательский рейтинг Шолохова был на втором месте после Л. Толстого, но перед Пушкиным” (Культура. 1995. 20 мая). На 1 января 1988 г., по данным Всесоюзной книжной палаты, произведения М. Шолохова издавались у нас 1236 раз общим тиражом 126431000 экземпляров на 91 языке. “Тихий Дон” издан 353 раза тиражом 22154000 экземпляров на 28 языках народов СССР и зарубежных стран.

Очень редко писателя называют гениальным при его жизни. Такое исключение было сделано для Шолохова. Э. Симмонс в 1944 году в одной из американских газет назвал Шолохова гением, у которого “налицо толстовский эпический размах и редкой силы реализм в “Тихом Доне” (Прийма К. “Тихий Дон” сражается. Ростов н/Д, 1983. С. 484). Финский писатель М. Ларни утверждал: “...всегда существует круг людей, которые при жизни гения сознают его гениальность. Если бы мне никогда не довелось лично встретиться с М. Шолоховым, я все равно почитал бы в нем великого писателя нашей эпохи, произведения которого уже сейчас несут в себе печать живой классики” (М. А. Шолохов. М., 1966. С. 17).

Глава 1. ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПРАВДЕ

Ф. Абрамов писал: "По густоте замеса жизни, по накалу и ярости людских страстей, по язычески щедрой живописности слова Шолохов не знает себе равных в русской литературе". Посчитав "Тихий Дон" поистине уникальным явлением вселенского масштаба, самой великой книгой "не только в русской, но и в мировой литературе", он писал о начале творческого пути Шолохова: "В искусстве XX века он взмыл как Василий Блаженный, и мир ахнул от восторга и изумления. ...Писательская карьера Шолохова ошеломляюща, фантастична" (Абрамов Ф. Слово в ядерный век. М., 1987. С. 413-414).

Могучий творческий взлет Шолохова изумляет многих. Многие пытаются разгадать тайну этого необычного взлета, и среди них находится немало злопыхателей и клеветников. Так, Л. Кацис заявил: "Советский классик Шолохов возник как явление, поскольку РАППу нужно было создать "в доску" своего великого писателя. Выбор пал на Шолохова" (Российские вести. 1994. 10 сентября). Вот, оказывается, как поразительно просто могут появляться гениальные писатели, захотелось кому-то занять его - и получайте нового Шекспира, нового Пушкина, нового Л. Толстого и, наконец, Шолохова. Только вот заковыка: почему выбор пал на Шолохова? Происхождение - не пролетарское, "вырос в семье станичного купца и предпринимателя, имевшего наемных работников" (В. Кожин), венчался в церкви, тесть Громославский - зажиточный казак, одно время был станичным атаманом, в 1923 г. стал псаломщиком. В 1927 г. Шолохов, уже будучи писателем, просил принять его в комсомол, но ему отказали: "в то время по постановлению "О регулированию роста комсомола" разрешалось принимать только рабочих, батраков и бедняков" (Литературная Россия. 1990. 23 мая). В руководстве РАППа не назовешь никого, за исключением А. Серафимовича, кого можно бы отнести к друзьям Шолохова. Рапповские критики писали, что Шолохов "не художник пролетариата", что он "мелкобуржуазный интеллигент-попутчик", проводник "кулацкой идеологии".

Шолохов не захотел жить в Москве. Мария Петровна, его жена, рассказала: "Городская жизнь Михаила Александровича утомляла, даже раздражала. "Город - не моя стихия", - говорил он" (Правда. 1988. 20 мая). В книге К. Симонова "Глазами человека моего поколения" (М., 1988. С.128) сообщается, что однажды на совещании Сталин при разговоре о творческих командировках сказал, что, "когда серьезный писатель серьезно работает, он сам поедет, если ему нужно". "Как, Шолохов не ездит в командировки? - помолчав, спросил он. "Он все время в командировке, - сказал о Шолохове Фадеев. "И не хочет оттуда уезжать? - спросил Сталин. "Нет, - сказал Фадеев, - не хочет переезжать в город". "Боится города, - сказал Сталин".

Большая часть жизни Шолохова была связана с Вешенской. Выбор ее для постоянного проживания был связан с его творческими планами. Вместе с тем немалую роль в этом играло и то, что глубокие корни родства Шолохова уходили в эту станицу: в Вешенской жили дед Михаил Михайлович и бабка Мария Ва-

сильевна, отец, Александр Михайлович, и - в юности - мать, Анастасия Даниловна.

Анастасия Даниловна (в девичестве Черникова) по происхождению украинка, но обрусевшая, рано стала сиротой, работала горничной у деда будущего писателя, была насильно выдана замуж за урядника-вдовца Кузнецова, буянистого нрава и пьяницу. Дважды избил он ее, “а на третий раз, когда он поднял на нее руку, скрутила она урядника вожжами, затолкала под кровать и навсегда покинула его дом” (Подъем. 1974. № 2). Она стала жить в доме Александра Михайловича Шолохова. В Кружилине 24 мая 1905 г. у них родился Миша, незаконнорожденный, до семи лет носивший фамилию Кузнецов. Анастасия Даниловна, хлебосольная и очень добрая, была великой труженицей, в зрелом возрасте она выучилась грамоте, чтобы самой вести переписку с сыном, уехавшим учиться в гимназию. Шолохов вспоминал о ней: “Во время гражданской войны, когда мне было 14 лет, в нашу станицу ворвались белые казаки. Они искали меня как большевика. “Я не знаю, где сын”, - твердила мать. Тогда казак, привстав на стремянах, с силой ударил ее плетью по спине. Она застонала, но все повторяла, падая: “Ничего не знаю, сыночек, ничего не знаю...” (8, 382).

Отец писателя, Александр Михайлович, женившись на любимой женщине, пошел против воли отца, который навязывал ему невесту по своей прихоти. Он работал служащим в купеческой лавке, в торговом доме, был управляющим паровой мельницей, заведующим заготконторой. Александр Михайлович тянулся к знаниям, собрал немало книг. В. Воронов в книге “У лебязьей косы” (М., 1991. С.150) называет его “образованным, настоящим интеллигентом”, о нем говорили “как о сердобольном, умном и отзывчивом человеке”.

Маленький Миша играл вместе с казачатами, увлекался рыбной ловлей, любил казачьи свадьбы, народные пляски и песни. М. Бондаренко говорила о нем: “Рос как и все детишки. Обыкновенный мальчуган был да и все. Шустрый, как и все мальчики. Но очень самолюбивый. Боже сохрани, чтобы кто-нибудь из чужих его приласкал, - отойдет, нахмурится. Сладями его не приманешь - неподкупный!” (Лежнев И. Путь Шолохова. М., 1958. С. 22). В 1910 г. Шолоховы переехали на хутор Каргинский, там Миша учился до поступления в приходскую школу у местного учителя Мрыхина, который позже рассказал: “У меня осталось яркое впечатление о той поре, когда Михаил Александрович был еще мальчиком. Я с ним занимался месяцев шесть-семь на дому. За это время он одолел первый класс. Мальчик он был очень живой, быстро схватывал, хорошо усваивал” (Там же. С. 23). Он пристрастился к чтению, брал книги у каргинского священника Виссариона, собравшего богатую библиотеку.

В 1912 г. Шолохов поступил во второй класс начальной школы, не закончив ее, в 1915 г. стал учиться в частной гимназии имени Г. Шелапутина в Москве. Материальные трудности заставили родителей перевести его в Богучарскую гимназию. Жил он у священника Тишанского, преподававшего историю. “Из бесед Тишанского с директором гимназии Новочадовым (он часто приходил в гости к Тишанским) Миша узнавал литературные новости, здесь говорили о Бунине,

Эртеле, о Горьком и Куприне, о Короленко. ...Здесь Миша продолжал сочинять исторические рассказы” (Воронов В. У лебязьей косы. С. 170) Однажды тетрадка Шолохова с написанным им историческим произведением “попала к Тишанскому, он прочитал и ахнул, перед ним был рассказ из жизни Петра 1. При всей наивности, неумелости это было довольно занимательное сочинение, трудно было поверить, что автор его - десятилетний мальчик”. Как определил Тишанский, “удивительный мальчик”. Одноклассник Шолохова по Богучарской гимназии вспоминал: ”...идет письменная работа по русскому языку и литературе. Учитель раздает нам картины, и мы пишем сочинения на них. И вот врезалось в память: на другой день учитель принес тетради и прочитал сочинение Миши Шолохова как самое лучшее” (Литературная Россия. 1990. 23 мая). События гражданской войны заставили Шолохова в 1918 г. перевестись в Вешенскую гимназию, в которой он учился несколько месяцев.

В 1920 г. семья Шолоховых переехала в Каргинскую, где пятнадцатилетний Миша учил взрослых грамоте, был участником драматического кружка в станичном клубе, выступал как артист, исполняя комические роли. Он участвовал в постановке пьесы М. Мошкарёва “Красный казак”, напечатанной в Вешках осенью 1920 г., некоторые ее мотивы вошли в “Тихий Дон”. Он сочинил пьесу “Генерал Победоносцев”, выдав ее за чужую. Однажды взволнованный Шолохов прибежал к режиссеру Т. Мрыхину. “Прижимая к груди исписанные листки, выпалил: “Тема замечательная... Два действия написал, а вот третье не получается”. И вдруг осел, притих, чувствуя, что сказал лишнее” (Дон. 1946. № 1-3. С.114).

С 1923 г. Шолохов начал публиковаться в центральной печати. В “Донских рассказах” он изобразил раскол деревни в первые годы советской власти, жестокую борьбу между ее сторонниками и противниками. Многие герои его ранних произведений попадали в трагические ситуации, рушились семьи, родители и дети расходились в понимании сути жизни столь далеко, что становились врагами. Атаман банды Кошевой (“Родинка”) в кровавой схватке убил своего сына, комсомольца, командира эскадрона. Когда же опознал его, он поцеловал “стынувшие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот”. Читатель может раздумывать, почему атаман покончил жизнь самоубийством: только ли роковое стечение обстоятельств, боевая стычка с отрядом сына и его убийство привели пожилого человека к этому? Или, может быть, он понял, что вооруженная борьба с советской властью бесперспективна, мешает людям жить?

У Бодягина (“Продкомиссар”) жгучее чувство ненависти к классовым врагам перечеркивает родственные связи. Шесть лет не виделся он с отцом, который агитировал казаков не сдавать продотряду хлеб, участвовал в избиении двух красноармейцев. Оправдывая свое поведение, отец говорит сыну: “Стежки нам выпали разные. Меня за мое же добро расстрелять надо, за то, что в свой амбар не пушаю, - я есть контра, а кто по чужим закромам шарит, энтот при законе. Грабьте, ваша сила”. Сын отвечает: “Бедняков мы не грабим, а у тех, кто чужим потом наживался, метем под гребло. Ты первый батраков всю жизнь сосал!” (1,

35) Но есть своя правда и в поведении отца, ведь он “сам работал день и ночь”. Перед своим расстрелом он бросает сыну: “...будь ты трижды проклят, анафема”. Безмерное по своей жестокости время ставило в непримиримо-враждебные отношения родителей и детей, и в этом ощущается разительная аномалия, новая - глубинная - несправедливость, вытекающая из благородной мечты добиться наивысшей социальной справедливости.

В сложной ситуации оказался Микишара в рассказе “Семейный человек”. На его руках девять детей, жена при родах умерла. Началось восстание против советской власти. Старший сын, Иван, предлагает уходить к красным, потому что у них власть “до крайности справедливая”. Не пошел Микишара с ним, восставшие мобилизовали его и отправили на фронт. Данила, другой его сын, самый любимый, тоже был у красных и попал в плен к казакам. Микишаре предлагают убить Данилу, и он думает: “ежели не вдарю его, то убьют меня свои же хуторные, останутся малые дети горькими сиротами” (1,170). Он воткнул штык в сына, за это его “в старшие урядники произвели”.

Встретился Микишара и с Иваном, тоже попавшем в плен, и его он убивает, пытаясь оправдать себя тем, что у него семеро детей. Он говорит умирающему сыну: “Ежели б пустил я тебя - меня б убили казаки, дети пошли бы христарадничать”. Но дети Микишары не прощают ему то ужасное, что он совершил, да и читатель вряд ли будет сочувствовать ему: слишком легко он решился на убийство родных сыновей. Если у него есть какое-то, пусть далеко не основательное оправдание, то у Якова Алексеевича, “старинной ковки человека”, богатого, оборотистого казака из “Червоточкины”, не найти ничего такого, что хоть как-то оправдывало жестокое убийство им своего сына, который не послушался его наставлений, пошел своим путем, вступил в комсомол, стал активным сторонником советской власти.

Рассказы Шолохова 20-х гг. получили одобрительные отзывы в печати. Самую высокую оценку дал им А. Серафимович. В 1938 г. Шолохов писал: “Лично я по-настоящему обязан Серафимовичу, ибо он первый поддержал меня в самом начале писательской деятельности, он первый сказал мне слово ободрения, слово-признание...” (8, 125). Серафимович написал в предисловии к “Донским рассказам” Шолохова: “Как степной цветок, живым пятном встают рассказы т. Шолохова. Просто, ярко, и рассказываемое чувствуешь - перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжато, и эта сжатость полна жизни, напряженности и правды. Чувство меры в острых моментах, и оттого они пронизывают. Огромное знание того, о чем рассказывает. Тонкий схватывающий глаз. Умение выбирать из многих признаков наихарактернейшее”. И так характеризовать писателя, которому всего лишь 21 год!

А дальше происходит нечто невиданное: двадцатидвухлетний Шолохов приносит в журнал “Октябрь” две книги романа-эпопеи “Тихий Дон”. Серафимович, главный редактор “Октября”, преодолел нежелание работников редакции печатать их и добился того, что “Тихий Дон” начали публиковать в журнале. В конце 1927 г. он говорил о Шолохове: “Он мой земляк. Он тоже с Дона. Он моло-

же меня более чем на сорок лет, но я должен признаться, во сто крат талантливее меня... Имя его еще многим не известно. Но через год его узнает весь Советский Союз, а через два-три года - и весь мир. С января мы будем печатать его роман” (Осипов В. Книга молодости по М. Шолохову. М., 1987. С. 11). Так и случилось... По свидетельству А. Калинина, через несколько лет Серафимович сказал: “Шолохов - огромный писатель... Он силен в первую голову как крупнейший художник-реалист, глубоко правдивый, смелый, не боящийся самых острых ситуаций, неожиданных столкновений и событий... Огромный, правдивый писатель. И... черт знает как талантливый” (Михаил Шолохов. Ростов-н/Д. 1940. С. 155).

В 1928 г. две книги “Тихого Дона” были напечатаны в “Октябре”, а в начале 1929 - двенадцать глав третьей. Но на судьбе остальной части книги неблагоприятно сказало то, что А. Серафимович вышел из состава редколлегии журнала, а другие ее члены - А. Фадеев, В. Ермилов, Л. Авербах, В. Киршон и Ю. Либединский - не приняли идейной концепции произведения, правдиво раскрывающего бесчеловечность политики расказачивания, и прекратили его публикацию. Так, Фадеев полагал, что идеология Шолохова “не коммунистическая”, он предлагал ему внести существенные изменения в книгу, на что Шолохов ответил категорическим отказом.

За членами редколлегии “Октября” стояли могущественные политические силы, которые не хотели, чтобы виновники возникновения вешенского восстания, одной из самых трагичных страниц гражданской войны, были публично осуждены и это стало известно всей стране. 29 января 1919 г. председатель ВЦИК Я. Свердлов подписал чудовищную директиву: “Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества, путем поголовного их истребления.

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, провести массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применить те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти...” Это постановление появилось на свет тогда, когда казаки-середняки перестали верить Краснову и стали переходить на сторону советской власти. Донбюро дополнило директиву Свердлова своей, в которой предлагалось “во всех станциях, хуторах немедленно арестовать всех видных представителей данной станции или хутора, пользующихся каким-либо авторитетом, хотя и не замешанных в контрреволюционных действиях, и отправить их как заложников в районный революционный трибунал. Уличенные, согласно директивам ЦК, должны быть расстреляны” (Литературная Россия. 1990. 16 ноября).

16 марта 1919 г. Пленум ЦК РКП(б) отменил эту директиву, но Донбюро, возглавляемое С. Сырцовым, приняло новое постановление, где говорилось: “Насущная задача - полное, быстрое и решительное уничтожение казачества как

особой экономической группы, разрушение его хозяйственных устоев, физическое уничтожение чиновничества и офицерства, вообще всех верхов казачества, распыление и обезвреживание рядового казачества и до формальной его ликвидации". Сырцов телеграфировал предревкома станицы Вешенской: "За каждого убитого красноармейца и члена ревкома расстреливайте сотню казаков. Приготовьте этапные пункты для отправки на принудительные работы в Воронежскую губернию, Павловск и другие места всего мужского населения в возрасте от 18 до 55 лет включительно. Карательным командам приказать за каждого сбежавшего расстреливать пятерых, обязав круговой порукой казаков следить друг за другом". Сырцов доносил Секретариату ЦК: "Расстрелянных в Вешенском районе около 600 человек" (Там же). Это преступное уничтожение очень многих, чаще всего ни в чем не повинных людей спровоцировало восстание и затянуло гражданскую войну.

Чтобы спасти свою - исторически правдивую - трактовку причин этого восстания в третьей книге "Тихого Дона" Шолохов обратился за помощью к М. Горькому. 6 июня 1931 г. он написал ему: "Но некоторые "ортодоксальные" "вожди" РАППа, читавшие 6-ю часть, обвинили меня в том, что я будто бы оправдываю восстание, приводя факты ущемления казаков Верхнего Дона. Так ли это? Не сгущая красок, я нарисовал суровую действительность, предшествующую восстанию, причем сознательно опустил такие факты, служившие непосредственной причиной восстания, как бессудный расстрел в Мигулинской станице 62 казачьих стариков или расстрелы в станицах Казанской и Шумилинской, где количество расстрелянных казаков в течение шести дней достигло солидной цифры 400 с лишним человек. Но я должен был, Алексей Максимович, показать отрицательные стороны политики расказачивания и ущемления казаков-середняков, так как, не давши этого, нельзя вскрыть причины восстания. ...У некоторых собратьев моих, читавших шестую часть и не знающих того, что описываемое мною - исторически правдиво, сложилось заведомое предубеждение против шестой части. Они протестуют против "художественного вымысла", некогда уже претворенного в жизни. ...Непременным условием печатания мне ставят изъятие ряда мест, наиболее дорогих мне (лирические куски и еще кое-что). Занятно, что десять человек предлагают выбросить десять разных мест. И если всех слушать, то 3/4 нужно выбросить..."

Третья книга "Тихого Дона" поначалу не задумывалась Шолоховым в таком масштабном объеме. Но после коллективизации с ее перекосами, пережив трагедию великого перелома, он написал ее в "назидание вождям", как бы говоря: "Вот что может произойти, если не будем считаться с такими характерами, как Григорий Мелехов, если в людях будем видеть стог сена, безликую массу, а не личность - думающее, страдающее человечество" (Правда. 1983. 20 мая). Шолохов был убежден: "...вопрос об отношении к среднему крестьянству еще долго будет стоять и перед нами и перед коммунистами тех стран, какие пойдут дорогой нашей революции. Прошлогодняя история с коллективизацией и перегибами,

в какой-то мере аналогичными перегибам 1919 г., подтверждают это”. Но у него возникли сомнения, ”своевременно ли писать об этих вещах”.

Прочитав присланную (не всю) третью книгу “Тихого Дона”, М. Горький написал А. Фадееву: “Третья часть “Тихого Дона” - произведение высокого достоинства, - на мой взгляд - она значительнее второй, лучше сделана. Но автор, как и герой его, Григорий Мелехов, “стоит на грани двух начал”, не соглашается с тем, что одно из этих начал в сущности - конец старого казачьего мира и сомнительной “поэзии” этого мира. Не соглашается он с этим потому, что сам весь еще - казак, существо биологически связанное с определенной географической областью, определенным социальным укладом”. Здесь проявилось недоверчивое отношение Горького к деревне, он посчитал Шолохова “областным писателем, который злоупотребляет “местными речениями”, рукопись ему показалась “достаточно объективной политически”, и он, “разумеется, за то, чтоб ее печатать, хотя она доставит эмигрантскому казачеству несколько приятных минут. За это наша критика обязана доставить автору несколько неприятных часов”. И далее: “Шолохов - очень даровит, из него может выработаться отличнейший советский литератор, с этим надо считаться. Мне кажется, что практический гуманизм, проявляемый у нас к явным вредителям и дающий хорошие результаты, должны проявлять и по отношению к литераторам, которые не нашли себя”. Выходит, Шолохов еще не нашел себя, к нему надо проявлять тот гуманизм, с которым подходят к явным вредителям...

В. Хабин в главе “М. А. Шолохов” (Очерки истории русской литературы XX века. М., 1995. С. 46) пишет: “Рукопись спас М. Горький. Он сказал автору, что книга написана хорошо и должна быть издана в том виде, как она сделана”. Но Н. Федь считает, что горьковский отзыв “не сыграл какой-либо роли в творческой судьбе Шолохова” (Молодая гвардия. 1994. № 3. С. 202). Следует уточнить эти суждения: мнение Горького не оказало решающего воздействия на судьбу рукописи, но он помог Шолохову, организовав ему встречу со Сталиным в июне 1931 г.

Сталин в юности писал стихи, поразительно много читал, внимательно следил за новыми произведениями советских писателей. В книге “Глазами человека...” К. Симонов писал: “По всем вопросам литературы, даже самым незначительным, Сталин проявлял совершенно потрясающую меня осведомленность... он действительно любил литературу, считал ее самым важным среди других искусств, самым решающим и в конечном итоге определяющим все или все остальное. Он любил читать и любил говорить о прочитанном с полным знанием предмета. Он помнил книги в подробностях” (110). Сталин подходил к литературе прежде всего с политической, государственной точки зрения. Фадеев говорил, что у него был плохой художественный вкус. Такую оценку как будто подтверждает то, что Сталин мог поставить “Девушку и смерть” Горького выше “Фауста” Гете. Но вместе с тем “Сталин поддержал, собственно говоря, выдвинул вперед такие принципиально далекие от облегченного изображения жизни вещи, как

“Спутники” Пановой или чуть позднее “В окопах Сталинграда” Некрасова” (Там же).

По словам С. Семанова, ему “выпала счастливая судьба четыре раза в одиночку побывать в станице Вешенской и жить там”, каждый раз он “появлялся там сугубо по приглашению Михаила Александровича” (Литературная Россия. 1994. 14 января). В ответ на такое радушие Шолохова он построил свою - не очень благородную - версию отношений писателя со Сталиным, об их встрече в июне 1931 г.: “Автору романа путем очень сложных переговоров удалось добиться разрешения на публикацию”. Значит, он не отказался от своих утверждений, высказанных в “Новом мире” (1988. № 9. С. 268): “Молодой писатель, не имеющий еще общенародного, а тем более мирового признания... как-то слишком просто и быстро склонил... Сталина разрешить печатать очередную книгу “Тихого Дона”. Семанов предположил, что между Сталиным и писателем была заключена сделка: один разрешает печатать третью книгу “Тихого Дона”, а другой обещает написать “Поднятую целину”.

Но следует уточнить: первая книга “Тихого Дона” вышла на французском, испанском, шведском, чешском языках уже в 1930 г. Английский писатель Чарльз Сноу утверждал: “Шолохов приобрел мировую славу спустя всего несколько месяцев по выходе первой части романа”. Датские газеты называли Шолохова “всемирно известным”, “мировым писателем”, а “Тихий Дон” - “Войной и миром” (Известия. 1935. 8 января). 2 февраля 1929 г. А. Луначарский говорил: “Это настоящий шедевр” (Вопросы литературы. 1963. № 12. С. 150). В “Красной панораме” (1929. № 1. С. 5) он писал: “Еще не законченный роман Шолохова “Тихий Дон” - произведение исключительной силы по широте картин, знанию жизни, по горечи своей фабулы”, “это произведение напоминает лучшие явления русской литературы всех времен”. В мае 1932 г. М. И. Калинин писал в “Правде”: “Тихий Дон” и “Поднятая целина” - лучшие наши произведения”. Но чтобы точнее понять, почему Сталин разрешил публиковать третью книгу “Тихого Дона”, надо знать, как он оценивал художественный талант Шолохова. Ответ однозначен: очень высоко. С большой заинтересованностью он следил за творчеством Шолохова. Еще 9 июля 1929 г. в письме Ф. Кону он назвал его “знаменитым писателем нашего времени”. А ему наговаривали о наличии в “Тихом Доне” “ряда грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова, Подтелкова, Кривошлыкова и др.” Сырцов занимал высокий пост председателя Совнаркома РСФСР, в 1919 г. он творил черные дела на Дону, о них шла речь в третьей книге “Тихого Дона”.

Этот “больной” для ряда высоких руководителей вопрос возник при разговоре со Сталиным и сразу потух. Шолохов рассказывал об этом нескольким литераторам. Сталин спросил его: “Где взял факт о перегибах Донбюро РКП(б) и Реввоенсовета Южфронта по отношению к казаку-середняку?” Шолохов ответил, что “роман описывает произвол строго документально - по материалам архивов”. В. Осипов добавляет: “Знал бы Шолохов, что московские архивы хранят опасный

для Сталина протокол 1919 года - он на заседании Оргбюро ЦК голосовал за предложение Донбюро о рассказывании..." (Учительская газета. 1994. 31 мая).

Сталину было важно, что Шолохов разоблачал политику рассказывания, которая проводилась Троцким и его сподвижниками и к которой он имел лишь косвенное отношение. Подпись под протоколом не была известна ни Шолохову, ни подавляющему большинству его читателей, к тому же самое главное - как проводилась эта политика на Дону, Сталин в то время был на царицынском фронте. Шолохов говорил ему: "А в архивах документов предостаточно, но историки их обходят и зачастую гражданскую войну на Дону показывают не с классовых позиций, а как борьбу сословную - всех казаков против иногородних, что не отвечает правде жизни. Историки скрывают произвол троцкистов на Дону и рассматривают донское казачество как "русскую Вандею"! Между тем на Дону дело было посложнее... Вандейцы, как известно, не братались с войсками Конвента французской буржуазной революции... А донские казаки в ответ на воззвание Донбюро и Реввоенсовета Республики открыли свой фронт и побратались с Красной Армией. И тогда троцкисты вопреки всем указаниям Ленина о союзе с середняком обрушили массовые репрессии против казаков, открывших фронт. Казаки, люди военные, поднялись против вероломства Троцкого, а затем скатились в лагерь контрреволюции... В этом суть трагедии народа!..." Сталину показались убедительными эти рассуждения писателя.

До этой встречи у Сталина был, видимо, разговор с Горьким о политическом значении "Тихого Дона", такой вывод позволяет сделать сходство некоторых сталинских мыслей и высказываний Горького в письме Фадееву. Шолохов вспоминал: "Сталин подымил трубкой и потом сказал: "А вот некоторым кажется, что третий том "Тихого Дона" доставит много удовольствия белогвардейской эмиграции..." Я ответил Сталину: "Хорошее для белых удовольствие! Я показываю в романе полный разгром белогвардейщины на Дону и Кубани!" Сталин снова помолчал. Потом сказал: "Да, согласен! - и обращаясь к Горькому, добавил: "Изображение событий в третьей книге "Тихого Дона" работает на нас, на революцию!" Горький согласно кивнул: "Да, да..." За всю беседу Сталин ничем не выразил своих эмоций, был ровен, мягок и спокоен. А в заключение твердо сказал: "Третью книгу "Тихого Дона" печатать будем!"

Глубинные причины, заставившие Сталина поддержать Шолохова, могут лучше обозначиться, если вдуматься в некоторые положения его письма Билль-Белоцерковскому от 2 февраля 1929 г. В то время М. Булгакова нещадно травнили, запрещали ставить "Дни Турбиных", о его произведениях печаталось много пасквильных отзывов, и к Сталину Билль-Белоцерковский и его компания обратились потому, что надеялись с его помощью уничтожить творчество Булгакова как литературное явление. Сталин не поддержал гонителей, 18 апреля 1930 г. он позвонил Булгакову, помог ему устроиться на работу в МХАТ. В 1932 г. по его указанию были возобновлены спектакли "Дни Турбиных". Сталин ответил Билль-Белоцерковскому: "Что касается собственно пьесы "Дни Турбиных", то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное

впечатление, остающееся у зрителей этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: “если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, - значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь”. “Дни Турбиных” есть демонстрация всепокрушающей силы большевизма” (Сталин И. Соч. Т. 11. С. 328). Нетрудно заметить, что при обсуждении “Тихого Дона” у Сталина появились сходные мысли об идеологической устремленности этой эпопеи и пьесы “Дни Турбиных”.

Правда, он полагал, что содержание пьесы могло не согласовываться с авторским замыслом, и потому заметил: “Конечно, автор ни в какой мере “не повинен” в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?” Более критично Сталин оценил пьесу Булгакова “Бег”, в ней он нашел “проявление попытки вызвать жалость, если не симпатии к некоторым слоям антисоветской эмиграции, - стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело”. И делался вывод: “Бег” в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление”. Некоторые критики находили и в “Тихом Доне” нечто сходное, оценивали его в подобном же духе. С. Динамов упрекал Шолохова в том, что он не показал Корнилова “с необходимой, разящей ненавистью”, у писателя не хватает “накалки классового противопоставления; в его образах врагов революции не вскипает отрицание их”: “Белые для Шолохова враги, но герои. Красные друзья, но отнюдь не могут идти в сравнение с белыми. Оказывается, по Шолохову, что не белые зверствовали, а красные; недосужился Шолохов показать этой стороны белых, а вот красных, - “разложившихся под влиянием уголовных элементов” показал. ...Странное равнодушие сквозит в его описаниях борьбы с контрреволюцией” (Михаил Шолохов. М., 1931. С. 25-26).

Критики привыкли к безоговорочному осуждению белых и не хотели понимать их правду, не считали нужным вдумчиво всмотреться в социально-психологический портрет победителей, всецело оправдывая в их поведении и то, что не могло быть оправдано. В “Отчете о вечере “Беседа Шолохова с читателями” (На подъеме. 1930. № 6. С.172) сообщалось, что “Тихий Дон” нравится разнообразным социальным группам, и это вызвало у ряда читателей осуждение: “Я это знаю по письмам, - говорил тов. Шолохов, - задумывался над этим, стараясь доискать корней”. Писатель думал, что в романе “не лежит четко линия отрицания”: “Влияние мелкобуржуазной среды сказывается... Я это понимаю и пытаюсь бороться со стихией пацифизма, которая у меня проскальзывает”.

Интересно то, что Сталин, по его словам, не имел бы “ничего против постановки “Бега”, если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные причины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти, по-своему “честные” Серафимы ...сидели на шее у народа (несмотря на свою “честность”), что большевики, изгоняя вон этих “честных” сторонников эксплуатации, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно”(11, 327).

В “Тихом Доне” раскрываются социальные и политические причины гражданской войны на Дону и даже те деяния советской власти, о каких не хотелось вспоминать не только троцкистам. Проблема “честности” возникла и во время встречи Сталина с Шолоховым. Писатель вспоминал: “Сталин начал разговор со второго тома “Тихого Дона” вопросом: “Почему в романе так мягко изображен генерал Корнилов? Надо бы его образ ужесточить...” Я ответил, что в разговорах Корнилова с генералом Лукомским, в его приказах Духонину и другим он изображен как враг весьма ожесточенный, готовый пролить народную кровь. Но субъективно он был генералом храбрым, отличившемся на австрийском фронте. В бою он был ранен, захвачен в плен, затем бежал из плена в Россию. Субъективно, как человек своей касты, он был честен... Тогда Сталин спросил: “Как это - честен?! Раз человек шел против народа, значит, он не мог быть честен!” Я ответил: “Субъективно честен, с позиций своего класса. Ведь он бежал из плена, значит, любил родину, руководствовался кодексом офицерской чести... Самым убедительным доказательством того, что он враг - душитель революции, являются приводимые в романе его приказы и распоряжения генералу Крымову - залить кровью Петроград и повесить всех депутатов Петроградского Совета!” Кое-что - малозначительное - здесь несколько упрощено Шолоховым в оценке изображенного в “Тихом Доне” Корнилова, но писателю пришлось отстаивать историческую правду о нем, свое право на многомерное, подлинно реалистическое раскрытие этого героя .

Следует отметить: по свидетельству К. Приймы и С. Семанова, Шолохов после этих слов добавил: “Сталин, видимо, согласился со мною”, а у В. Осипова в “Книге молодости по М. Шолохову” говорится: “Сталин воскликнул: “Как это - честен?! Он же против народа пошел! Лес виселиц и море крови!” Должен сказать, что эта обнаженная правда убедила меня. Я потом отредактировал рукопись” (22).

В этих воспоминаниях Шолохова Семанов нашел “некоторые фактические неточности, что говорит о необходимости критического к ним отношения” (Новый мир. 1988. № 9. С. 267). Обосновывая свое суждение, он указывает, что в “Тихом Доне” приводится “письмо от 1 ноября 1917 г. Корнилова к Духонину, которое “содержит ряд советов, они весьма напористы по тону, но никаких “приказов” Корнилов тогда отдавать не мог”. Но эти “советы” можно отнести к приказам, если вдуматься в их тон и содержание, а не подходить к ним с формальной точки зрения, разница между этими понятиями для военных людей в той исключительно накаленной обстановке была слишком незначительна. Хотя находившийся под стражей Корнилов приказы отдавать не мог, но его письмо своим единомышленникам было по своей сути приказом: “Вам необходимо безотлагательно принять такие меры...” И далее указывалось, что надо сделать Ставке, чтобы окончательно не развалить армию и спасти страну. Третий корпус подтягивался к Петрограду, чтобы, как говорил Корнилов Лукомскому, “если большевики выступят, то расправиться с предателями родины как следует”. И далее: “Непосредственно руководство операцией передаю генералу Крымову. Я убежден, что

в случае необходимости он не задумается перевешать весь Совет рабочих и солдатских депутатов” (3, 130).

Разница между содержанием “Тихого Дона” и его толкованием в воспоминаниях Шолохова очень мала, вряд ли она дает право искать в ней основу для далеко идущих домыслов. Семанову кажется странным, что “Шолохов стал излагать подробности военной биографии Корнилова”, ибо Сталин “не мог всего этого не знать”. Дискуссии ведутся по своим особым законам: писателю надо было подчеркнуть субъективную честность Корнилова, отсюда и напоминание о том, что было известно Сталину, но не получило у него должной оценки.

Семанов утверждает, что “неуместно звучат для обстановки 1931 года слова Шолохова о том, что Корнилов “любил родину” - лишь через несколько лет подобные патриотические выражения стали произноситься в положительном смысле” (Новый мир. 1988. № 9. С. 268). Действительно, в 20-е - первой половине 30-х гг. чувство любви к России всячески вытравлялось, историю ликвидировали как предмет преподавания в школе. А. Луначарский предписывал в статье “Просвещение и революция”: “Преподавание истории в направлении сознания народной гордости, национального чувства должно быть отброшено...” В 1930 г. Д. Алтаузен сожалел о том, что Минину и Пожарскому “случайно... не свернули шею”, и без тени смущения заявлял: “Подумаешь - они спасли Расею! А может, лучше было б не спасать?”

Но и в 20-е гг. были писатели иной идеологической направленности. Главной бедой многих своих собратьев по поэзии С. Есенин считал то, что у них “нет чувства родины”. Никогда не было для него бранным слово “Русь”, и оно, святое для него, вынесено даже в названия ряда стихотворений.

В автобиографии, написанной в начале 30-х гг., Шолохов подчеркивал: “Я являюсь патриотом своей могущественной родины. С гордостью говорю: я являюсь и патриотом Донского края”. Чувство любви к России у него нерасторжимо сливалось с чувством горячей любви к родному донскому краю, к своей малой родине, и об этом он неоднократно писал. В 1934 г. Шолохов говорил: “За рубежом я с любовью вспоминаю Москву, Дон, Вешки. Чувство родины - великая штука, товарищи! Этим чувством должно быть пронизано каждое произведение писателя” (Большевицкая смена. 1940. 24 мая).

Ю. Бондарев заметил, что “подлинный талант призван преодолевать инерции расхожего мышления” (Правда. 1995. 24 мая). Это полностью относится и к Есенину, и к Шолохову, которого - вольно или невольно - уравнивал Семанов со “всеми”, представил писателя точно следующим указаниям официальной пропаганды. В “Тихом Доне” Корнилов в своем обращении к населению говорит о своей “беззаветной любви к родине” (3, 139). В телеграмме Каледину он инструктирует его: “Прошу вас действовать в согласованности со мной, так, как вам подскажет любовь к родине и честь казака” (3, 151). Если в “Тихом Доне” Шолохов прямо писал об этой любви Корнилова к родине, то почему он не мог сказать об этом Сталину? Или ему надо было дожидаться, когда “патриотические выражения” будут восприниматься “в положительном смысле”?

Образ Корнилова в “Тихом Доне” отразил сложные метания русского офицерства в период гражданской войны: такие, как Корнилов, любили Россию, сильно переживали, видя, как она раздирается гибельными противоречиями - и это тогда, когда идет война с Германией. Но эта любовь к России, забота о национальных интересах подчас глушились переживаниями, связанными с утратой своих классовых привилегий, с ненавистью к революционному народу, и тогда Корнилов мог заявить Каледину этакое: “Я не задумываюсь обнажить фронт, - пусть их вразумляют немцы!” Если бы это осуществилось на деле, то оно означало бы, что Корнилов встал на путь национальной измены. Такое сложное переплетение любви к родине со стремлением отделить судьбу своей страны от судьбы народа было характерно для многих представителей тогдашнего высшего света, и потому Шолохов, изображая Корнилова, не отступал от жизненной правды.

После замечаний Сталина писатель кое-что исправил в изображении Корнилова, но сохранил его основные черты - мужественное поведение, острую тревогу за судьбу России, и потому вряд ли следовало категорически утверждать, что Шолохов ни в коей мере “не отстоял перед Сталиным свое право на облагороженное видение этого генерала” (Осипов В. Шолохов. Годы, спрятанные в архивах. М., 1995. С. 35). Недаром Г. Ермолаев отмечал объективное изображение “врагов большевизма - генералов Добровольческой армии”: “Они показаны как умные, честные, преданные России люди. Ни один из них не наделен непривлекательными чертами внешности или характера” (Дон. 1995. № 5-6. С. 90). И это в первую очередь относится к генералу Корнилову.

Глава 2. ПАУТИНА КЛЕВЕТЫ

Первые две книги “Тихого Дона” имели поразительный успех. Они вызвали не только всеобщее изумление и восхищение, но и черную зависть, породившую клеветнические измышления, которые выросли на почве недоверия и нелюбви к русскому крестьянству и казачеству. Многие литераторы не могли поверить в то, что из этой среды вышел молодой гений, создавший такой шедевр, который сразу поднял планку художественности на недосыгаемую для других писателей высоту, затмил многие до небес вознесенные критикой произведения и триумфально взошел на вершину мирового литературного олимпа.

Уже в 1928 г. стали распространяться слухи, что Шолохов при работе над этим произведением воспользовался чужой рукописью. В 1929 г. в редакцию журнала “Октябрь” пришло распоряжение от руководителей РАПП “приостановить печатание романа Шолохова, а рукопись срочно передать в правление писательской организации для изучения” (Советская культура. 1989. 25 мая).

Е. Г. Левицкая записала тогда: “Боже мой, какая поднялась вакханалия клеветы и измышлений по поводу “Тихого Дона” и по адресу автора! С серьезными лицами, таинственно понижая голос, люди, как будто бы вполне “приличные” - писатели, критики - не говоря уже об обывательской публике - передавали “достоверные” истории: Шолохов, мол, украл рукопись у какого-то белого офицера -

мать офицера, по одной версии, - приходила в газету "Правда" - или в ЦК, или в РАПП и - просила защиты прав ее сына, написавшего такую замечательную книгу..." (Знамя. 1987. № 10. С. 179). 23 марта 1929 г. в письме жене Шолохов сообщил из Москвы: "...ты не можешь себе представить, как далеко распространилась эта клевета против меня! Об этом только и разговоров и в литературных и читательских кругах. Знает не только Москва, но вся провинция. Меня спрашивали об этом в Миллерово и по железной дороге. Позавчера у Авербаха спрашивал об этом т. Сталин. Позавчера же иностранные корреспонденты испрашивали у РОСТА соглашение, чтобы телеграфировать в иностранные газеты о "шолоховском плагиате". Разрешение, конечно, дано не было. А до этого ходили такие слухи, будто я подъесаул Донской армии, работал в контрразведке и вообще заядлый белогвардеец. Слухи эти не привились ввиду их явной нелепости, но и про это спрашивал Микоян; причем - любопытная подробность - когда его убедили в ложности этих слухов, он сказал: "Даже если бы Шолохов и был офицером, за "Тихий Дон" мы бы ему все простили!" Меня организованно и здорово травят. Я взвинчен до отказа, а в результате - полная моральная дезорганизация, отсутствие работоспособности, сна, аппетита. Но душой я бодр! Драться буду до конца! Писатели из "Кузницы" Березовский, Никифоров, Гладков, Малышкин, Санников и пр. людишки с сволочной душонкой сеют эти слухи и даже имеют наглость выступить публично с заявлениями подобного рода. Об этом только и разговору везде и всюду. Я крепко и с грустью разочаровываюсь в людях... Гады, завистники и мерзавцы, и даже партбилеты не облагородили их мещанско-реакционного нутра" (Литературная Россия. 1995. 22 декабря).

Впоследствии Шолохов подчеркнул, что клевета исходила "не от одного завистника", она была порождением почти всей тогдашней литературной среды" (Литературная Россия. 1990. 23 мая). Е. Левицкая отметила, что все ее попытки добраться до источника клеветы "приводили либо к писателю, либо к издателю". Ф. Березовский рассудил: "Я старый писатель, но такой книги, как "Тихий Дон", не мог бы написать... Разве можно поверить, что в 23 года, не имея никакого образования, человек мог написать такую глубокую, такую психологически правдивую книгу... Что-то неладно" (Знамя. 1987. № 10. С.179). Попытки опорочить исключительно талантливого писателя исходило не только от литературных завистников, но и от тех, кто вершил черные дела во время гражданской войны и не хотел, чтобы широко обнародовали тяжкую правду о ней.

Шолохов передал правлению РАПП планы и наброски, автографы первой, второй и три четверти третьей книги "Тихого Дона". В 1960 г. он вспоминал: "По предложению ЦК тогда была создана комиссия под председательством М. И. Ульяновой, которая после длительного и тщательного знакомства с черновиками рукописи реабилитировала" его, "о чем и было доведено до сведения общественности публикацией решения комиссии в "Правде" (Литературная Россия. 1990. 23 мая). Члены комиссии (А. Серафимович, В. Ставский, А. Фадеев, В. Киршон и Л. Авербах) в опубликованном 29 марта 1929 г. в "Правде" письме сообщили, что "никаких материалов, порочащих работу т. Шолохова, нет и не мо-

жет быть”, что писатели, работающие с ним не один год, “знают весь его творческий путь, его работу в течение нескольких лет над “Тихим Доном”, материалы, которые он собирал и изучал, работая над романом, черновики его рукописей” Комиссия расценила как “злостную клевету” заявления о том, что “Тихий Дон” “является якобы плагиатом с чужой рукописи”.

Однако эта публикация не утихомирила клеветников. Ростовская газета “Большевистская смена” напечатала статью, в которой Шолохов обвинялся в отходе “от политики и общественности”, в пособничестве кулакам и церковникам и т. п. Специально созданная комиссия расследовала выдвинутые обвинения и сообщила в этой же газете 5 ноября 1929 г., что они строились на основе обывательских слухов, по своей сути “являются гнусной клеветой, и при расследовании ни одно из этих обвинений не подтвердилось”.

Но вскоре - в 1930 г. - недруги Шолохова нашли “документальное подтверждение” слухам о том, что он “украл” “Тихий Дон” у критика С. Голоушева, друга Л. Андреева. Когда об этой сплетне стало известно Шолохову, он познакомился с источником, ставшим поводом к новому варианту измышлений, и написал 1 апреля 1930 г. А. Серафимовичу: “Тихим Доном” Голоушев - на мое горе и беду - назвал свои путевые и бытовые очерки, где основное внимание (судя по письму) уделено политическим настроениям донцов в 17 г. Часто упоминаются имена Корнилова и Каледина. Это и дало повод моим многочисленным “друзьям” поднять против меня новую кампанию клеветы”. С недоумением и сердечной болью Шолохов спрашивал: “За какое лихо на меня в третий раз ополчаются братья-писатели?” Не знал он, что всю жизнь будет преследовать его грязная паутина подлой лжи и клеветы.

С. Голоушев написал очерк “С тихого Дона” и после того, как Л. Андреев отказался печатать его в “Русской воле”, опубликовал свое малоудачное детище 24 и 28 сентября 1917 г. в “Народном вестнике” Через 13 лет был опубликован сборник “Реквием (Памяти Леонида Андреева)”, где были напечатаны письма Андреева к друзьям, в числе их оказалось и то, в котором давалась оценка этому очерку. Н. Федь в статье “Художник и власть” (Молодая гвардия. 1994. № 3. С. 211) сообщает: “Но издатели “Реквиема” пошли на грубую фальсификацию текста. Заглавие голушевского очерка “С Тихого Дона” исправили в письме Л. Андреева на “Тихий Дон”, добавили целую строку, где очерк переименован в роман с “весьма спокойным описанием в бытовых тонах” и трижды вписали фразу “твой “Тихий Дон”. Для верности оригинал письма Л. А. Андреева изъяли из архива, заменив его машинописным текстом (причем копия) с подклейкой последних трех строк (тоже машинописных), однако уже без подписи Андреева. Заглавие очерка Голоушева “С Тихого Дона” тоже переделали в “Тихий Дон”. И все это напечатали в “Реквиеме” как письмо Леонида Андреева!”

В 90-е годы давнее недоброжелательство к Шолохову вылилось в хорошо скоординированную клеветническую кампанию. На страницах журналов “Новый мир”, “Вопросы литературы”, “Огонек”, “Звезда”, “Знамя”, “Даугава” и ряда газет, в телепередачах снова муссируется вопрос об авторстве “Тихого Дона”. Массо-

вотому читателю и зрителю настойчиво внедряется мысль о плагиате Шолохова. В 1974 г. А. Солженицын опубликовал в Париже книгу Д. (И. Н. Медведевой-Томашевской) "Стремя "Тихого Дона", ее перепечатало в 1993 г. московское издательство "Горизонт". 2 мая 1990 г. Н. Струве утверждал в "Литгазете", что эта "книга интересная и добросовестная". В. Хабин в "Очерках истории русской литературы XX века" относит сей опус вместе с книгами Р. Медведева "Куда течет Тихий Дон?" (Париж. 1975) и "Загадки творческой биографии Шолохова" (Кембридж. 1977) к серьезным работам. Приводя доводы хулителей Шолохова, он не вспоминает о работах, в которых доказательно критикуются их "исследовательские" приемы и клеветнические по своей сути выводы.

Авторы программы "Русская литература XX века", опубликованной по решению Редакционно-издательского Совета Московского педагогического университета в 1996 г., посчитали необходимым написать: "Споры об авторстве романа: книга "Стремя "Тихого Дона" и ее оппоненты". Ничего не скажешь, они деликатно выразили свои симпатии к этой фальшивке... О творчестве М. Шолохова опубликованы солидные монографии и серьезные коллективные сборники, но знакомиться с ними, по их мнению, не стоит. Если судить по их библиографии, то они считают главной задачей при изучении творческого наследия Шолохова выяснить, кто же написал "Тихий Дон". Кроме статьи Е. Тамарченко "Идеи правды в "Тихом Доне", напечатанной в шестом номере "Нового мира" за 1990 г., отмеченные ими четыре работы посвящены этой проблеме. Они посчитали необходимым включить в библиографию и непрофессиональную брошюру А. Макарова и С. Макаровой "К истокам "Тихого Дона" (М., 1991), перепечатанную в 1993 г. "Новым миром".

А. Марченко заявила, что настала пора заняться всерьез выяснением - допустил ли плагиат автор "Тихого Дона" (Вопросы литературы. 1989. № 6. С. 54). Р. Медведев опубликовал в восьмом номере "Вопросов литературы" за 1989 г. две статьи, в которых тщится подтвердить мысль о плагиате Шолохова. Он полагает, что его публикации послужат "не разного рода демагогическим обвинениям, а плодотворной и конструктивной дискуссии". Но о какой дискуссии может идти речь, если он не представил для нее ни одного мало-мальски значимого неопровержимого факта, подтверждающего оскорбительные по отношению к памяти Шолохова домыслы? Н. Иванова, выступая в "Знамени" (1990. № 4), советует всем прочитать статьи Р. Медведева и в подтверждение значимости этих публикаций сообщает: "В журнале "22" (Москва-Иерусалим) напечатаны две работы Зеева Бар-Селла "Тихий Дон" против Шолохова". Для нее и для журнала "Знамя" все еще остается загадкой авторство "Тихого Дона". А. Берзер поддержала сплетню о плагиате: "Знал ли Сталин тайну Шолохова? Конечно, знал, не мог не знать - при его подлинных возможностях... Но он решил завалить эту тайну своей премией, спасти Шолохова, присвоить и поглотить в свои бездны. Мастерский, конечно, ход, до сих пор его не разрубить, не разгадать" (Звезда. 1995. № 11. С. 45). И не привела никаких доказательств. Сталинская премия за "Тихий Дон" была присуждена в марте 1941 г., спустя много лет после того, как авторитетная

комиссия после изучения представленных Шолоховым материалов 29 марта 1929 г. в “Правде” опровергла как клевету слухи о плагиате. Сплетники были всенародно посрамлены, “заваливать... тайну”, “спасать” Шолохова не было тогда никакой необходимости. В. Баранов заявил в “Российской газете” от 31 июля 1993 г.: “Вовсе не хочу сказать, что проблему авторства “Тихого Дона” надо считать решенной раз и навсегда”. Сомневается в авторстве Шолохова академик Д. С. Лихачев, и эти сомнения у него начались еще в конце 20-х гг. Не нашлось доброго слова у многих газет и журналов, радио и телевидения в мае 1995 г., когда исполнилось 90 лет со дня рождения Шолохова.

В кампании по дискредитации Шолохова участвовал А. Солженицын. Стоит напомнить, что 20 декабря 1962 г. он очень высоко оценивал его как “автора бессмертного “Тихого Дона””. Шолохов одобрительно отнесся к повести Солженицына “Один день Ивана Денисовича”, но позднее резко осудил его стихотворную пьесу “Пир победителей”, возмущившись тем, что власовцы - “изменники родины” - прославляются в ней “как выразители чаяний русского народа”, что “все командиры - русские и украинцы - либо законченные подлецы, либо колеблющиеся и ни во что не верящие люди”. И далее: “Что касается формы, то она беспомощна и не умна. Можно ли о трагедийных событиях писать в оперативном стиле, да еще виршами такими примитивными и слабенькими... У меня одно время сложилось впечатление о Солженицыне, что он душевнобольной человек, страдающий манией величия”. Шолохов выступил за исключение Солженицына из Союза писателей и заявил, что этому “человеку нельзя доверять перо: злобный, сумасшедший, потерявший контроль над разумом, помешавшийся на трагических событиях 37-го года и последующих лет, принесет огромную опасность всем читателям и молодым особенно” (Молодая гвардия. 1991. № 11. С. 246-247).

Видимо, это эмоциональное заявление навсегда выбило Солженицына из душевного равновесия, если иметь в виду его отношение к Шолохову. В “Архипелаге ГУЛАГе” Солженицын пишет: “В дни, когда Шолохов давно уже не писатель...” В его воспоминаниях “Бодался теленок с дубом” Шолохов предстает как “невзрачный”, “малоросток”, который “глупо улыбался”, у него “палаческие руки”. В “Теленке” есть глава “Стремя “Тихого Дона”, где говорится: конечно, вокруг Солженицына “все уверены были, что не Шолохов писал “Тихий Дон”. И очень обидно было Александру Исаевичу “за несчастного заклятого истинного автора”: “все обстоятельства в заговоре замкнулись против него на полвека. Хотелось той мести, которая называется возмездием, которая есть историческая справедливость”, ведь “больше сорока лет висело это злодейство”. Впавшему в раж мести Солженицыну стало известно, что у М. Асеевой есть заветная тетрабочка, а в ней “первые главы “Тихого Дона”, написанные “еще в начале 1917 года в Петрограде” Ф. Крюковым. Бедную Асееву нещадно преследует “шолоховская банда”, которая хочет завладеть тетрабочкой. Но наконец-то весь архив, оставшийся от Крюкова, получен “на разборку”. И. Томашевская, вдохновленная Сол-

женицыным, задалась целью доказать: “Шолохов не просто взял чужое, но - испортил - переставил, изрезал, скрыл; и что истинный автор - Крюков”.

Ответ готов, только вот как быть с доказательствами? Нельзя же считать ими такое суждение Солженицына: “Да, в этом романе - и нет единой конструкции, соразмерных пропорций, это сразу видно. Вполне можно поверить, что управлялся не один хозяин”. Что же тогда можно сказать о “Красном колесе”? Сколько у него хозяев? Но “самое страшное” то, что к Асеевой являются от Шолохова то с угрозами, то с подкупом, но тетрадочку она почему-то так и не показала сотоварищам Солженицына. В примечаниях 1986 г. он, однако, отметил: “Теперь умерла и Марья Акимовна. Не знаю: унесла ли с собой тайну или и не было ее”. Право же, не стоило бы большому писателю становиться на путь мелкотравчатого сочинительства подобных историй.

Солженицын повторяет расхожую байку: Громославский “был близок к Крюкову, отступал вместе с ним на Кубань, там и похоронил его, завладел рукописью, ее-то, мол, и дал Мишке в приданое...” Он готов поверить казаку С. Старикову, который не сомневался в том, что Шолохов украл “Тихий Дон” у Крюкова, но и знал, что “писал “Поднятую целину” - опять-таки не Шолохов, но тесть его Петр Громославский, в прошлом станичный атаман”. Медведев уверяет, что Громославский был “в прошлом писарем казацкого полка, ...и литератором, хотя и посредственным, но отнюдь не начинающим... в 1918-1919 годы он принимал посильное участие в белоказачьем движении и был в Новочеркасске одним из сотрудников газеты “Донские ведомости”, которую редактировал в то время известный русский и донской писатель Ф. Д. Крюков... Есть свидетельства, что Громославский помогал Ф. Д. Крюкову, а после смерти последнего похоронил его с группой казаков недалеко от станицы Новокорсунской. Можно предположить поэтому, что именно Громославскому досталась какая-то часть “кованого сундучка” с рукописями Крюкова” (Вопросы литературы. 1989. № 8. С. 156).

Откуда узнали Солженицын и Медведев о том, что Громославский помогал Крюкову и даже похоронил его? Разного рода злонамеренные домыслы не могут опровергнуть того, что писал Шолохов 4 марта 1937 г. в своей автобиографии: Громославский в 1919 г. “со своим старшим сыном добровольно вступил в красную Слащевско-Кумылженскую дружину, потом в этом же году был захвачен в плен белыми, предан военно-полевому суду и приговорен к 8 годам каторги, которую и отбывал в новочеркасской тюрьме вплоть до занятия его в начале 1920 г. красными войсками. С 1920 года по 1924 был заведующим станичным земотделом”. Никакой связи с Крюковым у него не было, и “кованый сундучок” он не мог взять с собой. И литератором он не был. По заявлению Солженицына, Громославский “еще жив был в 50-е годы, тогда-то и появилась 2-я книга “Поднятой целины”, а после смерти Громославского за 20 лет Шолохов не выдал уже ни строчки” (Новый мир. 1991. № 12. С. 74). Выходит, не было вообще знаменитого писателя Шолохова, он присваивал произведения своего тестя... Но как быть хотя бы с тем, что Громославский умер в 1939 г. (об этом Шолохов писал в одной из своих автобиографий)?

В романе Солженицына “Октябрь шестнадцатого” выведен Ф. Ковынев, биография и литературная деятельность которого во многом совпадает с тем, что известно о жизни Ф. Крюкова. Этот герой пишет “Тихий Дон”. Но все, что мы знаем о жизни Крюкова, свидетельствует: не написал он и не оставил после себя крупного произведения. В 1918-1919 гг. Крюков редактировал газету “Донские ведомости”, был секретарем Войскового Круга, участвовал в боях с красными, текущие дела требовали много времени и сил, на работу над крупным произведением их оставалось слишком мало. В начале 1920 г. Крюков умер, его архив 1917-1920 гг. сохранился, в нем 12 тысяч страниц, но нет там ни одной страницы автографа “Тихого Дона”.

В книге Томашевской “Стремя “Тихого Дона” утверждалось, что главный автор “Тихого Дона” - Ф. Крюков, но затем сочинители фальшивки, по словам А. Калинина, вдруг спохватились: биография событий в четвертом томе “Тихого Дона” никак не совпадает с биографией их очередного “кандидата”, они всего-навсего объявили восьмую часть романа с ее ослепительным финалом “мелодрамой”, “рванью” и “клочками”, которые “свел” воедино “кто-нибудь другой”, например, “тот же” Серафимович. “Тот же”, который уже после первой книги “Тихого Дона” предсказал Шолохову великую будущность. “Тот же”, чья подпись стояла под гневной отповедью анонимным авторам первой клеветы” (Правда. 1987. 16 мая). “Вот ведь псы”, - так писал он о клеветущих на Шолохова еще в 1929 г.

Г. Хьетсо сообщил, что Шолохов выразил удивление, как Крюков попал в претенденты на авторство романа: “Ведь Крюков жил в Глазуновской... Какие у него могли быть знания о событиях вокруг Вешенской, где происходит действие “Тихого Дона”? К тому же в романе широко использованы имена и персонажи из соседних станиц и хуторов: так, прототипом Григория Мелехова служил Харлампий Ермаков из хутора Базки, с которым с отроческих лет Шолохов был знаком и с которым не раз беседовал. Крюков же вообще не знал этих людей!” (Вопросы литературы. 1990. № 5. С. 36-37).

Г. Климов в книге “Красные протоколы” (Кубань.1992) сообщает о конференции Американской ассоциации преподавателей славянских языков и литературы, где произошла дискуссия нескольких профессоров на тему “Кто автор “Тихого Дона”?” Профессора Р. Ермолаев, Д. Стюарт, Р. Магвайр и М. Хэйверд - “все четыре авторитета единогласно заявляют, что Шолохов написал “Тихий Дон” сам, что никакого плагиата там нет” (203). Книгу И. Томашевской подверг сокрушительной критике Г. Ермолаев, который, в частности, писал: “Непомерное количество ошибок и неточностей показывает, что в течение своей работы над “Тихим Доном” Д. не был как следует знаком ни с его текстом, ни с историческими событиями, основные сведения о которых он имел возможность почерпнуть из того же романа... главная причина ошибок и неточностей Д. коренится в его исследовательском подходе, который отличается не столько доскональным изучением текста и фактов, сколько игрой фантазии, недоказуемыми догадками и произвольными толкованиями, основанными нередко на ошибочных предположениях” (Русская литература. 1991. № 4. С. 42).

Версию о написании Крюковым “Тихого Дона” отвергли и результаты исследования норвежских и шведских ученых во главе с Г. Хьетсо, использовавших компьютеры для лингво-стилистического анализа. Беспристрастная ЭВМ однозначно подтвердила авторство Шолохова. Это излагается в книге Г. Хьетсо... “Кто написал “Тихий Дон”?” (М., 1989). Нет смысла останавливаться на попытках “Вопросов литературы” (1991. № 2) найти авторов (Е. Вертель и Л. Аксенова), которые бы - пусть и без подлинно научных доказательств - опровергли работу этой группы ученых и при помощи несостоятельных логических ухищрений доказали “маловероятность предположения об авторстве Шолохова в отношении 1-й части “Тихого Дона”.

Основательно изучивший жизнь и творчество Крюкова писатель А. Знаменский решительно подтверждает, что тот “никогда не писал первой книги “Тихого Дона” да и не мог написать такой книги даже по его стилю, который более подходил к стилю И. А. Бунина” (За советскую науку. Ростов на/Д, 1989. 9 октября). Существенное отличие стиля “Тихого Дона” от прозы Крюкова верно определил Н. Глушков: “Чистокровный реализм - эпика “Тихого Дона”, эмоционально сдержанный стиль даже при обнажениях авторской тенденции... и почти сплошь субъективированная эпика Крюкова (лиричная, публицистичная, ироничная) - это повествования-темпераменты, родственные, однако разные характеры на всю жизнь” (Молот. Ростов на/Д, 1989. 23 декабря). Такая субъективность изображения не была приемлема для Шолохова. Когда сын Михаил показал ему свои творческие опыты, он заключил: “Понимаешь, за каждым абзацем у тебя стоит сам автор - неповторимый и оригинальный М. М. Шолохов. А избежать этого - первейшая задача и главнейшая трудность” (Литературная Россия. 1990. 23 мая).

З. Бар-Селла, учившийся в МГУ и уехавший в 1973 г. в Израиль, опубликовал в журнале “Даугава” (1990. № 12; 1991. № 1 и 2) работу “Тихий Дон” против Шолохова”. Он ненавидит русского гения (чего стоит такой его перл: “Шолохов с его звериным невежеством”), многие годы ищет “настоящего” автора “Тихого Дона” и готов был бы с радостью объявить таковым Крюкова, но не нашел ни одного серьезного аргумента в пользу такой версии и вынужден признать: “Крюкову “Тихий Дон” написать не под силу. Да и не похоже” (Даугава. 1990. №12. С. 95).

Р. Медведев согласился с критикой Г. Ермолаева в адрес сочинения Д., который слишком часто опирался “на необоснованные интерпретации и ложные послышки” и признал, что “Д. не сумел поэтому доказать свой тезис о существовании в “Тихом Доне” авторского и соавторского текстов” (202). Однако Медведеву показалось, что есть достаточно оснований, чтобы “всерьез рассмотреть и изучить подобную гипотезу”. Он продолжает считать, что Крюков, умерший в начале 1920 г., является наиболее вероятным автором “Тихого Дона”. Его не убеждают основательные аргументы Ермолаева, отвергшего эту версию и, в частности, считающего, что “большие куски второго тома должны быть написаны в 1923-1924 годах (точнее сказать, не раньше этого времени. - А.О.), и это, кстати, является сильным аргументом против давнишнего утверждения, будто Шолохов

приобрел рукопись, роясь в материалах сельского ревкома, когда он там служил” (187). Все соображения Медведева не выдержали проверки, и в подтверждение своей правоты он привел в качестве доказательства свидетельство П. Шкуратова, который сообщил А. Храбровицкому, что Крюков писал об окончании им первой книги “Тихого Дона” в одной из районных газет в 1919 г. Найти бы ее... Все, что известно о жизни Крюкова, не согласуется с этим сообщением. Он мог унести с собой в могилу задумку создать “Войну и мир” своего времени, как уверял Сергей Серапин (Пинус). Но никто пока не доказал, что неизвестная нам рукопись крупного произведения была у Крюкова, что она каким-то образом попала к Шолохову.

В. Васильев исследовал воспоминания Шкуратова и пришел к выводу, что он “был с Крюковым примерно в тех же отношениях, в каких Хлестаков с Пушкиным” (Молодая гвардия. 1991. № 11. С. 256). Иная версия отношений Шкуратова и Крюкова проглядывает в публикации П. Ткаченко в “Литературной России” от 1 апреля 1994 г., в которой он называет Шкуратова верным душеприказчиком Крюкова и приводит отрывок из письма В. С.: “Если опубликовать письма и рукопись Шкуратова “Павел Курганов”, в которой с первой и до последних страниц, через все повествование идет Крюков, вся его писательская жизнь, и где не сказано о работе Крюкова над большим полотном, схожим с “Тихим Доном”, навсегда замолкнут те, кто пытается обвинить Шолохова в плагиате”. Нет, не замолкнут, но на свидетельство Шкуратова, может быть, перестанут опираться.

Как подчеркнула жена Шолохова, Мария Петровна, у клеветников “ненависть заслонила... все человеческое, и они прибегают и к подтасовке фактов, и к вымыслу, и к прямой клевете”. По ее словам, это относится “и к Семанову, и к Мезенцеву, который на страницах газеты “Коммунистический путь” представил очередную до смешного наивную и глупую версию о плагиате”. Мария Петровна далее заметила: “И ведь печатают!?! Обидно, что этим правом в той же мере не пользуются подлинные ценители и настоящие друзья Михаила Александровича” (Литературная Россия. 1989. 20 января).

М. Мезенцев утверждал, что “Шолохов имел рукопись романа “Тихий Дон”, написанного Ф. Д. Крюковым”, и вот как он пытался это доказать: в августе 1917 г. корреспондент газеты “Вольный Дон” посетил Крюкова и сообщил, что тот “задумал написать роман из казачьей жизни, где предполагает коснуться старины и нарисовать также и современную казачью жизнь”. Делается вывод: “Нет сомнения, что Ф. Крюков в 1915- 1920 годах работал над романом. Самым плодотворным можно считать период с весны 1917 по лето 1919 года” (Вопросы литературы. 1992. № 2. С. 22). На наших глазах совершен подлог: в газете говорится, что Крюков в августе 1917 г. только “задумал написать роман”, а в статье Мезенцева он уже с 1915 г. “работал над романом”. Не станем опровергать мысль Мезенцева о “текстуальных совпадениях” “Тихого Дона” с произведениями Крюкова, это уже убедительно сделано Н. Глушковым в газетах “Молот” и “За советскую науку”.

Вместе с тем следует остановиться на поразительном утверждении Мезенцева о том, что, оказывается, Крюков является “соавтором рассказа “Судьба человека”. Шолохов-де допустил “очевидные заимствования” и не “из опубликованных произведений Крюкова, а из его рукописей”, и это он совершил только потому, что он “ни секунды не сомневался, что черновик Крюкова нигде не публиковался. Он бы просто не стал делать такие очевидные заимствования из газетной публикации” (Там же. С. 30). Мезенцев нашел в “Донских ведомостях” (1919. № 16) рассказ Крюкова, в котором есть “совпадения” с “Судьбой человека” Шолохова. Вот они. У Шолохова: “Нечего греха таить. Я упал, как срезанный, потому что понял, что я ...уже в плену у фашистов”. У Крюкова: “Окружили... Бросай шашку... Бросил, оробел, - виноватым голосом проговорил Зеленков”. Второе “совпадение”. У Шолохова: “... чернявый присмотрелся на мои сапоги, показывает рукой: “Сымай”. Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему... Размотал я портянки, протягиваю ему...” У Крюкова: “Погоны сорвали, зачем сапоги сымать, чулки”. Эти сравнения никак не свидетельствуют о каком-либо заимствовании. Сама жизнь снабдила писателей схожими ситуациями. П. Павленко в рассказе “Григорий Сулухая” изобразил, как Сулухая попал в плен, здесь можно найти даже больше точек соприкосновений с “Судьбой человека”, чем в рассказе Крюкова. В статье Шолохова “На юге” (1943) старик рассказывает: “...один из них, высокий такой, с нашивкой на рукаве, указывает на мои валенки и рукой помахивает - снимай, мол” (8, 168).

Мезенцев не подозревает, что история литературы знает немало разительных совпадений, какие вовсе не говорят ни о влиянии, ни тем более о плагиате. Так Г. Флобер был поражен сходством “некоторых сцен в “Мадам Бовари” и в тех произведениях Бальзака, с которыми впервые он познакомился позднее. В “Деревенском лекаре” Бальзака он открыл такую же сцену, что и в своем романе: посещение кормилицы. “Те же детали, те же эффекты, тот же замысел: можно было подумать, - говорит Флобер, - что я у него списал... “Луи и Лабер”, как и “Бовари”, начинается с поступления в колледж, есть даже одинаковые выражения”. Причины такого рода совпадений заключаются в сходстве изображаемых явлений жизни” (Бушмин А. Преемственность в развитии литературы. Л., 1975. С. 107).

“Независимая газета” 17 сентября 1993 г. опубликовала информацию, согласно которой “в станице Новокорсунской найдена часть рукописи донского писателя Крюкова “Дон сражается...” Эта рукопись, по мнению экспертов, “имеет поразительное сходство с известным шолоховским романом “Тихий Дон”. Прошло много лет - но “найденная” рукопись где-то “затерялась”, не обнародованы и имена “экспертов”, которые исследовали ее. Очередная фальшивка.

Кое-кто в авторы “Тихого Дона” метит Р. Кумова, донского казака, учившегося в Московском университете, автора двух книг. Но Кумову мешает встать на пьедестал создателя “Тихого Дона” не только иной стиль его произведений, но и тот факт, что он умер от тифа в Новочеркасске 20 февраля 1919 г. Невозможно объяснить, как он мог показать возникновение и ход вешенского восстания в

1919 г. и последующие события. Д. Воротынский в “Станице” (Париж. 1936. 20) исключал возможность того, что Шолохов мог воспользоваться рукописью белогвардейского писателя: “Во время нашего великого исхода из России на Дону было два крупных казачьих писателя: Ф. Д. Крюков и Р. П. Кумов. ... С Ф. Д. Крюковым я был связан многолетней дружбой, я был посвящен в планы его замыслов и если некоторые приписывают ему “потерю” начала “Тихого Дона”, то я достоверно знаю, что такого романа он никогда и не мыслил писать. Что касается Р. П. Кумова, которого тоже впутывают в эту легенду, то и Кумов такого романа писать не собирался. Есть у Кумова незаконченный роман “Пирамиды” тоже из жизни донских казаков, но он не опубликован и рукопись хранится в Берлине по сие время. Из мелких донских писателей (подчеркиваю, донских, ибо надо знать красоты казачьей разговорной речи) такой рукописи, конечно, ни у кого не имелось...”

На неправдоподобных домыслах построила Г. Стукалова свою статью “Один офицер по фамилии Родионов...” (Огонек. 1993. № 17. С. 22), в которой утверждает, что “вероятным автором “Тихого Дона” был И. А. Родионов. 60 лет, оказывается, скрывали то, что казачий есаул Родионов “читал другу (Днипровскому) отрывки из своего романа “Тихий Дон”, который начал за несколько лет до войны и продолжал писать уже на фронте”. Далее Стукалова сообщает: “Шолохов, по словам Родионова-сына, признался в том, что нашел рукопись убитого белогвардейского офицера и использовал ряд сюжетных линий”.

Если бы даже на самом деле было такое признание, то оно никоим образом не давало бы права говорить о плагиате. Как заметил А. Чехов в письме Л. Ленской от 15 февраля 1889 г., “на один и тот же сюжет могут писать 20 человек, не рискуя стеснить друг друга”. “Всевозможных сюжетов и интриг в окружающей нас действительности много, - писал А. Калинин. - В том числе и так называемых вечных сюжетов. Но только гению и дано бывает в самый необходимый для времени момент выхватить из окружающего тот единственный сюжет и ту единственную тему, которая в наибольшей степени характеризует само время” (Советская Россия. 1988. 13 ноября).

Стукалова потревожила тень Голоушева. В предисловии к книге Томашевской “Стремя “Тихого Дона” (1993) Солженицын утверждал: “Те главы из “Тихого Дона”, которые Голоушев предлагал Андрееву для “Русской воли” и были главами из уже писавшегося тогда романа Федора Крюкова. Эти главы Голоушев мог, в частности, получить через Серафимовича, с которым был в дружеских отношениях”. Но Крюков был знаком с Андреевым, ему не надо было искать посредника. Да нет же, поправляет Солженицына Стукалова, это были “отрывки под названием “Тихий Дон”, Голоушев действительно “выполнял роль посредника, автор Родионов”. Аргументы у нее железные: Родионов - “казак, антибольшевик”, участвовал в войне 1914-1918 гг., был хорошо знаком “с жизнью станичников, с одной стороны, и с жизнью столичных городов Москвы и Петербурга - с другой”. Напоминают читателям и “о его казачьем происхождении и высокой (университетской, по сведениям Днипровского) образованности, глубоко народнических

взглядах”. Если использовать такие доказательства и махнуть рукой на то, что создателю “Тихого Дона” была крайне необходима такая малость, как гениальное дарование, то можно легко найти длинный ряд авторов этого произведения. А “глубоко народнические взгляды” не вяжутся с тем, что он избивал крестьян (и за это привлекался к уголовной ответственности). О его книге “Наше преступление” (1908) М. Горький написал, что ее автор рекомендует “водворить мир посредством виселиц”, и заключил: “Сволочь он, Родионов-то!” (Собр. соч: В 30 т. М., Т. 29. С. 157).

А. Гербурт-Иогансон, вдова украинского писателя Майкла Иогансона, опубликовала в журнале “Континент”(1985. № 44) письмо, в котором говорится, что Днипровский читал рукопись расстрелянного белогвардейского офицера и она произвела на него большое впечатление. Через многие годы он узнал в “Тихом Доне” “произведение, которое в дни гражданской войны командир давал ему для оценки”. В связи с этим он-де впоследствии ходил к Горькому. Бросается в глаза серьезная разница: у Стукаловой Родионов читал Днипровскому “Тихий Дон”, у Герберт Иогансон он познакомился с рукописью расстрелянного офицера. Так был ли Днипровский (умер в 1934 г.) другом Родионова? Если вникнуть в обстоятельства их жизни, в возможность их встреч, то вероятность нулевая. Странно и то, что перед Стукаловой не встал вопрос: почему же Родионов, проживающий после гражданской войны в Германии (умер в 1940 г.), открыто не заявил, что именно он создал получившую всемирную известность эпопею “Тихий Дон”?

Необходимо остановиться и на самом “убедительном” аргументе Стукаловой, на “чести литературных имен Ивана Днипровского и Марии Пилинской, свидетельствам которых нельзя не верить”. Ладно, не будем вспоминать о чести Шолохова, разберемся с честью Днипровского и его жены Пилинской. Упрямо ищущий компромат против Шолохова Бар-Селла проверил сообщение Гербурт-Иогансон и пришел к заключению: “писатель Иван Днипровский в Красной Армии не служил, писарем при красноармейской комендатуре не был, красные на Дон его не посылали... Иными словами, весь рассказ о фанерных чемоданах, антисоветских рукописях и разговорах с Горьким - все это, как нам ни больно признавать, ложь от первого до последнего слова. Зачем Днипровский мистифицировал своих коллег? Этого мы никогда не узнаем” (Даугава. 1991. № 2. С. 49).

Родионов написал о гражданской войне повесть “Жертвы вечерние (не вымысел, а действительность)”, опубликованную в 1922 г. в Берлине. Но она ничем не напоминает “Тихий Дон”. Прочитав отрывок из нее, Бар-Селла с сожалением заметил: “Это вам не “Тихий Дон”... Ох, не “Тихий Дон”... Ясно, что Родионов “Тихий Дон” не писал и написать не мог” (Даугава. 1991. № 2. С. 53). Но в целях справедливости следует заметить: нет, Родионов писал “Тихий Дон” и опубликовал свою очерковую книгу об истории донского казачества еще в 1913 г., однако, кроме названия, у нее нет ничего общего с шолоховской эпопеей. В 1994 г. она была переиздана.

Стало очевидным, что прямые “разоблачения” авторства Шолохова не имеют никаких шансов на успех. Называли создателем “Тихого Дона” Голоушева,

Тарасова, Крюкова, Родионова, Кумова, Громославского, Севского (В. Севский исчез из жизни в конце января 1920 г. при эвакуации белой армии из Ростова-на-Дону) - и терпели полное фиаско. Кончили сущей комедией: М. Аникин в еженедельнике Санкт-Петербургского университета "Слово и дело" (1993. № 6) авторство "Тихого Дона" приписал... Серафимовичу. Кацис в пасквиле "Читал ли Шолохов "Тихий Дон" (Российские вести. 1994. 10 сентября) заявил, что знаменитая эпопея - "скорее всего это плод работы целого коллектива, бригады литературных поденщиков, прикрепленной "в помощь" молодому писателю. Чистовую обработку и доводку мозаичного текста могли поручить какому-нибудь классику, например, Серафимовичу. Что же касается Шолохова, не исключено, что он вообще не читал "своего романа". Вот и такой бред публикует наша демпресса... Кацис уверяет, что он - кандидат филологических наук, (позднее стал даже доктором филологических наук), но не получил ли он свои ученые степени, используя помощников-поденщиков? Не потому ли его понимание сути литературного творчества можно оценить единицей?

Издание факсимильного текста «Тихого Дона» - большой вклад в изучение этой эпопеи, наносит удар по тем, кто отыскивает «подлинного» ее автора. Но вряд ли надо утверждать: «Публикация факсимильного издания "Тихого Дона" ставит окончательную точку в самом тяжелом литературном споре XX века». Навивно надеяться, что очернители перестанут заниматься внедрением массовому читателю и зрителю мысли о плагиате Шолохова. Для П. Басинского и ряда других либеральных литераторов «вопрос об авторстве «Тихого Дона» – вопрос вечный» (Литературная газета. 2005. № 15). Бар-Селла Зеев опубликовал в 2005 году в Москве, в РГГУ, книгу «Литературный котлован. Проект «Писатель Шолохов». Он пишет: у Шолохова «звериное невежество», он для него «безграмотный хам», «литературное чучело». Он был-де завербован ГПУ, ничего не написал, а всю жизнь лишь изображал из себя писателя. Бар-Селла открыл: «4-я книга – это советская литература, а первые три – русская. Соответственно и авторы у них разные». Это противоречащее очевидной истине утверждение отрицает литературоведческие способности озлобленного антисоветчика. И другие «открытия» характеризуют этого автора, как любителя бульварных детективов. Например: А. Платонов написал лучшее в романе «Они сражались за родину». На работу Бар-Селлы отозвался бесчестный космополит Е. Добренко, утверждающий, что текст «Тихого Дона» «был украден»: «Конечно, не мог мальчишка, не знавший толком ни войны, ни жизни ...создать эту книгу». (Новое литературное обозрение. № 79). Бар-Селла 25 декабря 2009 г. заявил в "Литературной России", что "аргументов в пользу авторства Шолохова не существует вовсе".

Кто финансирует такие клеветнические издания? Неправительственные фонды, получающие доллары из США? Или отечественные финансовые тузы? Или правительственные структуры?

Солженицын, видно, понимал шаткость утверждаемой им концепции, связанной с Крюковым, и готов был отказаться от нее; напутствуя опус Томашевской, он заявил, что эпопею "Тихий Дон" "мог создать оставшийся всем неиз-

вестным, в гражданскую войну расцветший и вслед за ней погибший еще один донской литературный гений”. Собственно, он выбросил белый флаг, но признать это перед всем миром не хочет.

Глава 3. О МОЛОДОСТИ И “НЕОБРАЗОВАННОСТИ” ПИСАТЕЛЯ

Главные усилия современных “расследователей” Шолохова сосредоточены на попытках доказать несоответствие его личности в период написания “Тихого Дона” и образа автора этой эпопеи. Отсюда-де может вытекать, что очень молодой писатель, не получивший хорошего образования, выросший не в столичной высококультурной семье, а на каком-то донском хуторе, не мог ее написать, он воспользовался чужим трудом. По Ленинградскому телевидению устами Зои Борисовны, дочери И. Томашевской и Б. Томашевского, оповестили зрителей, что Томашевский “был убежден: написать в 19 (?) лет книгу такого художественного уровня совершенно необразованный (?), не на Дону (?) родившийся человек не мог” (Литературная Россия. 1990. 27 июля). В книге И. Томашевской “Стремя Тихого Дона” Зоя Борисовна варьирует эти мысли: “Ну, не мог же, в самом деле, молодой человек с четырехклассным образованием, иногородний, не знающий ни казачьего быта, ни донской истории, сразу написать произведение такого масштаба, такой силы, которая дается лишь большим жизненным опытом” (123). Говоря о “Тихом Доне”, Г. Бакланов посчитал, что “слишком несоизмерим роман с его автором, с тем, что известно о нем” (Литературная газета. 1994. 26 января). Подобные парадоксы известны в мировой литературе. Кое-кто до сих пор не может согласиться с тем, что автор гениальных пьес Шекспира - не высокообразованный аристократ, а какой-то сын перчаточника, “деревенский олух из грязного захолустного Стратфорда”.

В. Солоухин в “Камешках на ладони” (Литературная газета. 1992. 19 декабря), как бы пересиливая свои сомнения, пишет: “Может, и правда все в этой эпопее принадлежит Шолохову”. Но потом делает ход конем: “Шолохов не мог написать первую книгу “Тихого Дона”, ибо она написана с психологией и жизненным опытом пятидесятилетнего человека, много видевшего, знающего, пережившего, а Шолохову ведь - двадцать лет. Мальчишка”. Но давайте подумаем: много ли шансов на то, что пятидесятилетний автор в этой самой первой книге стал бы очень часто называть стариком Пантелея Прокофьевича, которому не было 60 лет? И решился бы подобный автор написать, повествуя об Аксинье, такую фразу: “Ночью отец ее, пятидесятилетний старик, связал ей треногой руки и изнасиловал” (2, 41)? Шолохов завершил первую книгу “Тихого Дона”, когда ему было 22 года. В последнее время некоторые исследователи утверждают, что Шолохов родился не в 1905, а в 1903 г., но серьезных доказательств не приводят. В. Кожин пишет: “Если бы Шолохов действительно родился в 1905 году, он должен был оказаться в начальном училище Министерства просвещения четырех- или пятилетним ребенком, между тем туда принимали только начиная с семилетнего возраста” (Литература в школе. 1994. № 4. С. 24). Вспомним общеизвестные факты: в 1911 г. шестилетний Шолохов начал учиться на дому, занимался

шесть-семь месяцев. Значит, в 6 лет его не приняли в школу. В 1912 г., когда ему исполнилось семь лет, он пошел учиться сразу во второй класс. Если же поверить в новую дату рождения Шолохова, то эта “прибавка” отнюдь не укрепляет позиции “скептиков”. Солоухин мог считать себя мальчишкой и в 22 года: учение в техникуме, служба в кремлевской охране в то самое время, когда его сверстники погибали на фронте, - это, видимо, задержало его взросление и возмужание.

В одном из стихотворений Солоухин радуется тому, что он “не был на войне”, не скрывает своей радости от того, что на этом свете никого “так и не убил”, что “жив тот солдат в германской стороне”, которого он “на мушку бы поймал, когда судьба решила бы иначе”. Но “судьба” подталкивала его ехать вместе с товарищами на фронт, а он схитрил: будучи отличным стрелком, “умудрился” плохо выполнить контрольное задание по стрельбе, и его не взяли в добровольческую снайперскую группу. И после этого он позволил себе иронизировать над товарищами, вернувшимися с фронта в Кремлевский полк (а вернулись далеко не все...) и писать этакое: “Мне не надо было каких-нибудь героев Краснодона из пальца высасывать” (Литературная Россия”. 1996. 7 июня).

Шолохов к своим 22 годам испытал немало поучительного и страшного: своими глазами видел, как полыхала гражданская война на Дону. Он говорил: “Ведь я с 15 лет самостоятельный человек... В моей жизни были такие переплеты...” (Знамя. 1987. № 10. С. 181).

Удивительны рассуждения Солоухина: “Даже если две трети “Тихого Дона” написаны им, и тогда уж это очень большой писатель”. И далее он домысливает: “Сойдемся на компромиссе: первая часть, если не в отделанном виде, то в черновиках, ему действительно досталась с расстановкой действующих лиц, а главное с тональностью романа. Тон был задан, атмосфера романа определена, весь замысел, вернее сказать, рождение замысла - это больше чем половина дела”. Как заметил В. Бушин, если вспомнить утверждение Солоухина о том, что первая книга написана с психологией и жизненным опытом по крайней мере пятидесятилетнего человека, то получается, что он “не написал и остальные три книги, ибо, когда в 1940 году вышла уже самая последняя, четвертая, Шолохову было всего тридцать пять лет” (Правда. 1992. 4 июня). Выходит, ничего шолоховского нет в “Тихом Доне”... У Солоухина есть странное доказательство в пользу своих домыслов: он спросил талантливых писателей, могли ли они в 20 лет создать “Тихий Дон”? Ответ был единодушен: они такое совершить не могли бы... И что же это доказывает? Только одно: то, что подвластно молодому гению, обыкновенному талантливому человеку не под силу совершить даже в зрелом возрасте.

М. Колосов самолично наблюдал, как начинался литературный путь Шолохова. На вопрос “Вы лично не усомнились в авторстве Шолохова на роман?”, он ответил: “Нет, не сомневался никогда, все мы были молоды и необразованны, все быстро творчески росли, удивляя друг друга, Все, кто в молодости знал Шолохова, его донские рассказы, не сомневались, что роман написал он сам...” (Л. Колодный. Кто написал “Тихий Дон” М., 1995. С. 32).

Убежденный в том, что молодой Шолохов не мог создать такое гениальное произведение, каким является “Тихий Дон”, Медведев спрашивает: “Но все же - как оказался “философский ключ” к тайнам революционной эпохи в руках 20-летнего юноши с очень малым по тому времени жизненным опытом и очень скромным образованием?” Да, Шолохову было 20 лет, когда он начал писать “Донщину”, но, работая над ней, он почувствовал: что-то у него не получается. Не оказалось у молодого писателя нужного “философского ключа”, пришлось бросить начатое, и только в конце 1926 г. он снова стал писать роман - теперь уже “Тихий Дон”. Концепция эпопеи уточнялась, окончательно оформилась только тогда, когда была завершена четвертая книга. На начальном этапе работы, например, не было Григория Мелехова (его “заменял” Абрам Ермаков). Когда же он появился, то в первых набросках его изображение разительно расходилось с тем, как он показан в опубликованном произведении. В отмеченной выше книге Л. Колодного обнаружен черновой вариант главы, в которой описывается первая брачная ночь Григория: “Не было прежнего самодовольства, как раньше, когда силком овладевал где-нибудь на гумне или в леваде облюбленной и заманенной туда девкой”. Далее рассказывалось о том, как надругался он над “поденной работницей” Нюркой: “Подстерег, когда спала в амбаре одна, пришел. Нюрка вскочила, забилась в угол. Тронул рукой - завизжала хрипло и дико. Сбил с ног подножкой, побаловался и ушел. Испортил девку почином. С той поры стали ходить к ней хуторские ребята, друг другу рассказывали, смеялись. Подговорил Гришка Митьку Коршунова как-то вечером, увели за гумно Нюрку, избили и завязали над головой подол юбки. Ходила девка до зари, душилась в крике, каталась по земле и вновь вставала, шла, натыкалась на гуменные плетни, падая канавы... Развязал ее ехавший с мельницы старик” (362-363). Такой герой не бросился бы защищать изнасилованную казаками Франю...

Пусть кто-то считает, что молодость Шолохова “могла быть только его союзником при создании “Тихого Дона”: ведь много сил, огромная впечатлительность, к тому же в провинции много подчас такого, чего нет в столице”, там можно найти кладезь “мудрости, колорита, огромного количества материала”, удивительный по красочности язык простых людей. Нет, все это не убедит Медведева. Стараясь выглядеть объективным исследователем, он вспоминает других очень молодых писателей, создавших произведения, которые оставили след “не только в национальной, но и в мировой литературе”: “Знаменитая драма “Разбойники” была написана Шиллером, когда ему был всего 21 год. Другая не менее известная драма - “Коварство и любовь” была написана Шиллером в 24-летнем возрасте. М. Ю. Лермонтов свои наиболее зрелые произведения создал в 23-26-летнем возрасте, в том числе и роман “Герой нашего времени” - один из шедевров русской литературы” (Вопросы литературы. 1989. № 8. С.167). Но Шиллер “закончил, пусть и плоховатый, университет”... Лермонтов “получил прекрасное домашнее образование”. Далее Медведев рассуждает: “Но ведь можно привести и иные примеры. Сергей Есенин окончил только несколько классов церковной школы... В 1918 году, когда Есенину было всего 23 года, он был уже признанным

поэтом, автором многих замечательных поэм и стихотворений”. В. Маяковский не закончил пятый класс гимназии, “но уже к 22-м годам” он “был вполне сложившимся поэтом со своим неповторимым почерком” (168). Но это были поэты, для них главное - выразить свой внутренний мир, а “почти все первые произведения советской литературы (так же как и “Герой нашего времени” Лермонтова и “Горе от ума” Грибоедова) были основаны на художественном обобщении собственного опыта их авторов”, “в истории мировой литературы не было еще эпопеи, созданной в 21-23-летнем возрасте” (169). Стоит ли еще раз указывать на то, что Шолохов завершил эпопею, когда ему исполнилось 35 лет?

Медведев уверяет, что “в целом личность 23-летнего М. А. Шолохова весьма разительно не соответствует тому “слепок личности автора”, который можно было бы сделать по роману “Тихий Дон”, если бы этот роман в конце 20-х годов вышел анонимно” (177). Но как он мог выйти в то время, если еще шла работа над третьей книгой и не была написана четвертая?

На пресс-конференции в Стокгольме 12 декабря 1974 г. Солженицын, доказывая, что Шолохов не автор “Тихого Дона”, говорил: “Богатейшее знание того, чего Шолохов знать не мог, - не свой опыт. Автор описывает дореволюционное казачество с такой тонкостью, такой глубиной, что надо было там десятилетия жить, чтобы это все видеть” (Русская мысль. 1975. 15 января) И далее: “...в момент революции Шолохову было 12 лет. Он описывает первую мировую войну, в которой был совсем мальчиком десятилетним. Описывает гражданскую войну, к концу ее ему было 15 лет”. Уместно спросить: чей же опыт отразился в цикле “Красное колесо”, где Солженицын показывает события первой мировой войны, а в это время его еще не было на белом свете? Медведев утверждает, что “Тихий Дон” лежит за пределами возможностей Шолохова. Что же привело его к такому выводу? Он, видите ли, убежден, что “Тихий Дон” предполагает “несомненное личное участие в описываемых событиях”. Но этот явно сомнительный тезис он не мог (и никто не сможет) убедительно доказать. Если бы писатели изображали в своих произведениях только такие картины, в которых они лично участвовали, то не были бы созданы ни “Капитанская дочка” А. Пушкина, ни “Война и мир” Л. Толстого, ни “Петр Первый” А. Толстого, ни “Севастопольская страда” С. Сергеева-Ценского, ни многие другие выдающиеся произведения.

Создавая “Тихий Дон”, Шолохов жил среди тех людей, из которых вышло подавляющее большинство героев его эпопеи. Он и Вешенскую выбрал для своего постоянного места жительства потому, что это было связано с его творческой работой: станица была центром казачьего восстания против красных в 1919 г. Он не только много слышал о восстании, но и был его свидетелем. Однажды ревтрибунал приговорил юного продкомиссара Шолохова к расстрелу за превышение власти (угрожал оружием твердозаданцу), по другой же версии за то, что он, добываясь справедливости, как сообщила Мария Петровна, снижал налоги некоторым семьям. Но затем несправедливый приговор отменили и заменили другим: как писал Шолохов в автобиографии, “ему дали “1 год условно” (Русская литература. 1986. № 4. С.197).

Отмечая боевые эпизоды, в которых принимал участие молодой Шолохов, Медведев считает, что “они слишком незначительны, чтобы послужить основой картин грандиозных сражений и жестоких боев, которые следуют одна за другой во всех четырех книгах “Тихого Дона” (171). Здесь Медведев принижает воссоздающую силу творческого гения, который, используя свои жизненные наблюдения, может по разным источникам правдиво изобразить то, в чем он не принимал личного участия. А. Бальбуров отметил: “Шолохов - удивительный слушатель. Слушатель активный, я бы сказал страстный, его любознательность неистощима. Я убежден, что именно это стремление познать все, что несет в себе жизнь, умение все это проанализировать и творчески переработать - одна из главных особенностей шолоховского таланта” (Литературная Россия. 1975. 23 мая). Эта важнейшая особенность дарования Шолохова, внешне как будто ничем не примечательная, на самом деле многое объясняет в его работе над крупными произведениями.

Отец Шолохова одно время работал на мельнице, и Мария Петровна поведала об этом: “Завозы там большие, людей разных много, вот в этой гуще Миша и проводил все время. Его оттуда не вытащишь - мать не дозволится. А вернется домой, такие подробности расскажет, что отец только руками разведет - с одними людьми встречались и разговаривали, а я ничего этого и не заметил. Да и сама я потом не раз удивлялась, как Михаил Александрович впитывал в себя множество на первый взгляд ничем не примечательных фактов, разговоров, событий” (Литературная Россия. 1985. 24 мая).

В молодости Шолохову пришлось и мостовые класть, и работать грузчиком, и сапожничать, и быть делопроизводителем, и заниматься другими работами. Он говорил, что сама профессия его “до писателя: учитель, статистик, продовольственный работник - знакомила” его “с огромным количеством людей”: “Разговоры, воспоминания участников. Так слагался костяк романа. А бытовая сторона, - она ведь тоже наблюдалась, потому что жил в разных хуторах. Мне даже ничего не стоило, скажем, второстепенных героев назвать своими именами” (Мировое значение творчества М. Шолохова. М., 1976. С. 23). Писатель поведал о таком факте: “Один из героев, малозначащее действующее лицо по кличке Валет, на мельнице был. Я его “похоронил” и даже часовенку ему поставил с трогательной надписью: “В годину смуты и разврата не осудите, братья, брата”. Это друг Кошевого - Валет. И вдруг, уже после войны, появляется этот Валет - живой, здоровый, постаревший. Оказывается, я плохо проверил факты. Его не зарубили, не убили по дороге, а только арестовали. И он остался живой” (Там же. С. 22). Под своей фамилией выведен в “Тихом Доне” Копылов, одно время он был школьным учителем Шолохова, а затем погиб в бою с красными. Реальные персонажи - Михаил Иванков, Федор Лиховидов, Чернецов, Изварин, Лагутин, Яков Фомин. Шолохов рассказал о Якове Фомине: в 1919 г. “мне пришлось жить с ним в одном хуторе, за Доном, около двух-трех месяцев. Часто вели мы горячие споры на политические темы.”(Гура В. Как создавался “Тихий Дон”. М., 1980. С.19).

В “Тихом Доне” “даже самые маленькие хуторки, даже дороги, лога и балки сохраняют свои местные наименования ...нет в романе других вымышленных названий, кроме Татарского и Ягодного” (Там же. С. 118). 20 октября 1936 года в “Известиях” Шолохов сообщил: “Много ездю по станицам и все исключительно с одной целью - переправляю уже написанное, собираю дополнительные данные, относящиеся к концу романа”.

Шолохов говорил, что у него “все было под рукой - и материал и природа”, но он ездил в Ростов и Москву, где работал в архивах, знакомясь с многими материалами, необходимыми для создания эпопеи. “Работа по сбору материала для “Тихого Дона”, - писал Шолохов в “Комсомольской правде” 17 августа 1934 г., - шла по двум линиям: во-первых, собирание воспоминаний, рассказов, фактов, деталей от живых участников империалистической и гражданской войны, беседы, расспросы, проверка всех замыслов и представлений; во-вторых, кропотливое изучение специальной военной литературы, разборки военных операций, многочисленных мемуаров, ознакомление с зарубежными, даже белогвардейскими источниками”.

Шолохов проделал огромную работу по изучению гражданской войны на Дону. Создавая “Тихий Дон”, он опирался не только на многочисленные опубликованные источники, но и на самостоятельные результаты своего исследования. На встрече со шведскими студентами в декабре 1965 г. он рассказал, что ему приходилось изучать материалы по истории гражданской войны двусторонним образом: кроме личных наблюдений, он “пользовался архивами - нашими, советскими архивами, но, чтобы не попасть впросак, использовал и материалы зарубежные, в частности “Очерки русской смуты” генерала Деникина, воспоминания генерала Краснова, бывшего донского атамана, и массу других, повременных изданий, которые выходили во Франции и Англии, вообще всюду за рубежом” (Литературная газета. 1985. 5 июня). Писатель многократно встречался с казаком Харлампием Ермаковым, который прекрасно знал, как начиналось и как протекало Вешенское восстание.

Пусть читатель сам оценит степень правдивости утверждения Медведева о том, что Шолохов “всегда хранил полное молчание” об использованных им источниках при работе над “Тихим Доном”. Многие из них указывались в примечаниях к роману, отмечались исследователями (одним из первых среди них был В. Г. Васильев, которому Шолохов 9 июня 1947 г. рассказал о своей работе над историческими источниками и который опубликовал содержательную статью “Историческая правда в “Тихом Доне” (Учен. зап. Магнитогорск. пед. ин-т. 1957. Вып. 4). Медведеву не стоит выдавать себя за первооткрывателя тех мемуаров и статей, которые давно уже известны до него. Он, например, в поисках источников “наткнулся на брошюру А. Френкеля “Орлы революции”, на которую опирался Шолохов при изображении экспедиции Подтелкова. Но надо ли снова изобретать велосипед? В третьем томе Шолохова, изданном в 1965 г., на с. 403-404 можно прочитать: “Много фактических сведений содержалось в публикациях А. Френкеля - политработника, участника экспедиции, случайно уцелевшего при разоруже-

нии подтелковского отряда (см.: А. Френкель. “Гибель экспедиции Подтелкова”, “Известия ЦИК Донской Советской республики и Царицынского штаба Красной Армии”, 1918, 8 июня, а также его книгу “Орлы революции”, Ростов н/Д, 1920”).

По стопам Медведева пошли супруги А. Г. Макаров и С. Э. Макарова, напечатавшие в 5, 6 и 11-м номерах “Нового мира” за 1993 г. статью “К истокам “Тихого Дона” (при цитировании ее в скобках указываются номер журнала и страницы). Они заявили, что Шолохов “сам никогда не упоминал, что непосредственно включал в текст “Тихого Дона” фрагменты книг других авторов о гражданской войне: мемуары трех белых генералов - А. И. Деникина, А. С. Лукомского и П. Н. Краснова” (6, 190). На самом деле, как отмечалось выше, Шолохов “упоминал” и Деникина, и Краснова, и Лукомского. “Фрагменты” других авторов он не включал в свой роман (не стоит наводить тень на плетень), а фактический материал из них использовал. Все примеры, приведенные Макаровыми, подтверждают именно эту мысль.

Г. Ермолаев в статье “О стремени “Тихого Дона” (Русская литература. 1991. № 4) пишет о 20-й главе 7-й части “Тихого Дона”: “С незначительными стилистическими изменениями текст ее почти целиком переписан Шолоховым из сочинения военного историка Н. Какурина “Как сражалась революция”. Одна фраза в двадцать семь слов списана буквально. Такое обращение с источниками не делает чести Шолохову, но оно, по-видимому, распространяется у него главным образом на документально-исторический материал” (36). Признаем правоту исследователя в отношении фразы в двадцать семь слов. Но при сравнении с источником, послужившим исходным материалом для работы над этой главой, можно убедиться, что она отнюдь не “почти целиком” переписана из него, текст подвергся основательной смысловой и стилистической обработке.

В авторском примечании в первых публикациях третьей книги указывалась работа Н. Какурина “Как сражалась революция” (1925. Т. 1), приводился большой отрывок из нее, после чего Шолохов существенно поправлял историка: “На самом же деле повстанцев было не 15000 человек, а 30000-35000, причем вооружение их в апреле-мае составляло не “несколько пулеметов”, а 25 орудий (из них 2 мортирки), около 100 пулеметов и по числу бойцов почти полное количество винтовок. Кроме этого, в конце раздела, посвященного характеристике Верхнедонского восстания, есть существенная неточность: оно (восстание) не было, как пишет т. Какурин, подавлено в мае, на правом берегу Дона. Красными экспедиционными войсками была очищена территория правобережья от повстанцев, а вооруженные повстанческие силы и все население отступили на левую сторону Дона. Над Доном, на протяжении двухсот верст, были прорыты траншеи, в которых позасели повстанцы, оборонявшиеся в течение двух недель, до Секретевского прорыва, до соединения с основными силами Донской армии” (Октябрь. 1932. № 7. С. 11). Уже этот, самый “криминальный” пример, показывает насколько вдумчиво и критически подходил Шолохов к использованию не только мемуаров, но и научных работ.

Медведеву “непонятным остается и то, каким образом удалось Шолохову столь глубоко и широко изобразить жизнь именно белого лагеря: Донской и Добровольческой армий и повстанческих сил; как удалось ему столь точно нарисовать портреты главных руководителей этого лагеря, которых он никогда не встречал в своей жизни? Ведь мемуарная литература на эту тему была еще незначительна и малоизвестна, особенно в провинции” (172).

Из предыдущих высказываний Шолохова напрашивается ответ на это недоумение, мемуарной литературы было уже не так мало, много у писателя было встреч и разговоров с участниками белого движения. Но можно учесть признание самого Шолохова: “Трудности пришли потом, когда надо было писать и знать историю гражданской войны. Тут уж потребовалось сидение в архивах, изучение мемуарной литературы” (Мировое значение... С. 22-23). И. Лежнев в книге “Путь Шолохова” сообщил, что “в Вешенский район в 1923 году по амнистии вернулось из эмиграции свыше трех тысяч бывших белогвардейцев, в том числе и офицеров” (256). Естественно, Шолохов мог воспользоваться устными и письменными воспоминаниями этих участников белого движения.

Во время гражданской войны Шолохов познакомился с генералом Ивановым, которого охарактеризовал как образованного и умницу. Он поведал А. Калинину: “Семикаракорский казак генерал-майор Иванов, который командовал Северным фронтом, стоял в 18-м году на квартире в Вешках у Владимира Капитоновича Мохова, - был такой разорившийся купчик, у которого и я тогда квартировал. И, так сказать, диапазон моего знакомства был тогда достаточно широк. Иванов не могу сказать, чтобы плохо ко мне относился. Никогда не прогонял, когда я оказывался в комнате и при его разговорах с хозяином - с Моховым. От этого Иванова ... я и с другими общался. От него до его денщика Лапченкова” (Советская Россия. 1992. 24 мая). В 1914 г. девятилетний Шолохов лечился в Москве в глазной лечебнице доктора Снегирева, где он пробыл несколько месяцев. Там лечились и солдаты-фронтовики, их разговоры и рассказы он слышал и запоминал.

Медведев мучительно и безуспешно бьется над безответным для него вопросом: “Но откуда и когда пришло к Шолохову художественное мастерство?” (166). Уж очень непозволительно быстро досталось оно молодому писателю, гениальное дарование для Медведева не в счет. Не учитывается и нередкое несовпадение внешней стороны жизни писателя, которая может быть как будто лишенной ярких многообразных впечатлений, и его богатейшей духовной деятельности. Общаясь с Шолоховым, С. Бондарчук “понял, какая огромная нравственная работа все время идет в нем, не прекращаясь ни на миг” (Могучий талант. С. 34). И началась она, как можно предположить, с малых лет и продолжалась до самой смерти. В день 70-летия Шолохов процитировал Лермонтова: “И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, Такая пустая и глупая шутка...” - Как мог Лермонтов в двадцать шесть лет сказать такое? - покачал головой Шолохов” (Простор. 1977. № 3. С. 101). Другие же изумляются, как сам Шолохов в такие молодые годы смог написать “Тихий Дон”.

Скептики не обращают внимания на то, что Шолохов уже в детстве изучал философские произведения Спинозы, Дидро, Плеханова (у отца была большая библиотека). Заметим: Шолохов в 1912 г. поступил во второй класс, а через шесть лет закончил 4 класса. Можно предположить, что он, любивший читать и серьезно занимавшийся самообразованием, имел в это время намного больший кругозор, чем давали ученику 4 класса гимназии. Следует учесть, что уже в двенадцатилетнем возрасте Шолохов обсуждал с отцом философские проблемы, получив от него прозвище Спиноза, что он серьезно увлекался историей и много читал - Л. Толстого, А. Чехова, Н. Гоголя и других классиков. И это при великолепной памяти, при очень раннем взрослении в переломное время войны и революции, при непрестанной умственно-нравственной работе.

В пятнадцать лет Шолохов, как он указал в одной из автобиографий, начал работать "учителем по ликвидации неграмотности среди взрослого населения, ...успел за шесть лет изучить изрядное количество специальностей. ...Все время усиленно занимался самообразованием". Не прижившись в Москве, куда он уехал в 1922 г., Шолохов весной 1924 г. возвратился вместе с женой Марией Петровной на родину, они с собой привезли "целую библиотеку книг историков революции и гражданской войны" (Правда. 1988.20 мая).

В 1930-м-1931 г. "необразованный" Шолохов руководил литературным кружком при вешенской газете "Большевистский Дон", читал лекции о литературе, о Л. Толстом, Маяковском, проводил беседы "Чехов - мастер рассказа". Став уже всемирно известным писателем, он постоянно пополнял свои знания. 22 января 1933 г. писал А. Солдатову: "...за последние годы (именно за эти 10 лет) такое множество людей прошло перед моими глазами, с таким огромным количеством из них пришлось по-разному общаться, что просто не было времени восстанавливать утраченные связи. ..."На лаврах" пока не почил. Учусь помалу, крепко интересуюсь философией, но нет возможности по-настоящему, всерьез и надолго засесть и восполнить те зияющие провалы в образовании, кои... есть у каждого из нас, в том числе, разумеется, и у меня" (Литературная Россия. 1990. 25 мая).

Все это не убеждает Медведева, который не перестает твердить, что Шолохову мешала создать "Тихий Дон" его "необразованность". В унисон ему Барселла восклицает: "Мыслимое ли дело: русский писатель-классик с незаконченным четырехклассным образованием (ну еще два месяца - курсы для продинспекторов)?!" (Даугава. 1990. № 12. С. 94). Однажды Л. Леонов сказал, что он поступал в МГУ, но его не приняли, и добавил: хорошо, что не приняли, а иначе могли бы там забить его голову ненужными идеями и сведениями. Право же, можно сказать, что сложилась жизнь Шолохова по-иному, закончи он нормально гимназию, а потом вуз, не было бы "Тихого Дона" в том виде, в каком он вошел в мировую классику: какие-то краски, мотивы, нечто специфичное для Донского края, что шло бы от самой его жизни, могло бы не оказаться у "образованного" Шолохова. В этом случае он, возможно, не смог бы с такой щедростью использовать самые глубинные тайники народной философии, которая явилась глав-

ным источником философско-этической мудрости эпопеи, в ней не стало бы того, о чем пронизательно сказал Ю. Бондарев: “Тихий Дон” создан по неписанным законам самой природы, а она гениальна”.

Образованность Медведев связывает, как видно из его рассуждений, только с обучением в школе и вузе, не желая считаться с тем, что она может серьезно повышаться в результате самообучения, самостоятельного чтения книг и научных работ. Он не учитывает того, что русская земля рождает таких великих сынов и дочерей, которых “аршином общим не измеришь”, которые за очень короткое время могут постигнуть в науке и литературе столько, сколько другим смертным не усвоить за всю жизнь.

Общеизвестно, что мысль об этой самой “необразованности” нередко эксплуатируется тогда, когда речь идет о В. Шукшине, В. Белове и других писателях-почвенниках. “Необразованность” Шолохова доказывается ошибочными утверждениями, встречающимися в “Тихом Доне”. Так, В. Радзишевский пишет: “На элементарной хронологии Шолохов споткнулся и тогда, когда придумал откровенно фельетонное столкновение Григория с “особой императорской фамилией”. Из лечебницы доктора Снегирева его выписали “в последних числах октября”, “в ночь на 4 ноября” он был в Вешенской. В Москве он никак не мог задерживаться, а Шолохов решил втиснуть безобразную госпитальную сцену между выпиской Григория из лечебницы и отъездом из Москвы. Для этого пришлось положить его в госпиталь... и продержат там “недели полторы” (Литературная газета. 1995. 24 мая). Слова о “фельетонности столкновения”, “безобразной сцене” говорят лишь об одностороннем знании жизни этим журналистом, его предвзятости: сама жизнь нередко преподносит более чем фельетонные ситуации, и об этом прекрасно знал Шолохов. А вот с хронологией на самом деле получилась незадача. Могу предположить, основываясь на опыте публикации своих работ, в которых обнаруживал досадные нелепости: у Шолохова могло быть “в ночь на 14 (24) ноября”, а первая цифра выпала на каком-то этапе публикации произведения.

Были огрехи у Шолохова, но они присущи и демократическим публицистам. Т. Иванова, ярая западница, уверяла: “Лагерь, со стороны которого я все это время стояла, был пообразованнее”, а идеи ее противников “были следствием, порождением, плодом безграмотности и бездарности” (Книжное обозрение. 1990. 31 августа). Однако читаешь публикации в “демократических” журналах и газетах и встречаешь такое, что не согласуется с этими утверждениями. Неужели более высокая образованность этого лагеря измеряется тем, что его журналы “Знамя”, “Звезда”, “Нева”, “Вестник новой литературы”, “Искусство кино”, “Литературное обозрение”, “Книжное обозрение” и ряд газет, рьяно защищают право писателей на использование мата в литературе?

Если подходить с подобных позиций к Шолохову, то он, конечно, “необразованный”: мата в его произведениях нет, более того, он выказал свою “консервативность” еще в 1934 г., написав: “Совершенно законны замечания рабочих читателей о том, что писатели частенько злоупотребляют вольными словечками...”

У нас зачастую писатели (и я грешен в этом) писали из расчета, что “из песни слова не выкинешь”, и забывали, что книги наши читает не только взрослый читатель, который прочтет и отнесется с усмешкой к языковой вольности, но читает и молодежь, 13-14 летние подростки, которые черпают из книг обороты речи и вольные слова. А затем эти слова входят в обиход молодежи, проникают в семью и школу” (8, 111). В 1946 г. он выразил желание освободить “Тихий Дон” от некоторых рискованных слов и натуралистических картин, полушутливо мотивируя это тем, что его дети подросли и не стоит им встречать в его книгах “выражения, которые они не слышали, да и слышать не должны” (А. Пузикив).

Медведев, доказывая “необразованность” Шолохова, упрекает его в том, что “Октябрьская революция почему-то упорно именуется в авторском тексте первых изданий романа “переворотом в Петрограде” (175). Однако в газетах и журналах 20-х гг. именно так и писали об Октябрьской революции. Добавим к этому, что “переворот” остался и в поздних изданиях “Тихого Дона” (См.: Т. 3. С. 181, 190, 198).

Г. Ермолаев указывал, что Каледин, Назаров и Богаевский “были избраны Войсковым кругом в 1917-1919 годах, и поэтому сочетание слов “избранный” и “наказной” (то есть назначенный) есть противоречие в терминах, выдающее незнание одного из основных фактов истории донского казачества. С того времени, как Петр Великий отменил старую традицию избрания атаманов Вседонского казачества голосованием Войскового Круга, эти атаманы назначались царем и именовались “наказными”. После восстановления в 1917 году старой традиции термин “наказной” был изъят из их титула” (Вопросы литературы. 1989. № 8. С.189-190). Уличая Шолохова, Медведев подчеркивает, что в его рассказе “Коловерть” полковник Чернояров говорит о “войсковом наказном атамане” и рассуждает о “Тихом Доне”: “Ни литературовед Д., ни Солженицын не оспаривают авторства Шолохова в отношении глав второй книги, где речь идет об Анне Погудко и Бунчуке. Между прочим, именно в этих главах генерал Каледин и генерал Назаров именуется “войсковыми наказными атаманами”. ...Подобные наименования применительно к событиям 1917-1920 годов столь же нелепы в устах казака, а тем более секретаря Войскового круга, как если бы в романе о гражданской войне кто-либо назвал Деникина или Колчака императором или хотя бы фельдмаршалом” (212).

Здесь мы сталкиваемся с действительно нелепыми утверждениями самого Медведева. Смотрите, говорит он, в других главах нет неверного использования “наказного атамана”, значит, их писал кто-то другой... Но огорчим обличителя: не только “в этих главах” встречается “наказной атаман”. В третьей книге Кудинов говорит: “Как только соединимся со своими, напишу рапорт самому наказному атаману” (419). В четвертой книге Пантелей Прокофьевич высказался: “Я, братец ты мой, когда был на войсковом кругу, так я самим наказным атаманом...” (115). Явно хромает у Медведева историческая аналогия. Ни Деникин, ни Колчак не были ни императором, ни фельдмаршалом, не заменяли их. А генералы Каледин, Назаров и Богаевский вступали в должность, которую совсем недавно называли

“наказной атаман”. Герои “Тихого Дона”, привыкшие к старому названию, по традиции так и величают свое начальство.

Б. Соколов в статье “Донская волна” в “Тихом Доне” есть” (Вопросы литературы. 1993. Вып. 6. С. 343) оспаривает мысль Г. Ермолаева о том, что Шолохов по незнанию и ошибочно именуется генералов Назарова и Богаевского наказными атаманами, поскольку не знал, что это слово означает “назначенный”, а не “главный” или “высший”. Он пишет: “...обращение к материалам “Донской летописи” доказывает, что Шолохов употребляет этот термин намеренно и в полном соответствии с фактами. ...Войсковой круг не избирал атамана, а приказал генералу Назарову быть атаманом”. Круг был не вполне правомочен избирать, так как не прибыли многие депутаты. И Богаевский фактически был не избран, а назначен”. Соколов делает вывод: используя термин “наказной”, “Шолохов подчеркивал, что главари донской контрреволюции на самом деле не избирались, а назначались, и игры в демократию в условиях гражданской войны ничего не стоили”.

Если подходить с формальной точки зрения, то Ермолаев прав, говоря, что есть противоречие в такой фразе: “...и вновь избранный войсковой наказной атаман генерал Африкан Богаевский” (4, 366). Вместе с тем не стоит искать в этом доказательств плохого знания Шолоховым истории казачества; здесь, кроме выводов Соколова, надо учитывать и давление сложившихся за 200 лет традиций, они сказывались в разговорах людей в 1917-1919 гг., что не возбранялось запечатлеть писателю в своем произведении.

Глава 4. ДОНСКИЕ РАССКАЗЫ И “ТИХИЙ ДОН”

П. Палиевский писал: “...говорят, что “Тихий Дон” не сравним с другими книгами Шолохова, а стало быть, - подозрительная вещь. Но стоило бы спросить: читали ли они новеллы Сервантеса? его комедии? Это ли вывело его в бессмертие? Помнят ли они хоть один из многих, очень многих романов Стивенсона, кроме великого “Острова сокровищ”? Перечитывают ли, дают ли своим детям что-нибудь из громадного наследия Дефо, кроме “Робинзона Крузо”? Почему же вас заботит с этой стороны Шолохов, почему мы простое желание изблечить должны принимать за аргумент?” (Литературная Россия. 1990. 1 июня). Понимая и принимая все то, что здесь сказано, все-таки надо рассмотреть аргументы, которые выдвигаются скептиками в пользу мысли о существенном отличии “Тихого Дона” от других произведений Шолохова.

Макаровы, оценив попытки обосновать суждения о плагиате Шолохова, сделанные Томашевской и Медведевым как неудачные, Бар-Селлой как недостаточные, предприняли новый поход против великого русского писателя и, хлопывая по плечу “неизвестного автора” “Тихого Дона”, снисходительно обронили, что “казачьи главы “Тихого Дона” написаны талантливо” и, конечно же, не рукой Шолохова: они не имеют “ничего общего с представлениями и знаниями начинающего литератора, пробующего свои силы в литературном поприще, причем неудачно и неумело” (№ 5, 219). Такие оценки можно отнести лишь на счет

сильной субъективистской заданности: выходит, вопреки общепризнанному суждению о талантливой самобытности, ярко отразившейся уже в первых произведениях Шолохова, он начал свой литературный путь как неудачник.

Серафимович в предисловии к “Донским рассказам”, высоко оценив их, провидчески заметил: “все данные за то, что т. Шолохов развернется в ценного писателя”. В. Кожевников вспоминал: “Мое знакомство с Шолоховым началось давно, со времен литературного кружка “Вагранка”, где я занимался как один из молодых тогда, начинающих литераторов завода “Серп и молот”. Мы приехали на семинар при издательстве “Молодая гвардия”, и Шолохов, которого привел Серафимович, читал свои новые рассказы. Помню, ощущение, охватившее меня да и всех присутствующих: какая силища, какой талант!.. Это было прикосновение к чему-то живому, истинному, открывшемуся нам вдруг через некое озарение художника, который со спокойной властью подчинил наше воображение тому, что он сам видел, пережил, постиг и запечатлел. Да, это было ощущение масштабности, свежести, победительности таланта” (Могучий талант. С. 67). Даже Е. Евтушенко, оклеветавший Шолохова, признался: “Я люблю у Шолохова не только “Тихий Дон”, но и его ранние рассказы, пересыпанные серебристыми от росы мятой и чебрецом донских степей...” (Литературная газета. 1984. 29 февраля). Американец Э. Симмонс посчитал, что ранние рассказы Шолохова свидетельствуют “о рождении нового таланта” (Вопросы литературы. 1990. № 5. С. 42). Л. Ершов писал в книге “Память и время” (М., 1984. С. 66): “Ранняя шолоховская проза уже стояла на голову выше, что было создано писателями, так или иначе связанными с Доном или откликнувшимися на события в Донском казачьем крае”.

Медведев полагает, что “Донские рассказы” “несомненно более талантливы, чем те рассказы, которые пробовал писать 19- 20-летний Лермонтов (например, “Вадим”)” (Вопросы литературы. 1989. № 8. С. 169). Согласимся с ним: “Но, конечно, отсутствие прецедентов само по себе еще ничего не доказывает. Главное - это разбор произведений, предшествующих “Тихому Дону”, и анализ самого этого романа” (Там же. С. 169). Тщась доказать, что “Тихий Дон” написал - в своих лучших частях - не Шолохов, а кто-то другой, Медведев акцентирует внимание на том, что он никак не может “объяснить тот огромный и ничем не заполненный разрыв, который существует между автором “Донских рассказов” и автором “Тихого Дона”. Но такой разрыв существует только в его воображении, нацеленном на разоблачение нелюбимого писателя. А. Селивановский еще в 1929 г. в журнале “На литературном посту” (№ 10) отметил сходство ряда черт и мотивов первых книг рассказов Шолохова “Лазоревая степь” и “Донские рассказы” и “Тихого Дона”, мотивы “рассказов развертывались и трансформировались в “Тихом Доне”. Л. Якименко писал в монографии “Творчество М. Шолохова” (М., 1964. С. 73) о рассказе Шолохова “Обида”: “Трагическая мощь финала позволяла угадать будущего автора “Тихого Дона”. По драматизму и силе описания этот рассказ должен занять место среди лучших созданий молодого Шолохова”.

“Тихий Дон” и предшествующие ему произведения Шолохова рождаются сильнейшей устремленностью к подлинной, пусть и жестокой правде. Конечно, сложные трагические ситуации, внутренний мир персонажей не раскрыты в ранних произведениях Шолохова с такой обстоятельностью и убедительностью, как в “Тихом Доне”, но это вполне объяснимо: необходимо учитывать разные возможности рассказа и эпопеи и стремительный творческий рост писателя.

Сейчас можно констатировать, что всевозможные ухищрения доказать несовместимость, резкое стилевое различие между “Тихим Доном” и другими шолоховскими произведениями выявили свою полную несостоятельность. Можно вспомнить, что члены упоминавшейся уже комиссии Союза писателей, опровергая клевету, подчеркивали, что “всякий, даже не искушенный в литературе человек, знающий изданные ранее произведения, может без труда заметить общие для тех его ранних произведений и для “Тихого Дона” стилистические особенности, манеру письма, подход к изображению людей” (Правда. 1929. 29 марта). По свидетельству И. Шкапы, М. Горький сначала относился к Шолохову “с некоторым подозрением”: “Нашлись, наговорили, мол, не мог молодой человек написать такое совершенное произведение, это компиляция из Тарасова, был такой бытописатель... Я принес Алексею Максимовичу “Степь лазоревую”, донские рассказы. Говорю: “Вот же заявка на “Тихий Дон”! Горький прочел книгу, сказал: “Совершенно с вами согласен” (Литературная газета. 1988. 23 ноября). Суждение определенное, и можно только руками развести, прочитав сальто-мортале Бар-Селлы: “...из рассказа Шкапы можно сделать однозначный вывод: ни сам Горький, ни его ближайшее окружение имени подлинного автора романа не знали, хотя понимали (не могли не понять), что был он не Шолохов, а белогвардеец” (Даугава.1991. № 2. С. 53).

Макаровы соизволили согласиться, что в “Донских рассказах” и “Поднятой целине” “можно иногда (?) обнаружить фрагменты, близкие к “Тихому Дону” по стилю и языку” (№ 5. С. 211) и сделали поразительный вывод: “У нас нет никаких оснований исключить возможность того, что все эти фрагменты могут быть как-то связаны с тем же исходным текстом неизвестного автора, который, как предполагается, лежит в основе “Тихого Дона” (№ 5. С. 220). Получается, не только в создании “Тихого Дона” участвовал какой-то автор, которого безуспешно ищут почти 70 лет...

Беседуя в 1975 г. с работниками телевидения, Шолохов заметил, что “Тихий Дон” “рос из “Донских рассказов” (Литературная Россия. 1975. 23 мая). В. Гура в книге “Как создавался “Тихий Дон” на конкретных примерах показал, что у этой эпопеи есть несомненное сходство с “Донскими рассказами” в самой словесно-изобразительной ткани, в присущей именно Шолохову очень колоритной манере письма, хотя, конечно, эти произведения по своему стилистическому и языковому богатству отличаются друг от друга.

Однако Медведев пытается поставить непроходимую стену между эпопеей и рассказами. “Донские рассказы” ему представляются предельно субъективными: “в них нет и следа той спокойной объективности и кажущегося беспристра-

ствия”, которые являются характерной чертой “Тихого Дона”. Но ведь сам же Медведев констатировал, что кое-где между ранними произведениями и эпопеей “можно встретить сходство и в авторском отношении к описываемым событиям” (159). Ермолаев указал, что Медведев “забывает о таких рассказах, как “Семейный человек”, “Чужая кровь”, “Обида” и “Ветер”, где объективное изображение эмоциональных и сюжетных коллизий доминирует над политическим базисом” (180). Многие различия объясняются и разными жанровыми структурами. Ведь рассказ “дает особенно благоприятную почву и для дидактизма и для лиричности. Лиризм здесь понимается в очень широком смысле - как ярко выраженная эмоциональная оценка действительности”(Виноградов И. Вопросы марксистской поэтики. М., 1972. С. 362). А для эпопеи, какой является “Тихий Дон”, как раз и необходимы многоцветность картин, объективность авторского отношения к изображаемым событиям и героям.

Доказывая мысль о “чрезмерном разрыве”, Медведев полагает, что “до сих пор никак не объяснены существенные идейные различия между “Донскими рассказами” и “Тихим Доном”, и не понимает, “почему автор “Донских рассказов” неожиданно задумал, а затем необычайно быстро создал роман не о комсомольцах, красноармейцах и продотрядниках, а о казачестве”. Но разве в первых произведениях Шолохов не изображал казаков? Трудно понять, почему Медведеву показался замысел “Тихого Дона” неожиданным. Он не может уразуметь, что только заурядный писатель может замыкаться на одной теме, эксплуатировать одних и тех же героев.

Конечно, между первыми произведениями Шолохова и “Тихим Доном” есть существенные различия, и было бы не только удивительно, но и непростительно для исключительно талантливого автора, если бы их не существовало. Эти различия в немалой степени объясняются разными творческими замыслами и, как уже отмечалось, самими жанровыми особенностями. В “Тихом Доне” поставлена такая грандиозная задача, которая непосильна для воплощения в повести и рассказе. Не повторяя пройденного, а опираясь на него, на приобретенный творческий опыт, Шолохов в новом произведении стремился открыть - и блестяще осуществил это - новые идейно-художественные горизонты. Он создал в нем огромную эпическую картину, показал судьбу казаков и всего русского крестьянства на протяжении 10 лет, их трагические колебания между советской властью и контрреволюцией.

Медведеву кажется “странным ...предположить у молодого писателя-комсомольца замысел громадной эпопеи о казачестве, о страшной трагедии этого военно-земледельческого сословия, официально ликвидированного в 1925 году рядом специальных постановлений высших инстанций СССР” (160). Он категорически отказывает молодому писателю в праве на быстрый творческий рост, в праве замыслить и создать крупное художественное полотно о том, что ему было очень близким, чему он был свидетелем, что тогда так или иначе с большой силой выказывало в самой жизни изломанными человеческими судьбами, горем матерей, оплакивающих своих сыновей, и вдовых женщин, поте-

рявших своих мужей на войне. Но было бы более удивительным и весьма странным другое - если бы Шолохов взялся изображать в качестве главных героев тех, кто не имел отношения к многострадальной донской земле. В свете всего сказанного можно воспринимать в качестве аномалии утверждение Медведева: "Тем более странным было бы для этого писателя воспринимать трагедию казачества как свою собственную" (160). Неужели не ясно, что не может быть мало-мальски талантливого художника слова без органической способности к острейшему человеческому сопереживанию, что не было бы великого писателя Шолохова, если бы он не воспринял трагедию трудовых людей Дона кровью своего сердца.

Пытаясь хоть как-то использовать в своих неблагоприятных целях мысль о "необразованности" Шолохова, Медведев со свойственным ему сильным преувеличением утверждает, что в "Донских рассказах" решительно "не чувствуется никакой энциклопедической образованности". Но нужна ли была эта "энциклопедичность" первым рассказам и повестям Шолохова? Эти жанры требовали от автора одних качеств, а эпопея - наиболее синтетический жанр - мобилизовала у него все стороны его знаний, "принудила" его очень глубоко изучать историю гражданской войны.

Медведев отмечает, что сама жизнь, партийные постановления заставляли многих задуматься над судьбой среднего крестьянства, но он полагает, что эти проблемы не могли проясниться в социальном и художественном отношении "за год настолько", чтобы Шолохов "тут же написал на эту тему гениальную эпопею". Но почему за год? Сам же Шолохов сообщил, что не сразу у него выкристаллизовывалась идейная концепция "Тихого Дона", что первоначальный замысел оказался узким для него. Эти проблемы прояснились у писателя столько времени, сколько работал он над своей эпопеей. У Шолохова была огромная работоспособность, по его словам, он "был молод, работалось с яростью, впечатления свежи были" (Литературная Россия. 1975. 23 мая). Он мог работать ночи напролет, много помогала ему жена Мария Петровна. Она рассказывала: "Он ночью напишет, а я днем, пока он работает, переписываю, а позже перепечатывала" (Литературная Россия. 1985. 24 мая). И все же при всем этом Шолохов написал эпопею не "тут же", на это понадобилось пятнадцать лет.

Медведев использует затасканный и негодный прием, когда пишет: "И тем не менее странным было бы предположить у 25-летнего писателя, не получившего систематического образования, столь энциклопедические познания всех слоев и сторон жизни казачества, какие видны уже в первой книге "Тихого Дона" (160). Да, очень странно и крайне грустно читать этакое у "слишком образованного" публициста, кандидата педагогических наук, который в беспомощных в литературоведческом отношении рассуждениях допустил много грубых натяжек, непозволительных домыслов, проявил поразительное игнорирование непровержимых доводов. Приходится только удивляться его заявлению о том, что у него не было повода сожалеть о публикации в заграничной печати своих книг о Шолохове. Какая "высокая" нравственная позиция!

Ф. Абрамов, защитивший диссертацию о творчестве Шолохова, написавший ряд работ о нем, отметил ошеломляющую писательскую карьеру молодого писателя и напомнил о том, что это еще при его жизни “породило легенды о плагиате, о воровстве, слухи...” Он подчеркнул: “Не хочу копаться в этой грязи (для меня, когда-то занимавшегося Шолоховым, этот вопрос ясен). Для этого хотя бы достаточно взять “Поднятую целину” (415).

Солженицын же уверен в том, что “не Шолохов писал “Тихий Дон” - доступно доказать основательному литературоведу...: только сравнить стиль, все художественные приемы “Тихого Дона” и “Поднятой целины” (Новый мир.1991. № 12. С. 71). Всецело устремленный к тому, чтобы любыми средствами разоблачить Шолохова как литературного вора, Медведев находит недоступную для его понимания существенную разницу между “Тихим Доном” и “Поднятой целиной” в изображении картин донской природы. Он признает, что в “Поднятой целине” можно встретить 4-5 раз те несравненные описания донской природы и донского села, которые напоминают нам аналогичные страницы “Тихого Дона”. Но вместе с тем он пишет о “явном оскудении Шолохова-живописца, рисующего волнующие картины природы и быта Донского края” и доказывает это удивительным образом: “В “Тихом Доне” мы встречаем такие картины почти в каждой главе, а в “Поднятой целине” для этого нужно перелистать едва ли не сотню страниц” (199). И вот в этом-то он находит опору для домысла об использовании Шолоховым чужой рукописи: “Не оскудел ли к 1932 году источник этих драгоценных россыпей?” Можно только пожалеть человека, прибегающего к столь беспомощной мотивировке. Напомним ему: Шолохов одновременно дорабатывал третью книгу “Тихого Дона” и писал “Поднятую целину”, а четвертая книга эпопеи была закончена в 1940 г. Почему Шолохов обязан был чуть ли не повторять самого себя в новом произведении, изображать в нем столько картин природы и донской обстановки, сколько их было в “Тихом Доне”? Интересно то, что Л. Мышковская в статье “О “Поднятой целине” Шолохова” (Красная новь. 1933. № 5. С. 234) посчитала мастерски выписанные пейзажи в этом романе “ненужными”, “тягостными”, они-де “представляют лишь самостоятельный интерес”. Невозможно понять, почему Медведев отказывает Шолохову в праве поставить перед собой новую художественную задачу, требующую от него иных решений, иной тональности, иных красок.

Бросается в глаза явная тенденциозность и противоречивость, когда читаешь этакое: “Я не обвиняю Шолохова в плагиате, хотя я... думаю и об использовании какой-то рукописи или даже многих рукописей и мемуаров” (151); “...лучший во всех отношениях первый том “Тихого Дона” был создан еще до 1920 года и почти в законченном виде попал молодому Шолохову” (211); “Я продолжаю думать, что большая часть первого тома “Тихого Дона” и некоторая часть второй и третьей книги этого романа создана не Шолоховым, хотя доказать это с абсолютной точностью я не могу. ...Для меня и сегодня является несомненным, что у “Тихого Дона” есть и автор и соавтор” (123). Если это не обвинение в плагиате, то что же это такое? И этично ли обнародовать свои думы о ли-

тературном воровстве, если ты их не можешь доказать? Как это называется на юридическом языке?

Как бы чувствовал себя Медведев, если бы в нашей печати обнародовали, что не он написал свои книги о Шолохове (у него нет литературоведческого образования), что они - групповое сочинение в угоду тем, кто презрительно относится к русскому народу и его культуре? Если использовать приемы "исследования" Медведева, то можно приписать кому угодно любое преступление. Занимательно то, что профессор В. Пескуров обвинил Медведева в плагиате, ибо он в работах на исторические темы просто напросто "переписывает западных советологов". "Правда" 21 декабря 1990 г. заступилась за Медведева и посчитала, что он "мог бы и в суд подать". Но не больше ли оснований есть у детей Шолохова подать в суд на самого Медведева?

Глава 5. О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЕ И АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В "ТИХОМ ДОНЕ"

Идейно-художественная концепция "Тихого Дона" включает в себя как один из важнейших ее мотивов, как основополагающую социально-нравственную основу поиски героями общечеловеческой правды в эпоху революционного разлома. В разных сценах возникает вопрос о правде для всех. Когда добрый казак Христоня, не принимающий "злости и бессердечия", говорит: "А мужики аль не люди?", то он отстаивает правду, отвечающую насущным воззрениям всего народа. Дед, воевавший с турками, напутствует молодых казаков, уходящих на войну: "Надо человечью правду блюсть" (2, 276). Казак Лагутин говорит: "Народу правда нужна, а ее все хоронят, закапывают. Гутарют, что она давно уже покойница" (3, 118). Он не только "об себе душой болеет": "В Польше были - там как люди живут? Видал аль нет? А кругом нас мужики как живут?.. Я-то видал. Сердце кровью закипает!.. Что ж, думаешь, мне их не жалко, что ль? Я, может быть, об этом, об поляке, изболелся весь, на его горькую землю интересуюсь" (3, 118-119). "Тихий Дон" наполнен тоской по большой общечеловеческой правде, основанной на социальной справедливости, выдерживающей проверку высокими принципами народной морали.

Поиски социальной гармонии связываются в эпопее с надеждой на лучшее общественное устройство. Офицер Листницкий стращает Лагутина тем, что большевики хотят захватить земли казаков, тот же отвечает, что "последнюю землюшку" у него не возьмут, а вот у отца Листницкого десять тысяч десятин. Он убежден, что "порядки-то кривые были при царе, для бедного народа вовсе суковатые..." И Листницкий понял, что "несложными убийственными простыми доводами припер его казак к стене" (3, 117).

Идея справедливой власти опиралась на народную мечту о всеобщем равенстве. Выступая перед казаками, Подтелков говорит: "Я стремлюсь только к одному: к справедливости, к счастью, братскому союзу всех трудящихся, так, чтобы не было никакого гнета, чтобы не было кулаков, буржуев и богачей, чтобы всем свободно и привольно жилось... Большевики этого добиваются и за это бо-

руются". Мужественный, до конца преданный идее справедливой жизни, Подтелков не дрогнул и перед казнью, говоря казакам: "Заступит революционная власть, и вы поймете, на чьей стороне была правда" (3, 393).

Защищая правду советской власти, красноармеец говорит Григорию: "...нам вашего не надо. Лишь бы равными всех поделать..." (4, 140). Но казакам трудно смириться с мыслью, что их должны сравнять с мужиками, лишить их казацких привилегий. Кошевой попытался растолковать советскую правду старшему атарщику Солдатову и на вопрос, почему он был с красными, ответил: "Правов хотел добиться... Равноправия всем... Не должно быть ни панов, ни холопов". Но идея равенства вызвала у того сильнейшее раздражение: "Ты... в зубы тебе, и все вы такие-то, хотите искоренить нас?! Ага, вон как!.. Чтоб по степу жида фабрик своих понастроили? Чтоб нас от земли отнять?" (4, 37). Мирон Коршунов находит доказательства в пользу богатых: "Да разве это мысленное дело - всех сравнять? Да ты из меня душу тyani, а я не согласен! Я всю жисть работал, хрипнул, потом омывался, и чтобы мне жить равно с энтим, какой пальцем не ворохнул, чтобы выйти из нужды? Нет уж, трошки погодим! Хозяйственному человеку эта власть жилы режет" (4, 155). В этих рассуждениях, следует признать, есть свой резон. Есть доля правды в словах Изварина: "В жизни не бывает так, чтобы всем равно жилось".

Революция оказала мощное воздействие на сознание народа, бросила и в казачью среду луч большой общечеловеческой правды. К общенародной правде, к пониманию глубинных идеалов Октябрьской революции ищет свой путь центральный герой эпопеи Григорий Мелехов. В нем много привлекательного, доминирует "очарование человека", высокие нравственные качества "как достоинство нации, как знак ее величия и силы" (А. Хватов). Это незаурядный человек: гордый, прямодушный, решительный, вспыльчивый до безрассудства, с острым умом, свободолюбивым сердцем, с глубоким чувством справедливости и собственного достоинства. Он постоянно мечется, разъедается сомнениями, душевной борьбой. "В "Тихом Доне", - отметил Ю. Бондарев, - верно передана главная внутренняя черта русского народа - совесть, и обостренное чувство выявленной совести предполагает поиск правды для других. Григорий Мелехов лишен корысти и эгоизма... Он думает, как всем жить лучше" (Собр. соч.: В 6 т. М., 1986. Т. 6. С. 278). Он - характерный для нашего народа тип правдоискателя, "стоит на одной линии с величайшими художественными образами праведников, правдоискателей и борцов за правду. Ближе всех, пожалуй, он к Дон-Кихоту" (Е. Тamarченко).

Для понимания метаний Григория важен его разговор с Котляровым, который восторгается тем, что председатель окружного ревкома подал ему руку, предложил сесть: "Это окружной! А раньше как было? Генерал - майор! Перед ним как стоять надо было? Вот она, наша власть любушка! Все ровные!" (4, 159). Но Григорий равнодушен к такому выражению идеи равенства, более того, он бросает: "А власть твоя - уж как хочешь - а поганая власть. Ты мне скажи прямо, и мы разговор кончим: что она даст нам, казакам?" (4, 161). Тот отвечает, мол,

свободу, права. Такой ответ не удовлетворил Григория, он рассуждает: “Земли дает? Воли? Сравняет?.. Земли у нас - хоть заглонишь ею. Воли больше не надо, а то на улицах будут друг дружку резать. Атаманов сами выбирали, а теперь сажают. Кто его выбирал, какой тебя ручкой обрадовал?” Здесь можно привести реплику казака из другой сцены: “У нас войсковой круг, власть народная, на что нам Советы?” Григорий делает вывод: “Казакам эта власть, кроме разору, ничего не дает! Мужичья власть, им она и нужна. Но нам и генералы не нужны. Что коммунисты, что генералы - одно ярмо” (Там же).

Котляров доказывает, что советская власть не нужна богатым, а их в хуторе только трое: “Нехай богатые казаки от сытого рта оторвут кусок и дадут голодному... делиться с нуждой надо”. Пытаясь дойти до сути большевистской идеи равенства, Григорий рассуждает: “Ты говоришь - равнять... Этим темный народ большевики и приманули. Посыпали хороших слов, и попер человек, как рыба на приваду! А куда это равнение делось? Красную армию возьми: вот шли через хутор. Взводный в хромовых сапогах, а “Ванек” в обмоточках. Комиссара видел, весь в кожу залез, и штаны и тужурка, а другому и на ботинки кожи не хватает. Да ить это год ихней власти прошел, а укоренятся они, - куда равенство денется?..” (4, 161-162) Он задумывается над тем, что власть портит многих людей: “Уж ежели пан плох, то из хама пан во сто раз хуже! Какие бы поганые офицеры ни были, а как из казуни выйдет какой в офицеры - ложись и помирай, хуже его не найдешь! ...вылез в люди и сделается от власти пьяный и готов шкуру с другого спустить, лишь бы усидеть на этой полочке”. Григорий здесь “в сущности только высказал вгорячах то, о чем думал эти дни, что копилось в нем и искало выхода. И оттого, что стал он на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их, - родилось глухое неумолчное раздражение” (4, 162).

Попытка разобраться в сути новой жизни, получить ответы на возникшие вопросы пресекаются угрозой Котлярова: “И ты поперек дороги нам не становись. Стопчем!” (4, 162). Григорий пришел к выводу, что и советская власть не принесет с собой равенства, полной справедливости, правды для всех: “Одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрет... А я дурную правду искал. Душой болел, туда-сюда качался...” (4, 65). Арестовали отца, расстреляли семерых жителей хутора, арест грозил и ему, пришлось скрываться у дальнего родственника в хуторе Рыбном. Началось восстание - и Григорий оказался среди повстанцев. “Все было решено и взвешено, когда зверем скрывался он в кизечном логове...” “Теперь ему уже казалось, что извечно не было ... такой правды, под крылом которой мог бы посогреться всякий, и, до края озлобленный, он думал: у каждого своя правда, своя борозда. За кусок хлеба, за делянку земли, за право на жизнь всегда боролись люди и будут бороться, пока светит им солнце...” (4, 198).

Для автора “Тихого Дона” дорога идея социальной справедливости, которая заложена в основу советской власти. Верный жизненной правде, он показывает, как ее дискредитируют примазавшиеся к революционному делу проходимцы. Изображая недостойное поведение некоторых сторонников новой власти, писа-

тель прямо указывает, что это издержки, а не суть того, что должна принести с собой она трудящемуся народу: “Разложившиеся под влиянием уголовных элементов, обильно наводнивших собою отряд, красноармейцы бесчинствовали по дороге. В ночь под 17 апреля, расположившись на ночевку под хутором Сетраковым, они, несмотря на угрозы и запрещения командного состава, толпами пошли в хутор, начали резать овец, на краю хутора изнасиловали двух казачек...” (3, 326). Один из красноармейцев повел себя вызывающе во время ночевки у Мелеховых, а другой сходил за комиссаром, который увел с собой провинившегося, сказав Григорию: “Ну, теперь спите, мы его завтра утихомирим”. Утром рыжебородый красноармеец, “расплачиваясь за квартиру и харчи, нарочито замешкался и сказал: “Вот, хозяйева, не обижайтесь на нас. У нас этот Александр вроде головой тронутый. У него в прошлом году на глазах офицеры в Луганске... расстреляли мать и сестру. Оттого он такой... Ну, спасибо. Прощайте. Да, вот детишкам чуть было не забыл! - И, к несказанной радости ребят, вытащил из вещевого мешка и сунул им в руки по куску серого от грязи сахара” (4, 135).

Подобные сцены опровергают утверждения Солженицына, Медведва и Макаровых о том, что “Тихий Дон” написан “в целом с позиций враждебного отношения к Красной Армии как к армии поработителей”. Добавим, что во время восстания красные заняли ряд хуторов, и казакам стало известно, что они женщин не обижают и вообще “никого из мирных жителей не трогали”, “красноармейцы ничего не берут из имущества, а за взятые продукты, даже за арбузы и молоко, щедро платят советскими деньгами” (5, 224). Отступая на Кубань, Григорий беспокоился за жизнь Аксиньи, матери и Дуняшки при советской власти и “начинал успокаивать себя, припоминал не раз слышанные в дороге рассказы о том, что красноармейцы идут мирно и обращаются с населением занятых станиц хорошо” (5, 270).

В эпосе выведен Малкин, на самом деле зверствовавший в Вешенской. Не разобравшись, он приговорил Громославского, который через 5 лет станет зятем Шолохова, к расстрелу (случай спас его), приказал расстрелять другого старика только за то, что “бороду откохал да в лихой час попался” ему на глаза. Малкин угрожал казакам: “Я...вас рассказачу, сукиных сынов, так, что вы век будете помнить!..” (4, 255). Услышав об этом, Штокман обещает проверить сообщения об издевательствах над казаками и воздать должное самодуру. Ему не верят, и он напоминает: “Когда шел фронт в вашем хуторе, разве не расстреляли красноармейца же своей части за то, что он ограбил какую-то казачку?” (4, 257).

Политика расказачивания проводилась по указаниям свыше, она вылилась в уничтожение людей без всякого суда. Узнав, что в Вешках расстреляли арестованных, Котляров, движимый чувством справедливости, нормами народной нравственности, говорит Штокману: “Отойдет народ от нас, Осип Давыдович!.. Тут что-то не так. На что было сничтожать людей?” (4, 172). “Он ждал, что Штокман будет так же, как и он, возмущен случившимся, напуган последствиями”, но тот посчитал, что Котляров “размагнитился”, распустил “слюни интеллигентские”,

что “с врагами нечего церемониться”, ибо “или они нас, или мы их! Третьего не дано” (4, 173).

Расстрелы он оправдывает своей “классовой правдой”, тем, что на фронтах гибнут тысячами “лучшие сыны рабочего класса. ... О них - наша печаль, а не о тех, кто убивает их или ждет случая, чтобы ударить в спину” (4,173). Он убежден: “Если по округу не взять наиболее активных врагов - будет восстание”. Он внушает Котлярову, что трудовые казаки “не откажутся” от советской власти, “если внушить им нашу классовую правду”. Дальнейший ход событий показал ошибочность такой политики, приведшей к восстанию против большевиков.

Издержки классовой правды были слишком велики. Один из казаков объясняет Штокману: “Потеснили вы казаков, надурили, а то бы вашей власти и износу не было, через это и восстание получилось” (4, 254). Не только Алешка Шамиль думал так: “...может, советская власть и хороша, но коммунисты, какие на должностях засели, норовят нас в ложке воды утопить!.. хотят нас коммунисты уничтожить” (4, 182). Еще раньше один из казаков спросил Бунчука: “А большевики, как заграбают власть, какую ярмо на нас наденут”, и тот отвечает, что при большевиках будет “выборная власть, Совет” (3, 159).

На практике все оказалось не так просто, но идея Советов была привлекательна для большинства русского народа, не исключая и казачество. После начавшегося восстания наблюдалась интересная метаморфоза: “Были образованы в станицах и хуторах советы, и, как ни странно, осталось в обиходе слово “товарищ”. Был кинут и демагогический лозунг: “За советскую власть, но против коммуны, расстрелов и грабежей” (4, 208). Здесь обращает на себя внимание оценочное слово “демагогический”, проясняющий авторскую позицию, но в целом она диалектически сложна и не исчерпывается только осуждением восстания, включает в себя и мысль о том, что “опробетчивость и волюнтаризм в действиях, затрагивающих миллионы людей, оплачиваются дорогой ценой и таят в себе опасность дискредитации в глазах колеблющейся массы целей и идеалов революции” (А. Хватов).

Солженицын пытался найти брешь между политическими взглядами Шолохова и авторской позицией в “Тихом Доне”, утверждая: “Автор (не будем говорить Шолохов) посвящает всю книгу защите донского казачества против иногородних и его сепаратизму от России. Шолохов же как раз иногородний и всей своей деятельностью проводит линию, противоположную автору романа” (Русская мысль. 1975. 16 января). Ему возразил Н. Федь: “Ведь в романе нет никакой “линии” против иногородних” (Молодая гвардия. 1994. № 3. С. 225). Это утверждение расходится с содержанием “Тихого Дона”, но нельзя согласиться и с заявлением Солженицына о том, что вся книга посвящена защите “казачества против иногородних.”

Как показано в эпосе, в казачьих традициях отразились демократизм, вольнолюбие, коллективизм, патриотизм и вместе с тем противопоставление всей России, привычка смотреть на мужика свысока. Слово “мужик” было самым ругательным не только у Митьки Коршунова. Когда надо было выразить презре-

ние, казак говорил: “Ты обмужичился... Молчи уж, мужик!” Многие казаки опасались, что казачьи земли “начнут мужикам нарезать”. Это опасение за свой надел, который в несколько раз превышал земельный пай крестьянина, и было экономической основой недоверчивого и в какой-то мере даже враждебного отношения со стороны казачества к русскому крестьянину.

В душе Григория сохранились сословные предрассудки, впитанные с детства, привычные для казаков представления о казачьей чести, верности присяге, об особом, отличном от мужицкого уклада, общественном и нравственном устройстве жизни. Глядя на жену Наталью, он подумал: “...казачку из всех баб угадаешь. В одежде - привычка, чтоб все на виду было... А у мужичек зад с передом не разберешь, как в мешке ходит” (3, 277). Командуя повстанческой дивизией, он отказывается брать в нее русских крестьян: “Убыль пушай пополняют мне казаками” (5, 146).

Григорий испытал влияние офицера-казака Изварина, “человека недюжинных способностей, несомненно одаренного, образованного”. Он был заядлым автономистом, агитировал “за установление того порядка правления, который существовал на Дону еще до порабощения казачества самодержавием”: “править будет державный Круг”, “не будет в пределах области ни одного русака”, будут выселены “все пришлые иногородние” (3, 198-199).

Когда Красная Армия вошла в Донскую область, Григорий “стал проникаться злобой к большевикам” потому, что “они вторглись в его жизнь врагами, отняли его от земли”. Опаляемый слепой ненавистью, он думал: “Пути казачества скрестились с путями безземельной мужичьей Руси, с путями фабричного люда. Рвать у них из под ног тучную донскую, казачьей кровью политую землю. Гнать их, как татар, из пределов области! Тряхнуть Москвой, навязать ей постыдный мир!” Ему представилось, что столкнулись Дон и Россия. “На миг в нем ворохнулось противоречие: “Богатые с бедными, а не казаки с Русью... Мишка Кошевой и Котляров тоже казаки, а насквозь красные...” Но он со злостью отмахнулся от этих мыслей” (4, 198). Таких казаков во время восстания он ненавидел больше, чем обычных красных, вышедших из рабочих и крестьян. Но жизнь заставляет его менять свои выводы и оценки. Так, он хотел сначала расстрелять пленного красного казака, так как “казак, который зараз идет с красными, двух врагов стоит”, но потом приказывает отпустить его. Оказавшись в Вешенской, он услышал от стариков жалобу на “самородное начальство”: “Иногородних все жмут. Кто с красными ушел, так из ихних семей баб сажают, девчатишек, стариков”, “красные шли, никого не обижали, а эти особачились, остеревенились, ну, удержи им нету!”, и чувство справедливости заставило Григория выпустить из тюрьмы около ста арестованных.

В 1931 г. Горький заметил, что Шолохов “пишет, как казак, влюбленный в Дон, в казацкий быт, в природу” (Горький М. Две беседы. М., 1931. С.20). Сталин нашел, что у Шолохова “слишком преувеличенное любование казацким” (Дон. 1995. № 5-6. С. 83). Сам писатель не раз варьировал в своих выступлениях мысль о том, что он родился “на Дону, рос там, учился, формировался как чело-

век и писатель”, что он является “патриотом своего родного Донского края”. Любовь к этой земле отразилась во всем повествовании “Тихого Дона”, в изображении донской природы, казаков, их уклада жизни. В лирическом отступлении в пятой части автор взволнованно, с глубокой любовью, с сердечной болью пишет о братских могилах погибших в боях казаков, о детях-сиротах, о казацких женах, обреченных на безрадостное вдовье существование. В третьей книге автор обращается к родимой степи “под низким донским небом”: “Низко кланяюсь и посыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая степь!” (4, 64). В подобных отступлениях авторский голос впитывает в себя голоса донских жителей, действующих в романе персонажей, наполняется мощным гуманистическим чувством, большой общечеловеческой правдой.

По словам Шолохова, создавать “Тихий Дон” помогало ему “знание казачьего быта”, “но главное - вживание в материал”. В декабре 1965 г. он говорил: “...впечатления детских лет, постоянные невольные наблюдения над жизнью, бытом моих однохуторян давали мне живой материал для воссоздания мирной эпохи на Дону” (Литературная газета. 1985. 5 июня). Только предвзятостью объясняется утверждение Медведева о том, что формирование молодого Шолохова протекало вне казачьей среды и казачьих традиций” (154). Шолохов жил среди казаков, с малых лет из года в год познавал особенности казацкого уклада жизни, навсегда прирос своим сердцем к донской земле. Он очень любил донские песни. Когда он и Мария Петровна отмечали свою золотую свадьбу, их дети “вышли к столу и запели старую казачью песню” (Литературная Россия. 1985. 24 мая). Как верный сын Дона, он не мог не изобразить, не воспеть то ценное, что было у казачества - устремленность к свободе, демократизм, трудолюбие, гуманистическое чувство и патриотизм.

Такое изображение казачества вызвало недовольство у ряда критиков. Так, М. Майзель упрекал Шолохова за то, что он в “Тихом Доне” не показал “во всей широте ортодоксальной и реакционной казачьей массы”, что он “любуется этой кулацкой сытостью, зажиточностью” (Звезда. 1928. № 8. С.162-163). 6 августа 1929 г. в протоколе заседания комфракции правления РАПП было записано, что “Тихий Дон” парализует партийные документы, с коим подходишь к казаку”, что в нем есть “идеализация кулачества и белогвардейщины” и вообще этот роман - “воспоминания белогвардейца” (Советская культура.1989. 25 мая). Новосибирский журнал “Настоящее” опубликовал в 1929 г. статью под названием “Почему “Тихий Дон” понравился белогвардейцам?” Показательно, что подобные “колебания” в определении идеологической направленности и авторского отношения к изображаемым событиям возникли у Н. Тимашева при знакомстве с романом Шолохова “Поднятая целина”. В 1932 г. в газете “Возрождение” (Париж) он писал, что при чтении его “само собой навязывается решение - автор в душе “белый”, сумевший гениально загримироваться “красным” (Литературная Россия. 1994. 24 июня).

Восприняв эти давние мысли, И. Лангуева-Репьева в статье «Неизвестный Шолохов» (Российский писатель. № 21-22. 2004) так определила политическую

позицию писателя: «Едва ли Шолохов был, в сущности, скорее «красным», чем «белым». Доказывать это она считает излишним, думая, что ее «открытия» должны приниматься на веру. Но как быть с опровергающими их фактами, со свидетельствами самого Шолохова? На Втором Всесоюзном съезде советских писателей Шолохов говорил: «О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и народу, которым мы служим своим искусством». После получения Нобелевской премии он сказал о своем настроении: «Тут преобладает чувство радости оттого, что я - хоть в какой-то мере - способствую прославлению своей Родины и партии, в рядах которой я нахожусь больше половины своей жизни, и, конечно, родной советской литературы».

Стремясь оторвать Шолохова от «Тихого Дона», Медведев утверждает, что его создал антибольшевистски настроенный автор, который проявляет глубокую любовь к казакам, особенно трудовым, и враждебен к не-казакам». И потому «для молодого советского писателя-комсомольца странными являются и те народнические взгляды и политические симпатии, которые с несомненностью видны в «Тихом Доне», казалось бы, даже вопреки воле автора» (173). Шолохов завершил «Тихий Дон» в 1940 г., когда ему было уже 35 лет. Зачем же приписывается здесь принадлежность писателя к комсомолу?

Ермолаев убедительно показал, что Медведев допустил в своих работах о Шолохове непростительно много ошибок, фактических неточностей, касающихся истории донского казачества и литературы. Медведев не утруждал себя сомнениями, не взваливал на свои плечи обязанность учитывать всю совокупность известных фактов, не перегружал себя нравственной щепетильностью, когда пускал в ход весьма сомнительные утверждения, относящиеся к творчеству Шолохова и его биографии. Для него подходит все, что помогает дискредитировать этого чуждого ему по своему мировосприятию писателя. Для доказательства того, что Шолохов был комсомольцем, он привлекает биографические сведения из давнего школьного учебника «Русская советская литература» и другие - ненадежные - источники, но почему-то не ссылается на слова самого Шолохова: «Юность моя сложилась как-то так, что я, действительно, не был в комсомоле. Сразу вступил в партию» (Сов. Казахстан. 1955. № 5. С. 75). Позже Шолохов не раз подтверждал это.

Но имеет ли серьезное значение при изучении его творчества ответ на вопрос: был ли он комсомольцем? Для Медведва, оказывается, это означает весьма многое: давая желаемый для него, но фактически неверный ответ, он стремится подкрепить тем самым свою версию о плагиате. Он настойчиво отмечает принадлежность Шолохова к комсомолу для того, чтобы связать с этим догматизм, классовый гуманизм, однолинейность политических оценок, обязанные, по его мысли, так или иначе проявиться в художественном произведении. Такой же догматический подход проявил и Ермолаев, когда утверждал: «С 1932 года Шолохов был членом КПСС, а это обязывало к партийной лжи. Ложь и искусство -

несовместимы. Поэтому “Судьба человека” (1956), вторая книга “Поднятой целины” (1960), “Они сражались за Родину” (1943) оказались за пределами подлинной художественной литературы” (Русская литература. 1991. № 4. С. 44). Ненависть к коммунистической партии подорвала у Ермолаева способность непредвзято оценить названные им здесь произведения Шолохова и заставила вынести несправедливый приговор на основе своих политических пристрастий. Следует напомнить, что Шолохов был принят в кандидаты партии в 1930 г. В это время он писал третью книгу “Тихого Дона”, позже завершил всю эпопею и первую книгу “Поднятой целины”. Если придерживаться логики рассуждений Ермолаева, то и эти произведения надо вывести за пределы подлинного искусства.

Авторская позиция в “Тихом Доне” воссоздает высшую общенародную правду, которая стоит над правдами борющихся лагерей, классов и социальных групп и отражает глубинные национальные интересы всей России. Это отразилось в самом стиле произведения, в нем доминируют конструкции, в которые свободно - на правах хора - “входят и автор, и герой, и многие другие” (Л. Киселева). В третьей книге Шолохов представил встречу Краснова с “послами” союзников в непривлекательном свете, через несколько строк повествует о расстреле шахтинских железнодорожников, и тут же пишет: “А неделю спустя началось самое страшное - развал фронта” (4,106). Здесь оценка дается с позиции участников белого движения. Авторская позиция стоит выше позиций какой-то одной стороны, она проявляется в совокупности и взаимодействии разных точек зрения, из объективного изображения разноликих героев, массовых сцен, настроений и жизни различных слоев народа.

Авторский взгляд, опирающийся на народные представления, цементирует разноречивые, порой диаметрально противоположные оценки персонажей. Когда начали распределять имущество казаков, бежавших с белыми, никто не стал его брать, а Семка Чугун сказал: “Хозяева придут, опосля глазами моргай...” Не брать чужого - таков один из постулатов народной морали, воспитанной на христианской идеологии. В самые ответственные моменты она диктует правила поведения и Пантелею Прокофьевичу. Митька Коршунов сгубил семью Кошевого, и старик не пустил его в свой дом, не желая, чтобы тот поганил его. Он предупреждает Митьку: “ И больше чтоб и нога твоя ко мне не ступала. Нам, Мелеховым, палачи несродни...” (5, 109).

Когда повстанцы соединились с Донской армией, Пантелею Прокофьевичу пришлось встречать генерала Сидорина и английского полковника. Встреча описывается его глазами, он разочарован внешним видом гостей, похожих “на обыкновеннейших солдатских писарей”. Он услышал, как мальчишка “крикнул во всю глотку: “Ребята! Гля, как хромой Мелехов наклонился! Будто ерша проглотил!” (5, 116). И это окончательно испортило настроение старика, ставшего посмешищем. Хуторяне, да и он сам, не могут серьезно воспринимать бутафорскую встречу высоких военных сановников. И здесь же обозначается восприятие встречи со стороны английского полковника, чопорного, высокомерного, в душе презирающего русских людей, довольного тем, что вскоре победят большевиков и что

Россия надолго выпадет “из строя великих держав”. Авторская же позиция стоит над позицией и Пантелея Прокофьевича, и английского полковника, она подкрепляется самым ходом изображенной борьбы с белыми и иностранной интервенцией, жизнь перечеркнула представления англичанина о дальнейшей судьбе России.

Медведев указывает, что “Ермолаев выписывает из текста “Тихого Дона” отдельные фразы и целые пассажи, которые мог написать только автор-коммунист”, но “одна из загадок “Тихого Дона” состоит в том, что “в этой книге еще больше фраз и пассажей (особенно в первом, журнальном варианте), которых никак не мог написать автор-коммунист” (208). Он не может представить того, что Шолохов понимал правду и красных и белых, простых казаков, богатых людей, помещика Листницкого, царских генералов, коммунистов и им сочувствующих и эту правду стремился претворить в яркие, верные самой действительности образы. Не понимая этого, Медведев недоумевает: “Опять-таки кажется странным для автора-комсомольца этот взгляд на офицеров, уклоняющихся от борьбы с большевиками, как на “грязную накипь”, а на офицеров, ведущих смертельную войну с большевиками, как на самую мужественную, сохранившую честь и совесть русского офицерства” (177). Но ведь понятно, что и идейные враги, которые проповедуют “не нашу” мораль, бывают порядочными, совестливыми, щепетильными в доказательствах - и этим могут вызывать уважение. Если исходить из общечеловеческой морали, из общенародной правды, то следует признать: когда речь идет о судьбе родины, то недобрые чувства и мысли могут вызвать офицеры, которые занимались в крайне трудные месяцы для России спекуляцией, становились симулянтами, уходили от борьбы, дрожали за собственную шкуру, которые теряли честь офицера и совесть порядочного человека. Можно вспомнить, как в разговоре со Сталиным Шолохов отстаивал свое право изображать субъективно честным генерала Корнилова. Это ведь делал не мифический соавтор, а сам Шолохов.

Шолохов хорошо знал, что среди тех, кто поднялся с оружием в руках против советской власти, было немало субъективно честных, самоотверженных и талантливых людей, при изображении которых непростительно использовать одну черную краску. Он стремился сказать полновесную правду о том жестоком, поворотном времени и прекрасно понимал, что дело истинного художника - не просто заклеить неугодных тебе героев, а раскрыть саму диалектику жизни во всей сложности и противоречивости, не забывать об “очаровании человека”, его творческих возможностях. Верное понимание причин народной трагедии, страшных издержек гражданской войны, что особенно пагубно сказалось на судьбе крестьянства и казачества, помогло Шолохову найти точное соотношение разных красок при изображении схваток враждебных сил во время кровавой междоусобицы, взглянуть на это мудрым взглядом настоящего гуманиста, создать внешне спокойную эпическую уравновешенность в многотомном произведении.

Шолохов понимал, что жестокость во время революции и гражданской войны - неизбежное явление, но он всем своим существом восставал против нее, с

какой бы стороны она ни исходила. Большевик Бунчук, разъяренный тем, что офицер Калмыков обличает большевиков, Ленина, обвиняет их в предательстве родины, хочет расстрелять его, и Дугин пытается остановить расправу: “Илья Митрич, погоди! Чегой-то ты? Посто-ой!..” После расстрела он, не согласный с самосудом, говорит: “Митрич... Что же ты, Митрич?.. За что ты его?” Хотя Бунчук и объясняет, что “таких, как Калмыков, надо уничтожать, давить, как гадюк”, хотя Шолохов не выказывает своего прямого отношения к этой расправе, но сама сцена наталкивает на известное сочувствие к Калмыкову, он верен своей офицерской чести, ведет себя мужественно, напоминает “о славе и чести Тихого Дона, об исторической миссии казачества”, он не в ряду тех, кому главное - своя жизнь и свои мелкие личные заботы. Из повествования становится ясно, что автор не сторонник такой расправы над политическими противниками, это он и передает через переживания и слова Дугина, который в своем поведении опирается на народную мораль.

Сын Шолохова, Михаил Михайлович, писал, что у отца “было исключительно развито то качество души, благодаря которому один человек оказывается способным воспринимать переживания другого - страдать его страданиями, болеть его болью, быть счастливым его радостями... Очевидно, что никогда не мог бы сложиться в писателя человек, не обладающий свойством переживать страсти, общие всем людям, глубже и острее, чище и возвышеннее, чем любой из всех, о ком он пишет” (Молодая гвардия. 1985. № 4. С. 51). Е. Серебровская наблюдала, как Шолохов переживал смерть своих героев в конце “Поднятой целины”: “Вот и отпели донские соловьи... Вот и все!” ...Он продиктовал эти слова. Отвернулся, заплакал, достал носовой платок, ругнулся тихонько в сторону, словно недоумевая, какая же это злая сила погубила его сынков. Неподдельным на лице его было выражение горя, даже словно беспомощность детская и вопрос: но почему же так? И ничего вокруг и рядом с собой он в тот миг не видел” (Нева. 1987. № 11. С. 58).

О настоящем общечеловеческом гуманизме Шолохова можно судить и по воспоминаниям писателя М. Обухова, который встречался с ним в 30-е годы и рассказал, как однажды работник краевого центра выразил несогласие с изображением в “Тихом Доне” смерти Петра Мелехова: “Читатель должен радоваться, что одним гадом стало меньше. А мы смерть Петра воспринимали глазами его родного брата, Григория, тоже контрреволюционера. Так ли должен писать пролетарский писатель?” Несколько позже, когда этот работник ушел, “Михаил Александрович уничтожающе проговорил: “В жизни, в отношениях людей он не может или не хочет понять главного: смерть есть смерть, умирает враг или наш человек - все равно это смерть!..” Шолохов встретился в тюремной камере с бывшим есаулом Сениным, прототипом Половцева в “Поднятой целине”, которого ожидал расстрел. Разговор с Сениным сильно подействовал на Шолохова: “Потом весь долгий вечер Михаил Александрович, видимо, находился под впечатлением своего свидания с бывшим есаулом. Он задумчиво сосал потухшую трубку, был молчаливей, чем обычно” (Творчество Михаила Шолохова. Л., 1975.

С. 292). Когда шел третий год Отечественной войны, Шолохов приехал на виноградник Новочеркасского института и долго наблюдал за работой пленных немцев, а “потом попросил винодела Степана Ткаченко угостить пленных вином”, что немедленно и было сделано (Слово о Шолохове. М., 1985. С.122).

В Шолохове были слиты воедино писатель-гуманист и человек-гуманист. Французский писатель Жан Каталя справедливо утверждал, что он своими произведениями “пробуждает скрытый в наших душах огонь, приобщая к великой доброте, борьбе, великому милосердию и великой человечности русского народа. Он принадлежит к числу тех людей, чье искусство помогает каждому стать более человечным” (Там же. С. 261).

В “Тихом Доне” Шолохов, по его словам, воссоздал “колоссальные сдвиги в быту, жизни и человеческой психологии, которые произошли в результате войны и революции” (8,103). Он изобразил, как Октябрьская революция вызвала глубокий раскол в народе, стала национальной трагедией, но вместе с тем она оплодотворила народную жизнь идеями братства и справедливости, разбудила в передовых людях из трудовой массы неумемную энергию, высокое человеческое достоинство, чувство хозяина своей судьбы. Один из казаков говорит Кудинову: “Гордость в народе выпрямилась” (3, 244). Григорий с горечью рассуждает после соединения повстанцев с белыми: “...господам генералам... надо бы вот о чем подумать: народ другой стал с революцией, как, скажи, заново народился! А они все старым аршином меряют. А аршин, того и гляди, сломается...” (5, 88).

Заслуживший офицерский чин во время германской войны Григорий остро чувствует, что он офицерам “чужой от головы до пятак”, для них простые люди из трудовой массы вроде скотины, они “не хотят они понять того, что все старое рухнуло к едреной бабушке”. Григорий говорит Копылову: “Они думают, что в военном деле я или такой, как я, меньше их понимаем. А кто у красных командирами? Буденный - офицер? Вахмистр старой службы, а не он генералам генерального штаба вкалывал? А не от него топали офицерские полки?” (5, 89). Копылов разъясняет ему, что он “офицер абсолютно случайный в среде офицерства”, так и остается “неотесанным казаком”: он “неправильно и грубо выражается, плохо воспитан, и нечего-де обижаться на то, что офицеры относятся к нему “не как к равному”: “В вопросах приличий и грамотности” он “пробка!” Григорий возразил Копылову, наглядно - полушутя полусерьезно - объяснил ему: “Это я у вас пробка, а вот погоди, дай срок, перейду к красным, так у них я буду тяжелей свинца. Уж тогда не попадайтесь мне приличные и образованные дармоеды!” Шолохов показал, как во время революционного переворота люди стали яснее ощущать себя полноценной самостоятельной личностью, лучше осознавать свое значение в историческом процессе, они не безвольные песчинки, пассивно повинующиеся давлению обстоятельств, они сами творят историю, у них крепнет понимание необходимости жить по законам новой правды.

Даже Ермолаев, не разделяющий социалистической идеологии, после вдумчивого анализа заключил: “Сомнительно, что чувство побеждающего коммунизма абсолютно чуждо автору “Тихого Дона”, как уверяет Медведев” (Вопро-

сы литературы. 1989. № 8. С. 179). Это он объясняет тем, что “почти 3/4 “Тихого Дона” написаны в период, когда Шолохов, возможно, еще не достиг позднейших ярко просоветских идеологических позиций. ...По возвращении на Дон в мае 1924 года он жил два года у тестя, Петра Громославского, зажиточного казака... Осенью 1926 года Шолохов переехал в Вешенскую и поддерживал контакт с местными казаками, собирая материал для “Тихого Дона”. Таким образом, основная часть работы над романом была проделана с конца 1925 по 1930 год в консервативном и преимущественно антисоветском окружении” (181). В какой-то мере эти суждения можно принять во внимание, но следует подчеркнуть, что это окружение не менялось и до конца работы над “Тихим Доном”. Ермолаев недоучитывает особенности самой натуры Шолохова и его творческого метода, устремленного к постижению доскональной правды, некоторые изменения в идейно-политических позициях в период войны и послевоенное время неправомерно принимаются им за нравственную деградацию, которая-де породила творческое бесплодие Шолохова.

Если не считаться с тем, что подлинный художник-реалист стремится к безусловной правде, к честному и объективному изображению действительности и отнюдь не ограничивает себя только черной и белой краской при обрисовке персонажей, что он не превращает произведение в одномерную агитку и может находить и в немилом его сердцу герое привлекательные черты, то есть немалые основания отнести к антибольшевистски настроенным писателям не какого-то мифического соавтора Шолохова, а его самого. Если использовать примитивные приемы Медведева, то можно доказать, что и в ранних рассказах есть антибольшевистская направленность. Как отметил Ермолаев, “из 16-ти рассказов, описывающих политические убийства, в 8-ми жертвами предстают казаки, а в 4-х красные показаны как убийцы своих противников (“Шибалково семя”, “Продкомиссар”, “Бахчевник”, “Один язык”)). В рассказе “Червоточина” Максим говорит своему младшему брату, вступившему в комсомол, активному стороннику новой власти: “Ерундовая власть. Нам, казакам, даже вредная. Одним коммунистам житье, а ты хоть репку пой... Такая власть долго не продержится”. Л. Якименко не без оснований утверждал, что у Шолохова “в некоторых рассказах начинала звучать та абстрактно-гуманистическая сострадательная нота, которая возбуждала мысль о том, что обстоятельства сильнее, “виноваты” больше, чем воля человека” (Творчество М. А. Шолохова. С. 70).

Можно вспомнить, что Шолохова критиковали за якобы неверное изображение красноармейцев, которые, “безобразно подпрыгивая, затряслись в драгунских седлах”, а он в письме к М. Горькому от 6 июня 1931 г. высмеивал тех, кто хотел приукрасить красных кавалеристов. Шолохова бичевали за оправдание Вешенского восстания, а он в том же письме утверждал: “Возникло оно в результате перегибов по отношению к казаку-середняку”. Шолохова критиковали за “кулацкую идеологию” в “Тихом Доне”, а он и в “Поднятой целине” не без сочувствия изобразил тех, кого раскулачивали. Не случайно же работники “Нового мира” требовали изъять главы о раскулачивании. В 1956 г. Шолохов восстановил ран-

ную редакцию сцены, в которой Подтелков выглядит не очень достойно, без всякого суда расправившись с офицером Чернецовым.

Вместе с тем Шолохов не только в художественных произведениях, но и в своих письмах обнаруживал позиции, далекие от господствующих в то время прямолинейно большевистских убеждений. Ягода заявил ему: “Вы контрик!” 2 апреля 1930 г. в одном из писем Шолохов с горечью сообщил о том, что Фадеев предложил ему сделать такие изменения в “Тихом Доне”, которые для него были “неприемлемы никак”: “Он говорит, ежели я Григория не сделаю своим, то роман не может быть напечатан. ...Делать Григория окончательно большевиком я не могу... Я предпочту лучше совсем не печатать, нежели делать это помимо своего желания, в ущерб роману и себе. ... И пусть Фадеев не доказывает мне, что “закон художественного произведения требует такого конца, иначе роман будет объективно реакционным” (Литературная Россия. 1990. 20 февраля). Ф. Панферов настаивал на том, чтобы Шолохов направил Григория по большевистскому пути. По свидетельству Светланы Михайловны, “Сталин однажды спросил отца о судьбе Григория Мелехова: “Когда же он станет большевиком?” Отец ответил: “Я очень хотел и уговаривал Григория, а он никак не хочет вступать в партию” (Осипов В. Годы, спрятанные... С. 27) Шолохов однажды сказал о своих трудностях во время работы над образом Григория: “Все время думаю, как воссоздать правду о том, что было. Это не так бывает просто, да и не всем хочется иногда читать эту правду... Не хочется читать правду, а неправду писать не хочется...” (Мировое значение... С. 86-87).

Итак, “антибольшевистскую” направленность “Тихого Дона” можно “доказать” только в том случае, если обращать внимание на одни мотивы и краски и пренебрегать другими, если не пытаться понять сложнейшую диалектику отношений между автором и персонажами. С наименьшим успехом при таком подходе автора этой эпопеи можно объявить откровенным врагом не только царя (чего стоит такая фраза: “Рыжеватый сонный император смотрел на Крюкова, как лошадь”), белогвардейских генералов и офицеров, но и всего казачества. С таких позиций рассматривают “Тихий Дон” супруги Макаровы. Они утверждают: “Шолохов неоднократно стремится подчеркнуть враждебное отношение повстанцев, и особенно Григория Мелехова, к “генералам” и “кадетам” ...Все эти попытки выглядят клеветой на казаков” (№ 6. С. 216). Но вот что писал П. Краснов, имея в виду 1917 г.: “Казачья украсилась бантами, вырядилась в красные ленты и ни о каком уважении к офицерам не хотели слышать” (Краснов П. На внутреннем фронте. Л., 1927. С. 80). В ходе гражданской войны отношение к офицерам у казаков не улучшилось. Основываясь на глубоком знании самой действительности. Шолохов дает правдивую картину, когда пишет: “Враждебность, незримой бороздой разделившая офицеров и казаков еще в дни империалистической войны, к осени 1918 года приняла размеры неслыханные. В конце 1917 года, когда казачьи части медленно стекались на Дон, случаи убийства и выдачи офицеров были редки, зато год спустя они стали явлением почти обычным. Офицеров заставляли во время наступления, по примеру красных командиров, идти впереди

цепей - и без шума, тихонько постреливали им в спины” (4, 110). И понятно: не было бы враждебного отношения к генералам и кадетам у казаков - не открыли бы они фронт красным в 1918 г., не сражались бы многие из них за советскую власть (конные соединения Думенко, Миронова, Буденного были сформированы в основном из казаков), не оставили бы повстанцы в своем обращении слово “товарищ”, не отменили бы погоны, не использовали бы в своих лозунгах и практической жизни идею Советов как отвечающую их интересам.

Макаровы в своих претензиях к Шолохову идут по следам Томашевской, расценившей “нецензурную брань простого урядника 28-го полка Якова Фомина по адресу донского атамана Краснова... как психологически невозможную”: это противоречило “всем казачьим традициям службы и верности долгу”. Вот, мол, красноречивое доказательство “клеветы” на казаков. Однако, по словам самого Краснова, Фомин на самом деле ответил ему “площадной бранью” (Архив русской революции. Т. 5. С. 291). Сами Макаровы выяснили, что об этом сказано и в воспоминаниях П. Краснова “Всевеликое Войско Донское”.

Макаровы полагают, что Григорий как истинный казак не мог враждебно относиться к высшему свету, помещикам и генералам. Значит, они не принимают важнейшей черты его характера, пронизывающей суть этого героя на протяжении всей эпопеи. Во время призывы в армию пальцы Григория, “шероховатые и черные, слегка прикоснулись к белым, сахарным пальцам пристава. Тот дернул руку, словно накололся, потер ее боковину серой шинели; брезгливо морщась, надел перчатку. Григорий заметил это, выпрямившись, зло улыбнулся” (2, 234). Несколько позже, уже в армии, “глядя на вылощенных, подтянутых офицеров в нарядных бледносерых шинелях и красиво подобранных мундирах, Григорий чувствовал между собой и ими непролазную невидимую стену: там аккуратно пульсировала своя, не по-казачьи нарядная, иная жизнь, без грязи, без вшей, без страха перед вахмистрами, частенько употреблявшими зубобой” (2, 252). Вахмистр стал распекать его, а он в ответ: “...ежели когда ты вдаришь меня - все одно убью” (2, 253). Впоследствии, в гражданскую войну, он в таком же духе отреагирует на разнос генерала Фицхалаурова. Командуя повстанческой дивизией, Григорий продолжает постоянно чувствовать между собой и офицерским обществом непроходимую стену, он ощущает себя в нем белой вороной: “У них - руки, а у меня - от старых музлей - копыто. Они ногами шаркают, а я как ни повернусь - за все цепляюсь, от них личным мылом и разными бабьими притирками пахнет, а от меня конской мочой и потом. Они все ученые, а я с трудом церковную школу кончил. Я им чужой от головы до пяток” (5, 89).

В начале мировой войны Григорий, остро переживая, что в бою с австрийцами он одного убил пикой, а другого срубил шашкой, говорит брату Петру: “Людей стравили... Хуже бирюков стал народ”. Такой настрой у него усилил большевик Гаранжа, ругавший власть, войну, царя. “Самое страшное в этом было то, что сам он в душе чувствовал правоту Гаранжи и был бессилён противопоставить ему возражения, не было их и нельзя было найти. С ужасом Григорий сознавал, что умный и злой украинец постепенно, неуклонно разрушает все его

прежние понятия о царе, родине, о его казачьем воинском долге” (2, 390). Это отразилось и в поведении Григория в госпитале при посещении его “особой императорской фамилии”. Медведев считает эту сцену “фальшивой и неубедительной”: она “совершенно не отвечает характеру Григория Мелехова”. К тому же “в августе-сентябре 1914 года казаков еще не кормили ни гнилым хлебом, ни червивым мясом”, разговоры, которые вели между собой Григорий и Гаранжа, “не характерны для сентября 1914 года” (171). Отметим, что эти разговоры были в октябре, и спросим: как Медведев отнесется к тому, что в 1905 г. не на фронте, а на славном Черном море кормили матросов червивым мясом, что и послужило сигналом к восстанию? Для большевика Гаранжи и необузданного в своих поисках правды Григория достаточно было и нескольких месяцев кровавой бойни, их личного участия в ней, и того, что они увидели, испытали, узнали за это время, чтобы попытаться осмыслить огромную беду, свалившуюся на весь народ. И это не могло не сказаться на отношении Григория к высокой особе, посетившей госпиталь.

Хабин поддерживает Томашевскую и Медведева в трактовке этого эпизода, посчитал нужным процитировать их мысли о нем и, стремясь подкрепить версию об авторе и соавторе “Тихого Дона”, пишет: “В последующем авторском тексте то, что присочинено “соавтором”, естественно не находит никакого развития” (Очерки... С. 59). Это подтверждается цитатой из работы Томашевской: “Стоило Григорию приехать в родную станицу, в отпуск, как все его чувства и устои вернулись, и не только не подумал он, по советам Гаранжи, побалакать со своими казаками на политические темы, просветить их, темных, - но и сам вовсе выбросил из головы социал-демократические идеи, ему преподанные”.

Действительно, прибыл на побывку домой Григорий, и семейно-хуторская обстановка всколыхнула и обновила в нем те нравственно-психологические представления, которые были издавна свойственны казачеству. С почетом встречали жители хутора первого георгиевского кавалера. “С ним, как с равным, беседовали на майдане старики, при встрече на его поклон снимали шапки”, им восхищались девки, бабы, отец гордился им. “И весь этот сложный тонкий яд лести, почтительности, восхищения постепенно губил, вытраивая из сознания семя той правды, которую посеял в нем Гаранжа, пришел с фронта Григорий одним человеком, а ушел другим. Свое, казачье, всосанное с материнским молоком, кохаемое на протяжении всей жизни, взяло верх над большой человеческой правдой” (3, 47-48).

Перед обличителями не встал вопрос: могло быть так, как изобразил Шолохов, в самой жизни? К тому же им стоило внимательнее вчитаться в текст произведения - и тогда бы они обратили внимание на разговор Григория с Подтелковым, во время которого он повторяет ключевые положения речей автономиста Изварина. Подтелков разъясняет: “...над народом, какой трудящийся, будут атаманья измываться. Тянись перед всяким их благородием”, а надо “стараться, чтоб власть к народу перешла”. Общение с ним разрушало изваринские установки, и после недолгих колебаний в душе Григория на какое-то время перевесила

"прежняя правда", связанная с влиянием большевика Гаранжи. В начале 1918 г. Изварин спросил Григория: "Ты... кажется, принял красную веру?", и тот ответил: "Почти". Он воевал на стороне красных. После нового ранения Григорий возвратился домой и заявил, что он за советскую власть. Петр стал наставлять его: "Русь у нас не должна править. А ты знаешь, что иногородние гутарют. Всю землю разделить на души. Это как?". Григорий ответил: "Иногородним коренным, какие в Донской области живут издавна, дадим землю". Значит, не выветрились полностью из головы Григория социал-демократические идеи...

И уже этот эпизод опровергает слова Якименко о том, что у Григория "сильнее были выражены собственнические и сословные предрассудки" (Т. 2. С. 221). Здесь вспоминается и то, как он отчитал своего отца, приехавшего пожить с имуществом жителей села, занятого повстанцами.

В 1930 г. в издательстве "Огонек" Шолохов напечатал "Девятнадцатую году. Неопубликованный отрывок из "Тихого Дона", где речь шла о переживаниях Григория в начале восстания. Он думал: "Мы все царевы помещики. На казачий пай по двенадцати десятин падает. Побереги землю". Уже в журнальной публикации (Октябрь. 1932. № 2) Шолохов "выбрасывает это место, потому что оно нарушало правду созданного им характера. Григорий, ненавидящий генералов, офицеров, не мог сравнивать себя с туеядцами-помещиками" (Якименко Л. Творчество М. А. Шолохова. С. 243).

И во время восстания не исчезли коренные противоречия между основной массой казаков и белогвардейскими верхами. Подполковник Георгадзе появился у повстанцев в Вешенской, его прикомандировали к обозу, а работать он стал в штабе; возглавивший восстание Кудинов объяснил Григорию: "Неудобно перед казаками. Знаешь, какие они, братушки? "Вот, - скажут, - позасели офицерья, свою линию гнут. Опять погоны... и все прочее" (4, 248). Встретившись с Георгадзе, Григорий "почувствовал какую-то тревогу и беспричинное озлобление", к нему пришла догадка: "А что, если кадеты нарочно наоставляли у нас этих знающих офицеров, чтобы поднять нас в тылу у красных..." (4, 249). Когда казаки убили Георгадзе, он подумал, что "и хорошо сделали, что убили".

Повстанцы из числа левонастроенных казаков затевали даже заговор против Кудинова, желавшего быстрее соединиться с Донской Армией. Они хотели убить его, поставить во главе власти Григория, втайне мечтая "об окончательном отделении от Дона и образовании у себя некоего подобия советской власти без коммунистов" (4, 275).

Во время восстания Григорию сначала показалось, что он нашел свою верную дорогу в жизни, воюя за казачью землю, казачью свободу, казачью правду, но соединение с белыми выявило призрачность надежды построить казачье государство на демократических началах. Он резко столкнулся с генералом Фицхалауровым, видит, как чужеземцы, англичане, обстреливают переправу красных и в то же время казаков бросают без артиллерийской поддержки под губительный пулеметный огонь, - и Григорий отказывается вести их в наступление против

красных, в нем “что-то сломалось”, а ведь “недавно он не щадил ни своей жизни, ни жизни вверенных его командованию казаков” (5, 103).

По убеждению Макаровых, колебания Григория, “целесообразно ли восставать против “своей, родной” власти... фальшивы от начала и до конца. Они не только противоречат авторскому образу Григория Мелехова, но и имеют совершенно фантастический характер на фоне той политики террора, которую проводила на Дону “своя, родная” большевистская власть” (№ 6. С. 215-216). Как броско! И как фальшиво! В отличие от Макаровых, Григорий лучше судил о сложившейся в 1919 г. политической обстановке, знал и о белогвардейском терроре. Он не мог быть долго во власти озлобления и “слепой ненависти”. Григорий ведет в бой тысячи повстанцев, льется кровь, и он размышляет: “А главное - против кого веду? Против народа... Кто же прав?” (4, 302). Восстание не вышло за пределы Верхне-Донского округа, становилось все яснее, что рано или поздно, “а Красная армия, повернувшись от Донца, задавит” (4, 241).

В разговоре с гонцом Алексеевской станицы выясняется, что пока жить можно и при советской власти, только есть опаска, как бы в будущем “хужей не стало”. И если бы вешенцы пришли в Алексеевскую, то поддержали бы их только зажиточные казаки, а бедные - за новую власть. Григорий делает вывод: “А мне думается, что заблудились, когда на восстание пошли...” (4, 249). Он говорит Наталье: “Неправильный у жизни ход, и, может, и я в этом виноватый... Зараз бы с красными замирился и - на кадетов. А как? Кто нас сведет с советской властью? Как нашим обчим обидам счет произвесть?” (4, 302).

Меняется настроение казаков, даже у деда Гришаки, постоянно цитирующего Библию, сначала открыто выступающего против советской власти, ибо она “не от бога”, а он “верой -правдой самому белому царю служил, ему присягал”. Словно бы подражая деду Гавриле из рассказа Шолохова “Чужая кровь”, он, направляясь в воскресенье в церковь, демонстративно надел “все кресты и регалии за турецкую войну”. Через некоторое время, встретившись с Григорием, он стал проповедовать иное: “Через чего воюете? Сами не разумеете! По божьему указанию все вершится. Мирон наш через чего смерть принял? Через то, что супротив бога шел, народ бунтовал супротив власти. А всякая власть - от бога. Хучь она и анчихристовая, а все одно богом данная” (4, 297-298). Дед упрекает Григория в том, что он на смерть людей водит, поднял их против власти и предупреждает: “Все одно вас уничтожат, а заодно и нас” (4, 298). Против братоубийственной войны настроена и Ильинична, которая, провожая уезжающего на фронт Григория, крестя и целуя его, “зашептала скороговоркой: “Ты богато...бога, сынок, не забывай! Слухом пользовались мы, что ты каких-то матросов порубил... Господи! Да ты, Гришенька, опамятуйся! У тебя ить вон, гля, какие дети растут, и у энтих, загубленных тобой, тоже, небось, детки поостались...” (4, 332).

Григорий тяжело раздумывал о судьбе России, его томили гнетущие мысли о бесплодности восстания, его неминуемом поражении, ибо большинство народа поддержало советскую власть. Он понимал: “Надо либо к белым, либо к красным

прислониться. В середине нельзя - задавят” (4, 275). В один из кульминационных моментов борьбы повстанцев с красными Григорий думал, что “казаков с большевиками ему не примирить, да и сам в душе не мог примириться, а защищать чуждых по духу, враждебно настроенных к нему людей, всех этих Фицхалауровых, которые глубоко его презирали и которых презирал он сам, - он тоже больше не хотел и мог” (5, 103). В этом и заключалась главная суть трагической судьбы Григория и основной массы казачества, и это было связано с колоссальными издержками революционных потрясений, которые наложили жестокую печать на весь русский народ. Макаровы же в своих мелкотравчатых наскоках на Шолохова проявили литературоведческую безграмотность, идейно-эстетическую глухоту, прискорбное непонимание авторской концепции “Тихого Дона” и сердцевины характера Григория.

Шолохов любил свой донской край, его людей, возвеличил их, но, как подлинный реалист, верный жизненной правде, он показал не только прекрасное в нравственно-психологическом облике казаков, но и то, что подлежало осуждению. Он изобразил, как казаки изнасиловали горничную Франю, отобрали часы у еврея. “В занятых селах Саратовской губернии казаки держали себя завоевателями на чужой территории: грабили население, насиловали женщин, уничтожали хлебные запасы, резали скот”. Так вели себя не только казаки. В декабре 1919 г. генерал Врангель говорил: “Добровольческая Армия дискредитировала себя грабежами и насилиями” (Деникин А. И. Очерки русской смуты. Октябрь. 1995. 11. С.132). Повстанцы зверски расправились с захваченным в плен красным командиром Лихачевым: “Живому выкололи глаза, отрубили руки, уши, нос, искрестили шашками лицо. Надругались над кровоточащим обрубок, а потом один из конвойных наступил на хлипко дрожащую грудь, на поверженное навзничь тело и одним ударом отсек голову”. Если придерживаться приемов исследования Медведева и Макаровых, то подобные картины выбивают почву из-под ног тех, кто в авторы “Тихого Дона” определил белогвардейского офицера.

На обсуждении “Тихого Дона” Шолохов сказал: “Правильно говорили, что я описываю борьбу белых с красными, а не борьбу красных с белыми” (На подъеме. 1930. № 6. С.172).”Эти слова, - делают забавное открытие Макаровы, - наглядно показывают чуждость Шолохова казачеству, непонимание им кишевшей вокруг борьбы. Сами казаки никогда себя белыми не считали и не называли” (№ 6. С.213). Бедный Шолохов! Сколь много он потерял, не посоветовавшись с Макаровыми! И все исследователи не заметили этой гнусной чуждости. Если же говорить о самой сути, то никуда не уйдешь от того, что одни казаки воевали вместе с красными, другие - с белыми. Профессор Л. А. Андреев, вышедший из старинного казачьего рода, пишет: “Вспомните огромные потери от раскола казаков на красных и белых” (Литературная Россия. 1993. 3 сентября). Хорунжий Павел Кудинов, вешенский казак, георгиевский кавалер всех четырех степеней, бывший командующий объединенными повстанческими отрядами, писал: “Донские полки белых держали фронт под Балашовым против красных. Штаб белых находился в Вешках” (Литературная газета. 1962. 28 июля). Не столь важно, как называли се-

бя казаки, самое главное - на чьей стороне они сражались. Шолохов изобразил трагические колебания казачества, основные герои его эпопеи оказались в стане белых.

Как же оценить заявление Макаровых о чуждости Шолохова казакам, о том, что он их очернил? Но не странно ли: они сами этого не заметили, восторженно отзывались и отзываюся о “Тихом Доне”, считали и считают, что там изображена сущая правда, высказывали Шолохову свою любовь и искреннее уважение. Предоставим слово Кудинову, который писал из Болгарии: “Роман М. Шолохова “Тихий Дон” есть великое сотворение истинно русского духа и сердца. ... Читал я “Тихий Дон” взхлеб, рыдал-горевал над ним, и радовался - до чего же красиво и влюбленно все описано, страдал-казнился - до чего же полынно горька правда о нашем восстании. И знали бы вы, видели бы, как на чужбине казаки - батраки-поденщики - собирались по вечерам у меня в сарае и зачитывались “Тихим Доном” - до слез, и пели старинные донские песни, проклиная Деникина, барона Врангеля, Черчилля и всю Антанту” (Литературная газета. 1962. 28 июля). И отметим одно важное признание в этом письме: “Скажу вам, как на духу, - “Тихий Дон” потряс наши души и заставил все передумать заново, и тоска наша по России стала еще острее, а в головах - просветлело. Поверьте, что те казаки, кто читал роман М. Шолохова “Тихий Дон”, как откровение Иоанна, кто рыдал над его страницами и рвал свои седые волосы (а таких были тысячи!) - эти люди в 1941 году воевать против Советской России не могли и не пошли. И зов Гитлера - Дранг нах Остен - был для них гласом вопиющего сумасшедшего в пустыне. И вот за это прозрение на чужбине тысяч темных казаков благодаря “Тихому Дону” и передайте Шолохову мой чистосердечный казачий земной поклон...”

Но все-таки надо вникнуть в аргументы Макаровых. Обосновывая мысль, что Шолохов в “Тихом Доне” очернил казаков, они утверждают, что все написанное в этой эпопее о Кузьме Крючкове является “злой клеветой”. Это доказывается его судьбой в гражданскую войну, когда он отважно воевал с красными. Но Шолохов не касается этого периода его жизни. О “подвиге” Крючкова он узнал “по устным рассказам сослуживцев Крючкова, одновременно с ним участвовавших в столкновении с немцами”, о чем сообщается в примечаниях ко 2-му тому собрания сочинений М. Шолохова (М., 1956. С. 409). Макаровым следовало бы с фактами в руках доказать, что Шолохов искажил суть изображенного куска жизни Крючкова. Нет их? В таком случае слова “злая клевета” бумерангом возвращаются к самим Макаровым.

Они берут на прицел другую сцену, где действует генерал Краснов, встречающийся с союзниками, сравнивает ее с тем, что тот сообщает в своих воспоминаниях, и заключают, что Шолохов без симпатий показал “неродное ему казачество”, а встреча союзной делегации, Краснова и его свиты “намеренно представлена пьяным сборищем шутов”. И засверкали разящие молнии: “Как легко и цинично обращает Шолохов трагедию в пошлый анекдот”. Он, бездумный и равнодушный, не воспринимает “трагичность событий”. Его “дополнения” к воспоминаниям Краснова - “это реакция дикаря на чуждое его пониманию явления” (№ 6.

С.199). Не по себе становится от такой озлобленности. Если изображенное Шолоховым несколько отличается от версии Краснова (об анекдоте не может быть и речи), то надо задаться вопросом: все ли точно отразил в своей публикации казачий атаман? И надо ли отказывать в праве писателю на собственное понимание изображаемых событий? А что сказать об утверждении, будто бы он, создавший глубоко правдивое произведение именно о трагедии казачества, всего русского народа, нисколько не разобрался в ней?

Шолохов был убежден, что наш народ должен сам - в своих истинных национальных интересах - уладить свои государственные дела, установить подходящий ему общественный строй. И не надо иностранцам вмешиваться в нашу междоусобицу. Такой настрой был и у Григория, который размышлял: "...союзники присылают офицеров, танки, даже мулов прислали! А потом будут за все это требовать длинный рубль". Он бы иностранцам "на нашу землю и ногой ступить не дозволил" и потому заявил английскому офицеру, прикомандированному к белым: "Езжай-ка ты поскорей домой, пока тебе тут голову не свернули. В наши дела вам незачем мешаться". В этом отразился народный патриотизм, подлинное достоинство русского гражданина, который хорошо понимал, что унижительно, постыдно России быть зависимой от иностранных держав.

Шолохов не ставил своей целью окарикатурить образ Краснова. Интересный факт сообщили В. Васильев и Ю. Дворяшин: "Во всех изданиях романа выступлению генерала Краснова перед "послами" держав Согласия предшествует лаконичная ремарка: "Краснов начал речь" (см., например, собр. соч. в 8 томах, т. 3. М., Художественная литература. 1985. С. 87). Между тем в рукописной редакции эта ремарка выглядит таким образом: "На хорошем французском языке Краснов начал речь". Слово "хорошем" далее вычеркнуто М. Шолоховым и заменено "отличном" (Литературная Россия. 1989. 3 ноября).

Шолохов осуждал то, что Краснов в борьбе с советской властью в гражданскую войну сначала опирался на помощь немцев, что вызвало критику даже со стороны генерала Деникина, а потом стал заискивать перед англичанами и французами. Известно, что далеко не бескорыстное вмешательство союзников в гражданскую войну только затянуло ее и стоило нашему народу огромных дополнительных людских и материальных потерь. В "Поднятой целине" Половцев и Лятевский обещают казакам, что если они восстанут, то будет иностранная помощь, а они решительно выступают против чужестранного вмешательства и говорят о союзниках: "Как бы тоже не пришлось их железякой с русской земли спихивать... Нет уж, мы тут с своей властью как-нибудь сами помиримся, а сор из куреня нечего таскать". В 1937 г. в речи перед избирателями Шолохов сурово отозвался о Краснове потому, что такие "политические пройдохи" говорили о любви к родине "и одновременно приглашали на донскую землю немецких оккупантов и потом так называемых "союзников" - англичан и французов. Говорили о любви к родине и одновременно торговали кровью казаков, обменивали ее на предметы вооружения для борьбы с советской властью, с русским народом" (8, 124).

Сейчас предпринимаются попытки кардинальным образом все переоценить, поставить вместо плюса минус и, наоборот, при рассмотрении сути русской истории, особенно ее советского периода, - и чаще всего это делается с позиций пещерного антикоммунизма. В средствах массовой информации отчетливо проявляется тенденция безмерно хвалить все то, что было до 1917 г., всячески приукрашивать тех, кто боролся с советской властью и даже докатился до прямого предательства родины.

Эта устремленность все поставить вверх ногами отразилась и на оценках генерала Краснова, его сотрудничества в годы Великой Отечественной войны с гитлеровцами, ошибочно считая, что он “присоединился к антисоветскому казачьему стану лишь за месяц до выдачи” его англичанами советским властям. Так ли это? Однажды Прийма встретился с П. Плешаковым, который рассказал ему о судьбе своего родственника Анисима: в 1942 г. генерал Краснов приезжал в обозе фашистов на Дон и “вкуче с фашистами повесил его за отказ служить Гитлеру. Верой и правдой когда-то служил Анисим генералу Краснову. Отступал с ним, а в 1922 году вернулся домой” (Литературная газета. 1962. 29 июля).

Рассуждения псевдодемократов о том, что Краснов воевал с большевиками, а не с русским народом - сказочка для легковверных. В годы Великой Отечественной войны советская власть была неотделима от русского народа. По верной мысли американского публициста В. Беляева, тогда “Россия невидимо и неведомо для своих детей победила не только национал-социализм, но и духовный тоталитаризм Интернационала” (Литературная Россия. 1992. 19 июня). Сходное суждение высказал и В. Распутин: “Ценой огромных жертв и страданий Россия переварила коммунизм и поставила его на службу государственности” (Литературная Россия. 1992. 17 января).

Глава 6. ПРОБЛЕМА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ТЕКСТА

Солженицын не сомневается в том, что “не Шолохов написал “Тихий Дон”, тем более что летом 1965 г. ему рассказали за ресторанным столом о том, как в 1932 г. к Петрову-Бирюку “явился какой-то человек и заявил, что имеет полные доказательства: Шолохов не писал “Тихого Дона” ...незнакомец положил черновики “Тихого Дона”, которых Шолохов никогда не имел и не предъявлял, а вот они - лежали, и от другого почерка” (Новый мир. 1991. № 12. С. 69). Петров-Бирюк, как хорошо знали его приятели, был “великими мистификатором”, рассказывая приведенную здесь байку, он был в сильном подпитии, и цена ей - ломаный грош.

В предисловии к работе Томашевской “Стремя “Тихого Дона” Солженицын утверждал, что “не хранятся ни в одном архиве, никому никогда не предъявлены, не показаны черновики и рукописи романа (кроме Анатолия Софронова, свидетеля слишком характерного)”. Но черновики и рукописи “Тихого Дона” предъявлялись авторитетной комиссии в 1929 г., а несколько лет назад Л. Колодный нашел их в одном из семейных архивов - сотни страниц рукописей, правку, несколько вариантов первой части, принадлежащие Шолохову, что доказано гра-

фологическим анализом. Но и это не остановило злопыхателей, так, Кацис заявил в “Русском курьере” (1991. № 19), что можно своей рукой переписать чужое произведение. 10 сентября 1994 г. в “Российских вестях” он опубликовал пасквиль “Читал ли Шолохов “Тихий Дон”?” Процитировав фразу из шолоховского письма Фадееву “Направляю вам свою рукопись вместе с фрагментами не вошедших в нее черновики”, он рассуждает: “Положим, друзья Шолохова действительно сохранили рукопись первого варианта книги. Но почему они не предали этот факт огласке, когда в 1965 году после присуждения “классику” Нобелевской премии в печати загорелись споры? Когда после выхода в свет книги Ирины Томашевской “Стремя “Тихого Дона” они переросли в скандал? Благодаря периодической печати обстоятельства дела были широко известны”. Кацис не может опровергнуть то, что Шолохов действительно посылал свою рукопись Фадееву и сообщал ему об этом в письме. Какие же претензии можно предъявлять писателю? И только руками можно развести, читая Кациса: “Странно, что Шолохов в течение сорока с лишним лет не смог вспомнить, кому он ее отдал. Что ему помешало? Загадка”.

Загадка строится на пустом месте. Откуда известно Кацису, что Шолохов не смог вспомнить? Л. Колодный в книге “Кто написал “Тихий Дон” подчеркивает: “Никто и никогда рукописи не прятал. Шолохов знал, в чьих они руках, был уверен, что в этих руках они никогда не пропадут, и оказался, как всегда, прав” (302). Тех же, у кого сохранились его рукописи, можно понять: упоминаемые Кацисом споры, переросшие в “скандал”, затронули узкую группу недругов Шолохова, для огромной массы почитателей великого русского писателя они были лишь свидетельством нравственного разложения известной части интеллигенции.

Историю с рукописями использовал В. Радзишевский для поношения Шолохова. В “Литгазете” от 24 мая 1995 г. он писал: “В автобиографии 1932 года он скромнее всего: “в 1925 году осенью стал было писать “Тихий Дон”, но после того, как написал 3-4 печатных листа, - бросил... Показалось, не под силу”. Но уже в интервью корреспонденту “Известий” в 1937 году 3-4 листа превращаются в 5-6, а в беседе со шведскими студентами в 1965 году - в 6-8. Сказалась охотничья натура. Кончилось тем, что Лев Колодный напечатал в “Московской правде” этот набросок. И он тянет на пол-листа”. Радзишевскому сильно мешает откровенная жажда уличить Шолохова во лжи. В статье “Рукопись “Тихого Дона” (Москва. 1991. № 10. С. 192-193) Колодный напечатал этот набросок, сопроводив своими разъяснениями: “В верхнем углу страницы дата: “1925 год. Осень”. Первая страница сохранившегося текста помечена цифрой 11. Последняя - цифрой 20. Чем это объяснить? Есть два ответа. Автор, сев за работу, вначале пронумеровал страницы. Первые десять страниц, возможно, его не удовлетворили. Начал второй раз с одиннадцатой. Так, мы знаем, он иногда поступал. Есть и второе объяснение: первые десять страниц Шолохов мог перенести в другое место романа, а начало написал новое, что он также делал”. Уже эти комментарии поправляют Радзишевского, но намного весомее другое: откуда известно ему то, что Шолохов, говоря о написанных листах до работы над первым томом, имел в виду

только этот набросок? Ведь кроме него, были другие куски текста, которые - в доработанном виде - вошли во вторую книгу "Тихого Дона".

В 1928 г. Шолохов говорил: "Так получилось, второй том написан раньше первого". Разночтения у Шолохова могли быть и потому, что наброски имели разную степень отшлифованности, некоторые из них поначалу не учитывались писателем, видимо, они казались ему слишком сырыми. В книге "Путь Шолохова" Лежнев сообщил: Шолохов рассказал ему о том, что работу над "Тихим Доном" он "начал с описания корниловщины, с нынешнего второго тома "Тихого Дона", и написал изрядные куски..." (90). И дальше: "Для второго тома автор использовал отдельные главы первоначального варианта романа "Донщина", над которым работал еще в 1926 году". Шолохов говорил И. Экслеру, что он "включил во вторую часть романа куски первого варианта из "Донщины" (Слово о Шолохове. С. 521). Как видим, речь идет об "изрядных кусках", отдельных главах.

Солженицын обвинил Шолохова и за то, что он не сумел сохранить свой архив во время Отечественной войны: "В 1942 г. ...Шолохов, как первый человек в районе, мог получить транспорт для эвакуации своего драгоценного архива предпочтительнее перед самим райкомом партии. Но по странному писательскому равнодушию не было сделано. И весь архив, как говорят теперь, погиб при обстреле". М. Мезенцев - без какой-либо аргументации - заявил: "Никуда не исчезал архив Шолохова. Во всяком случае, ко времени публикации "Судьбы человека" он еще существовал". Легендой является и то, что "в потере архива повинно НКВД, куда он якобы был сдан на хранение" (Вопросы литературы. 1991. № 2. С. 27). Но вот что Шолохов, заехав к своей семье в Уральск, писал П. Луговому 31 января 1943 г.: "Павел выехал в Вешки, чтобы захватить кое-что из имущества, в частности, перешли с ним мой архив, который хранился в райНКВД, и помоги ему добраться до Камышина, а оттуда уж мы его переправим как-нибудь в Уральск. Ребята, что осталось и осталось ли? - от моей библиотеки? Нельзя ли собрать хоть что-либо? Ведь немцев в Вешках не было, неужели свои растащили" (Литературная Россия. 1988. 27 мая).

Какой же предусмотрительный Шолохов, знал, что найдутся мезенцевы, которые будут упрекать его в махинациях со своим архивом и запаса в во время войны таким весомым документом! А в архиве, уверяет Мезенцев, хранились рукописи Крюкова!.. И надо же, и Луговой утверждает: "Архив Шолохова погиб. Это осталось на совести начальника районного отдела НКВД Федунца. Секретарь Шолохова Зайцев сдал архив Федунцу, он находился в комнате отдела НКВД, а как пропал, неизвестно. Видимо, когда отдел последним покидал станицу и ее заняли воинские части и отдельные бойцы, отбившиеся от воинских частей, его растащили по частям, и все погибло на полях войны". В дополнении к своим воспоминаниям Луговой сообщил, что, по словам аспиранта МГУ А. А. Пашкова, в июле 1942 г. группа бойцов "обнаружила в одной из комнат РО НКВД ст. Вешенская ящик с бумагами. Они штыками вскрыли его и обнаружили, что там бумаги, принадлежащие Шолохову" (Литературная Россия. 1990. 23 мая). Этот ящик привезли в хутор Волоховский Вешенского района и сдали офицеру. По свидетель-

ству Т. Зеленкова, бывшего второго секретаря Вешенского райкома КПСС, книги из шолоховской библиотеки, “полмешка документов, писем, несколько листов перечеркнутых рукописей” уложили 19 июля 1942 г. в кузов автомашины и отправили в путь. Шолохов сказал, что библиотека была отправлена в Сталинград.

По словам его дочери Светланы Михайловны, в ящик Шолохов положил “все то, что представлялось для него ценностью особой: автографы четырех книг “Тихого Дона”, главы “Донщины”, автографы первой и черновой вариант второй книги романа “Поднятая целина”, диплом Лауреата Сталинской премии, присужденной в 1941 году за роман-эпопею “Тихий Дон”, письма М. Горького, А. Серафимовича, Н. Островского, А. Фадеева, Т. Драйзера, Э. Колдуэлла, записные книжки, фенологические дневники и другие ценные бумаги. Помимо этого, он сложил в ящик адресованные ему письма и телеграммы Сталина”. Этот ящик, отданный Шолоховым для сохранения Вешенскому районному отделу НКВД, пропал. Письмо Сталина из архива, шолоховский мандат делегата 18-го съезда партии оказались в Институте Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК партии. Директор ИМЭЛ В. Кружков сообщил Шолохову, что “эти документы были найдены полковником 2-го танкового корпуса тов. Чепиго Д. Г. в Вашем доме в станице Вешенской при отступлении наших войск”. В 1964 г. Шолохов рассудил: “Эти документы были найдены не “случайно” и не в моем доме, а в здании райотдела НКВД при поспешном бегстве из Вешенской. Ящик этот был передан мною 12.6.42 г. на предмет отправки его в неугрожаемую зону” (Литературная Россия. 1990. 23 мая).

Отсутствие черновиков “Тихого Дона” было одним из доказательств, подтверждающих лживую версию о плагиате. Воспользовавшись этим, Солженицын поставил задачу, которую безуспешно пыталась решить Томашевская: “кончить работу воссозданием изначального текста романа”. Новую попытку решить ее предприняли Макаровы. Издательство “Горизонт, сопровождая переиздание книги Томашевской “Стремя “Тихого Дона”, заявило: “дотошности и убедительности” статей Бар-Селлы и Макаровых “трудно, кажется, что-либо противопоставить (Может, поэтому враз умолкли все защитники лауреата-классика, еще недавно грозившие предъявить “неопровержимые” доказательства и свидетельства?)” (123). Если бы работники “Горизонта” лучше следили за текущей печатью, то такого заявления не сделали бы. М. Золотоносов посчитал, что “после исследований Макаровых споры о существовании чужой рукописи и несостоятельности Шолохова можно считать пустыми: ее наличие доказано окончательно, кража Шолоховым чужого литературного труда сомнению не подлежит” (Московские новости. 1995. № 41). Об этом авторе можно сказать его же словами: у него “культура и образовательный уровень очень низкие”, что доказывается и неумением верно оценить научную несостоятельность опусов Макаровых и Бар-Селлы (на него он также ссылается).

О приемах “исследования” Макаровых выше уже говорилось, но необходимо остановиться на том, как они выполняли задание Солженицына. Уже в самой постановке задачи Макаровы, рассуждая об авторстве “Тихого Дона”, дают заранее подготовленный ответ: надо определить “исходный первоначальный текст рома-

на". Была, мол, чужая рукопись, тут нечего сомневаться. И затем: "А надежное выявление и определение характера и объема изменений, внесенные Шолоховым в исходный текст в процессе работы над романом, решит попутно и вопрос о плагиате - действительном или мнимом" (№ 5. С. 220). Но как же этот вопрос может быть мнимым, если есть полная уверенность в существовании "исходного первоначального текста", куда вмешался Шолохов, которому "не удалось коренным образом изменить первоначальный замысел". Все-то знают и умеют Макаровы, знают, что был неизвестный автор, знают о его замысле, знают и о тщетных попытках Шолохова изменить его, знают, как можно извратить содержание эпопеи, только не знают, не могут, не умеют доказать существование "двух принципиально отличающихся друг от друга слоев текста". А без этого все в их работе рассыпается в прах, все во власти недобрых субъективистских пристрастий и очевидных домыслов.

Медведев, уличая Шолохова, утверждал: "Там, где в рукописи у Шолохова был подстрочник, эскиз картины, он, как правило, не ухудшал эту картину, его молодой талант накладывался здесь на опыт и знания более зрелого, но менее талантливого автора" (215). Посылка и метода работы Макаровых еще более тенденциозны и примитивны. В своих поисках любого материала, способного изобличить Шолохова, они с необыкновенной легкостью сортируют изображенные в "Тихом Доне" факты и сцены, чтобы доказать наличие у него автора и соавтора: все, что прекрасно в нем, написал неизвестный пока литературный гений, а то, что можно посчитать неудачным, принадлежит Шолохову. Они убеждены в том, что он плохо знал прошлое своей страны и потому должен был выказывать незнание исторических событий в тех слоях текста, которые он написал сам.

В "Тихом Доне" говорится о "штурмовых офицерских отрядах", а они, утверждают Макаровы, воевали в составе Добровольческой, а не Донской армии, с которой соединились повстанцы. Ну и что из этого? Так ли важна для эпопеи эта неточность? Мешает ли эта "ошибка" постичь большую историческую правду? Встретив предложение "А на границе с Украиной молодые казаки... дрались с петлюровцами", Макаровы опровергают: "До ноября 1918 года Симон Петлюра был председателем Киевского губернского земства - и, естественно, летом 1918 года никаких петлюровцев не существовало" (№ 5. С.221). В декабре же, пишут они, действительно, шли бои. Но то, что Петлюра был председателем земства, не исключало возможностей формирования им отрядов своих вооруженных сторонников, не за один же месяц они были созданы. Но предположим, что Макаровы правы. Что из этого вытекает? "Тихий Дон" не научный трактат, не документальное, а художественное произведение, и не следует судить его по законам мелочного правдоподобия, фактического соответствия действительности во всех ее частных подробностях. Хабин как серьезное доказательство рассматривает то, что в "Тихом Доне" "были случаи искажения, допущенные, видимо, при переписывании с чужого текста (так скажем, город в Восточной Пруссии Stallupjnen был превращен в Столыпин (см. в статье З. Бар-Селлы в "Даугаве" 1 за 1991 г., с. 54). А также грубые ошибки в обозначении исторических реалий, например,

военных действий и их участников, среди которых фигурируют как не существующие полки, так и не участвовавшие в боях командиры” (58). Нельзя понять, почему ошибка с названием города допущена именно при переписывании с чужого текста. И почему Шолохов не имел права назвать такие полки и таких людей, которые в боях не участвовали? Ну, уличим Шолохова в том, что в таком-то бою участвовал не четвертый, а пятый полк. Разве такое отклонение от достоверности нарушает исторический смысл событий, их философию, большую историческую правду и тем более дает ли какое-то право искать в этом подтверждение мысли “о первоначальном тексте”, втором авторе?

Генерал П. Попов, участник белого движения на Дону, нашел, что в изображении в “Тихом Доне” военного совета в Ольгинской “все - от начала до конца - сплошное вранье - нет ни одного слова правды” (Дон. 1995. № 5-6. С. 86). Дело в том, что Попов не один раз, а дважды ездил в Ольгинскую, и без конвоя, к тому же писатель “совершенно исказил картину военного совета, ничего не сказав” о его “плане, назвал лиц, на совете не присутствовавших, не отметил, что против” его “предложения возражал один генерал Алексеев”. Но Шолохову не было нужды писать, что Попов дважды призвал в Ольгинскую, это ничего не прибавляло в обрисовке сути главных событий. Неверно, что ничего не сказано о плане Попова, в “Тихом Доне” он произносит речь перед присутствующими на совете, в которой вырисовывается его видение сложившейся обстановки: “Прикрываясь с севера Доном, мы в районе зимовников переждем события. ...из района зимовников, весьма обеспеченного фуражом и хлебом, мы в любое время и в любом направлении можем развивать партизанские действия” (3, 308).

Дальнейшая детализация плана Попова никакой дополнительной пользы идейно-художественному содержанию эпопеи не приносила. И можно - с немалым основанием - спросить: все ли хорошо запомнил Попов? Прошло много лет, и не подвела ли его память? Участник этого совета Лукомский представил ход его по-другому, хотя, видимо, в его воспоминаниях, использованных Шолоховым, были кое-какие неточности. В “Тихом Доне” говорится: “Поддерживаемый большинством своих генералов, Корнилов решил идти западнее Великокняжеской” (3, 310). Если прав Попов и ему возражал один генерал Алексеев, то надо было - следуй Шолохов его версии - объяснить, почему Корнилов все же решился отклонить поддержанные подавляющим большинством участников военного совета предложения Попова, а это выходило за рамки авторской задачи, поставленной в “Тихом Доне”.

Рисуя образ исторического лица, Шолохов стремился не отходить от истины. Он говорил: “И если в текст романа попадали биографические черты, то они полностью совпадали с действительностью” (Литературная газета. 1985. 5 июня). Вместе с тем ему приходилось учитывать общую концепцию произведения, ту идейно-художественную роль, какую играл в ней изображаемый герой.

Шолохов подчеркивал: “Художественная правда всегда выше и ценнее, чем правда факта” (Советская Россия. 1985. 19 мая). Эта мысль подтверждается его работой над образом Подтелкова, реального исторического деятеля, казака-

фронтовика, ставшего первым председателем Донского Совнаркома. Этот образ вызвал критические замечания. Л. Левин в "Литературном современнике" (1941. № 5) утверждал, что "Подтелков изображен в "Тихом Доне" недалеким, славобливым и мелким человеком". С ним не согласился Якименко: "Подтелков в изображении писателя выглядит сильной, даровитой личностью". Вместе с тем он посчитал, что "вопрос об освещении М. Шолоховым деятельности Подтелкова и Кривошлыкова требует более широкого подхода... В значительной мере историческая правда событий, происходивших на Дону в первой половине 1918 года, нарушается тем, что в романе почти не освещается деятельность большевистских организаций Ростова, Новочеркасска, Каменской, определившая во многом характер происходящего. В частности, в "Тихом Доне" совсем не упоминается о деятельности таких видных коммунистов, как Г. К. Орджоникидзе, Е. А. Щаденко. ...Шолохов как бы ограничил себя изображением Подтелкова и Кривошлыкова только в их отношениях с казачеством". Это-де приводило к недостаточно глубокому раскрытию исторической действительности" и "центральной идеи "Тихого Дона" - о всенародном размахе и непобедимости революции" (358-361).

Бирюков писал, что упреки Якименко необоснованны, что он допустил и фактическую неточность, сказав, что нигде не упоминается Щаденко. Он верно указал, что "ни одна эпопея, будь в ней даже десять томов, не может охватить всех фактов... Нельзя сводить эпопею к исторической энциклопедии, хронике, документу..." (Бирюков Ф. Художественные открытия Михаила Шолохова. М., 1976. С. 216). Якименко, выражая недовольство тем, что Шолохов показывал Подтелкова и Кривошлыкова "только в их отношении с казачеством", тем самым выказывал свое недопонимание основного замысла писателя, тесно связанного с раскрытием темы казачества во время революции, судьбы главного героя Григория Мелехова. Расширять эпопею в указанном Якименко направлении - это означало столь далеко отходить от жизни главного героя и его однохуторян, что связь с ними стала бы прорисовываться с излишней опосредованностью.

Идея эпопеи отнюдь не сводилась к раскрытию "всенародного размаха и непобедимости революции", такой ракурс не сделал бы "Тихий Дон" выдающимся художественным явлением мировой литературы. Шолохов сосредоточил главное внимание на внутренних противоречиях этого "всенародного размаха", на трагическом расколе самой народной массы. Говоря о Подтелкове, А. Хватов в книге "Художественный мир Шолохова" (М., 1970. С.143) заметил: "Критики не учитывали того, что Шолохов не ставил перед собой задачи дать копию исторического лица. Он создавал художественный образ, который содержал определенную идею и которому предназначалась определенная роль в образной системе романа".

В изданиях "Тихого Дона" до 1953 г. Подтелков выступал против наделения иногородних казачьей землей, был сторонником казачьей автономии. В последних изданиях это устранено, выброшена из числа участников экспедиции Зинка - "шмара" Подтелкова. Шолохов отошел от реального хода событий, изображая его расправу над полковником Чернецовым. Согласно историческим документам,

в самой жизни Чернецов был ранен в ногу и ехал на лошади. У Шолохова о ранении не упоминается, полковник шел пешком. В романе были уничтожены все 40 офицеров, взятых в плен, а в действительности “было убито лишь 9 человек, а остальным удалось добраться до своих” (Вопросы литературы. 1990. № 5. С.15). Были свидетельства и о том, что Подтелков зарубил Чернецова после того, как тот пытался выстрелить в него из маленького “Стеера”.

В издании 1953 г. в эпопее давалась сцена гибели Чернецова так, как сообщали о том ее свидетели, а в последующих изданиях Шолохов вернулся к прежней трактовке. В чем дело? Почему писатель так изобразил Подтелкова, что у читателя сразу возникает мысль о том, что он “поступил несправедливо, поправ нормы воинской чести и принципы человечности” (А. Хватов). Можно принять мысль Хватова, считающего, что в образе Подтелкова автор “показывает, как сложно и противоречиво в практическом деянии человека проявлялись революционная необходимость и субъективная воля” (143). Примем во внимание и то, что в избранной Шолоховым редакции ярче отражается “безжалостное противостояние двух полюсов” (Б. Соколов), “накаленность атмосферы, взаимная ожесточенность” (Ф. Бирюков).

Но трудно согласиться с Бирюковым, возражающим против того, что такой вариант “создает новую острую коллизию: Мелехов справедливо протестует и расходится с Подтелковым (такой глубокомысленный комментарий развил В. Гурра)” (218). До него Якименко не соглашался с тем, что расправа “с офицерами была одной из причин отхода Григория Мелехова от красных. На самом деле в “Тихом Доне” все обстоит значительно сложнее и эволюция Григория Мелехова определялась куда более вескими причинами” (369). Это, пожалуй, так, но не следует и преуменьшать влияния этой расправы на метания остро впечатлительного Григория, который готов был застрелить за это Подтелкова. Пробыв в лазарете неделю, он едет домой - и в это время “все еще не мог ни простить, ни забыть Григорий гибель Чернецова и бессудный расстрел пленных офицеров” (3, 270). Позднее в ответ на осуждающий вопрос Подтелкова перед самой его смертью он напоминает ему как о злодеянии об этой расправе.

Обвиняя Шолохова в незнании элементарных истин, Макаровы ухватились за слова Краснова, который, как изображено в романе, сказал делегатам союзников: “Вы видите представителей трех поколений. Эти люди сражались на Балканах, в Японии, Австро-Венгрии и Пруссии”. Макаровы прицепились к словам “в Японии”: не было там сражений. Да, не было, но Краснов мог так - в обобщенном плане - сказать, хорошо понимая, что перед ними стоят люди, знающие, где и когда воевала Россия с Японией. Здесь уместно сослаться на самого генерала Краснова, который, по свидетельству эмигрантского писателя Б. Ширяева, “сказал, что относится к Шолохову с большим уважением за то, что тот написал правду в “Тихом Доне” и что факты, касающиеся его (Краснова) собственной личности, представлены вполне правильно” (Вопросы литературы. 1989. № 8. С.188-189).

В первых изданиях “Тихого Дона” была фраза “В последнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий”, в 1941 г. после исправления она начиналась по-другому: “В предпоследнюю турецкую кампанию...” Сначала была допущена ошибка, и ее с удовольствием размалевывают Макаровы, домысливая: “Заменяв в тексте последнюю турецкую кампанию на предпоследнюю, Шолохов так ее и понимал как предпоследнюю относительно времени своей работы над романом” (№ 5. С. 221). Мысль никоим образом не доказана, обвинительный приговор объявлен. Для мало-мальски квалифицированного исследователя здесь нет предмета для спора. В предыдущем абзаце авторское повествование ведется в настоящем художественном времени, и совершенно ясно, что начало нового “В предпоследнюю...” соотносится с моментом действия произведения. Макаровы допускают то ли литературоведческое невежество, то ли преднамеренное игнорирование, что еще хуже, законов художественного творчества только для того, чтобы очернить писателя. Ссылки на сноски, где говорится о войне 1877- 1878 гг., - не доказательство, ибо примечания давались не Шолоховым.

В романе доктор, желая подчеркнуть неразбериху, бестолковщину, начальственную глупость командования в первую мировую войну, вспоминает “Записки врача”, из этого делается вывод, что Шолохов не понимал контекста, в котором “упомянута книга Вересаева”, он, мол, не знал ее содержания. Можно было бы согласиться с Макаровыми, если бы это произведение упоминалось в авторском повествовании, а не в речи персонажа. Они могли бы - при таком подходе - упрекнуть Шолохова в поразительном незнании творчества Пушкина и Гоголя, ведь один из членов повстанческого штаба писал Григорию: “...ты идешь со своими сотнями, как Тарас Бульба из исторического романа писателя Пушкина” (4, 227). Правда, Макаровы в качестве доказательства используют то, что Шолохов допускает чисто формальный - ошибочный - текст примечаний. Можно было бы принять в расчет эти обличения, если бы было точно установлено, что он имел непосредственное отношение к примечаниям.

Макаровых не останавливает то, что в некоторых случаях специально оговаривается их авторский характер, например: “Станицы имели каждая свое прозвище. Вешенская - Кобели (прим. автора)”. Отсюда ясно, что напрасно Макаровы считают все примечания то ли авторскими, то ли одобренными Шолоховым и, как бездарного школяра, отчитывают его: “Характер комментариев напоминает школьный учебник и рассчитан скорее на начинающих учеников. Современникам вряд ли имело смысл разъяснять, кем были Осмолов и Путилов, Арцибашев и Вересаев...” (6, 203). Не думаю, что такие суждения полностью справедливы, в 30-е гг. к чтению книг приобщались миллионы людей, не получивших хорошего образования, и потому комментарии к роману были не совсем излишни.

Следует учитывать и другое обстоятельство. Почетный профессор Ольстерского университета А. Б. Мэрфи, работавший над введением и комментариями к “Тихому Дону”, пришел к заключению, что многие изменения в нем были “сделаны без одобрения Шолохова, а в каких-то случаях даже явно против его

воли” (Вопросы литературы. 1989. № 7. С. 235). Так, например, случилось с изданием 1953 г., чего уж тут говорить о примечаниях.

Но примем во внимание и то, что молодой Шолохов действительно чего-то не знал, что-то мог перепутать, так это - по законам нормальной логики - и должно как раз подтверждать именно его авторство, если меть в виду злопыхательские утверждения о его недостаточной образованности.

Неточности в “Тихом Доне” были, и в такой крупномасштабной эпопее не могли не быть, сам Шолохов говорил во время встречи со шведскими студентами: “Писатели, особенно в таком сложном предприятии, как роман, ни в коей мере не гарантированы от ошибок - и в частных, и более крупных” (Литературная газета. 1985. 5 июня). Об одной из них он вспомнил: “...рисую эвакуацию Донской армии, я упомянул, что на рейде стоял английский линкор “Император Индии”. И, наивно полагая, что он оснащен примерно так же, как наши линкоры... написал, ничтоже сумняшеся, что линкор дал бортовой залп из двенадцатидюймовых орудий. ...Спустя два года я получаю письмо из Севастополя, кажется, от бывшего офицера царского флота, капитана первого ранга”, который заметил, что английский линкор был вооружен восьмидюймовыми орудиями. Интересно то, что Шолохов не стал исправлять эту неточность.

В “Тихом Доне” есть некоторые несоответствия в датах, в третьей книге Шолохов использовал старый календарь, в других главах исторические события даются по новому календарю. При работе с разными источниками - воспоминаниями, военными донесениями, разного рода архивными документами - Шолохов не все свел к единому календарному времени. Однако невозможно понять, для чего Макаровы восстанавливают “истинную хронологию описываемых событий”, исправляют в тексте “неправильные даты” и не принимают во внимание читательское восприятие, игнорируют важнейшую проблему - усиливается или нет от такого восстановления воздействие романного текста на читателей, ведь сама жизнь и ее художественное отражение основывается отнюдь не на одних и тех же законах. Отметим еще раз, что “Тихий Дон” - не специальное историческое исследование, не претендует на сугубо научную точность, читателю в общем-то безразлично, раньше или позже на столько-то дней произошло в самой действительности то или иное событие, в художественном произведении создается своя идейно-эстетическая система, свой хронотоп, свое соотношение времени и пространства.

В мнимонаучной работе Макаровых поражает разительное несоответствие посылок, дилетантских доказательств и клеветнических по своей сути выводов. Да, отдельные ключевые слова и их сочетания, даты, фамилии действующих лиц, некоторые подробности их участия в исторических событиях и извлечения из их выступлений на митингах, собраниях, совещаниях почерпнуты Шолоховым из воспоминаний, книг и статей 20-х гг., и это не содержит никакого криминала. Макаровым не удалось даже подступиться к доказательству своего заключения: “...неорганическое, механическое (?) соединение вставных эпизодов, созданных на основе минимально (?) переработанных ряда опубликованных в 20-е годы

книг, с основной частью текста (?) позволяет сделать вывод о том, что вставные и художественные эпизоды (вставные, получается, не художественные? А. О.) создавались разными лицами" (№ 6. С. 213). При непредвзятом - даже самом придирчивом чтении - "Тихого Дона" не заметишь ни "основного текста", ни "вставных эпизодов" (Макаровы при всем своем старании ничем не могут помочь отделить одно от другого), читателя захватывает, завораживает единое повествование, выполненное одной и той же гениальной рукой. Никто пока не привел ни единого факта, говорящего о том, что роман создавался разными лицами.

Хабин солидаризируется с Томашевской, в работе которой-де "убедительно доказывается, что "соавтором" были изъяты из протографа главы, которые должны были последовательно рассказывать о временных успехах донских повстанцев и о поддержке их крестьянами соседних губерний..." (Очерки... С. 59). Согласимся, на самом деле могли быть такие главы. Но почему они принадлежали не Шолохову? Неужели ничего не говорит "скептикам" то, что сказал он И. Экслеру: "Тихий Дон" имеет около девяносто печатных листов. Всего же мною написано около ста листов. Удалить пришлось листов десять" (Слово о Шолохове. С. 521)?

Хабин согласен с тем, что в "Тихом Доне" "обнаруживается манипулирование "соавтором" различными частями авторского текста, когда используются одновременно и наброски и окончательно отработанный текст, что ведет к повторению одного и того же (это показано, к примеру, в статье З. Бар-Селлы в "Даугаве" 1991,12, с. 97-99)". Но мысль о набросках и окончательном тексте как раз и не доказана. И никак невозможно связать все это с мифическим соавтором. Утверждение Бар-Селлы: "Начало десятой главы повествует точно о том же, что и начало двенадцатой главы" явно хромает, ибо, во-первых, оно все-таки не "о том же". В X главе центром действия является Григорий, а в XI - Петр Мелехов. Если же учитывать временной фактор, то в одно и то же время разные герои живут своей особой жизнью - и это может подлежать художественному изображению. Только непрофессионализм и предвзятость привели к чудовищному обвинению: "Тот, кто составил окончательную редакцию романа, не знал ни того, как роман писался, ни того, как он был задуман и исполнен" (Даугава.1990. № 2. С. 98). Пристроившись к Бар-Селле, Макаровы безапелляционно заявили: Шолохов не понимал "внутренней связи описываемых событий", и это отрицает "его авторство" (№ 6. С. 212). Вот бы и попытаться доказать, чего же Шолохов "не понимал", в чем заключается неорганичность соединения якобы разных в художественном исполнении эпизодов и как они отличаются по стилю и языку, но текст романа не дает никаких оснований для постановки и решения такой задачи, и потому в статье все строится на подленьких домыслах без каких-либо доказательств.

Не стоит тратить усилия, чтобы опровергать такие залихватские суждения Кациса, для которого Шолохов - классик в кавычках: "В целом роман представляет собой мозаику, в которой чередуются лирические, военные и исторические главы, практически не связанные между собой" (Российские вести. 1994. 10 сентября). И как только этого не заметили сотни эрудированных ученых, хорошо

разбирающихся в художественных достоинствах произведений... Вот еще одно “откровение” Кациса: “Многие мысли в книге не стыкуются. Так, в разных фрагментах отношение к первой мировой и к гражданской войне у Шолохова оказалось разным. А ведь роман, по идее, целиком написан в советское время, когда оба эти события отошли в прошлое и получили в сознании современников устойчивую оценку”. Обвинение брошено, а вот с доказательствами - сущая беда. Если бы были приведены факты, то можно было бы их то ли принять, то ли опровергнуть. А тут... Но вместе с тем спросим: разве обязательно должно быть у писателя одинаковое отношение к первой мировой, когда русские воевали с внешним врагом, и к гражданской войне, когда наши люди воевали друг с другом? И может ли быть “устойчивая оценка” истиной для гениального писателя? Радзишевский со злорадством вещает: “Никакого восторга не вызывают непрожеванные военные сводки из “Тихого Дона”. ...Обойтись в эпическом повествовании без сведений подобного рода Шолохов не мог, а оживить их не умел” (Литературная газета. 1995. 24 мая). Обличитель не хочет предположить, что Шолохов не считал нужным добиваться этого оживления. Но пусть это заключение окажется верным. И что из этого следует?

При анализе стиля эпопеи необходимо учитывать то, что разный материал оказывает разное сопротивление автору при его художественной обработке: одно дело писать о том, что автор самолично видел, наблюдал, о чем он мог узнать у своих станичников, другое - восстанавливать исторические события на основе научных работ и воспоминаний людей иного общественного круга и иных политических взглядов. Сам Шолохов самокритично признавался: “Наиболее трудно и неудачно, с моей точки зрения, получилось с историко-хроникальной стороной. Для меня эта область - хроникально-историческая - чужеродна. Здесь мои возможности ограничены. Фантазию приходится взнуздывать” (Известия. 1937. 31 декабря).

По наблюдению Л. Толстого, “у писателей, описывающих известный класс народа, невольно и слогу прививается характер выражения этого класса” (Толстой Л. О литературе. М., 1965. С. 720). С. Залыгин, начиная роман “Соленая падь”, хотел сперва “показать два лагеря - партизанский и белогвардейский”, но потом второй отбросил: прежде всего ему “показалось, что для описания каждого лагеря необходим свой собственный язык, а это двуязычие разрушило бы роман” (Вопросы литературы. 1969. № 6. С. 122).

Макаровы пишут о “грубом вмешательстве” Шолохова в “основной текст”, которое “слишком выделяется фальшивостью тона и надуманностью деталей”. Вот бы им показать и доказать это без грубого вмешательства в смысл произведения и без очевидной надуманности... Не получается! Они говорят о просчетах Шолохова в изображении Вешенского восстания, о том, что он “у другого автора... заимствовал материал для компоновки “повстанческих” глав, который имел полностью или в значительной мере заверченный вид” (№ 6. С. 214). И “доказывают” это тем, что нашли в них “разрывы в событиях и датах, провалы в развитии сюжета”. Предположим, что это так. Ну и что из этого следует? Это получи-

лось в результате сознательной авторской установки или писательского просчета? (Мысли о “другом” авторе снова оказались голенькими, без какого-либо обоснования.) Проигрывает от этого - и в чем - произведение? Как это воспринимается читателем? Почему нельзя допускать эти “разрывы” и так называемые “провалы” в сюжетном развитии? Писатели могут блестяще использовать подобные приемы в своих произведениях и добиваться выдающейся художественной выразительности.

Макаровы находят “нарушение последовательности и логики повествования”. Следовало бы доказать, что в “Тихом Доне” нарушается эта самая логика, но такое не под силу ни Макаровым, ни кому-либо другому. И почему нельзя писателям нарушать последовательность в изображении событий? Ведь это может давать поразительный художественный эффект, что подтверждается, например, романом “Русский лес” Л. Леонова. Макаровы “находят” у Шолохова нарушение не только логики, но и “здорового смысла”. Но этим-то характерен именно их опус: для дискредитации писателя они используют самые невероятные гипотезы.

Оказывается, “незавершенная чужая рукопись Шолоховым была частично уничтожена, а частично отредактирована и восполнена чужеродными заимствованиями для придания отдельным фрагментам текста видимости единства и последовательности повествования”, и получается, что у “Тихого Дона” “несколько авторов, этот текст не является органическим цельным, единым произведением (№ 6. С. 222). Роль Шолохова “могла быть лишь чисто внешней, механической ролью компилятора и редактора, но никак не создателя, не автора неповторимого художественного мира “Тихого Дона” (№ 6. С. 219). Несколько поправляя себя, в другой раз они заявляют: Шолохов был автором, “но не единственным”, “в основу опубликованного им текста положен другой “Тихий Дон”, написанный другим автором” (№ 11. С. 206).

Для обоснования этой клеветы Макаровы привлекают слова Шолохова, сказанные им в 1939 г. на 18-м съезде партии, подгоняя их под свои неблагоприятные домыслы, считая их актом признания писателем того, что он положил в основу “Тихого Дона” чужую рукопись. На самом деле, говоря о “чужой сумке”, он в аллегорической форме указывал на необходимость брать на вооружение все, что противник оставит на поле идеологического сражения, сам он также опирался на такие “сумки” при работе над эпопеей - на белогвардейские источники (воспоминания, газеты, статьи, - все, что могло помочь выяснить подлинную суть изображаемых событий). Об этом Шолохов писал 17 августа 1934 г. в “Комсомольской правде”, затем в декабре 1965 г. рассказывал на встрече со шведскими студентами.

Нет, не получить Макаровым, Медведеву, Бар-Селле, мелочным наследникам Герострата, тех пяти тысяч долларов (может быть, ставка сейчас увеличена), которые предлагают в США дать тому, кто докажет, что не Шолохов автор “Тихого Дона” (Комсомольская правда. 1981. 31 октября). Что касается Солженицына, одного из вдохновителей антишолоховской кампании, то можно привести замечания С. Бондарчука: “Пигмеи не могут простить молодому гению Шолохову

появления такого романа. И мне жаль, что в этой грызне участвует Солженицын... Потому что, не дай Бог, через какое-то время кому-либо взбредет на ум поставить под сомнение авторство и самого Солженицына” (День. 1993. № 24). Да, могут заявить, что он присвоил “Один день Ивана Денисовича” и “Матренин двор”, автор их был заключенным, который в ожидании скорой смерти отдал рукопись Солженицыну... Это может подтвердить, мол, текстологический анализ, сравните эти произведения с циклом “Красное колесо” - и сразу найдете серьезное стилевое отличие. Бондарчук, видимо, не знал, что еще 1 января 1971 г. историк-эмигрант Н. Ульянов утверждал в газете “Новое русское слово”: “Произведения Солженицына не написаны одним пером. Они носят на себе следы трудов многих лиц разного писательского вкуса и склада, разных индивидуальных уровней и разных специальностей. ...Один человек столько реальности вместить не способен”. В таком же духе высказалась М. Розанова: “Можно ли представить себе, что “Один день Ивана Денисовича” и “Октябрь шестнадцатого” написал один и тот же человек, что водила пером по бумаге одна и та же рука?” (Страницы русской и зарубежной печати. Мюнхен - Москва, 1988. С. 365). В. Кардин заявил: “Я принадлежу к тем, у кого “Двучастные рассказы” вызывают горестное недоумение. Неужто это рука автора “Одного дня Ивана Денисовича”...?” (Вопросы литературы. 1996. Март - Апрель. С. 32).

Выдающийся современный философ, социолог и писатель А. Зиновьев раз двадцать перечитывал “Тихий Дон”, он считает Шолохова одним “из величайших прозаиков в истории литературы вообще”, а “по поводу сомнений в авторстве Шолохова” заявил: “ У меня никаких сомнений нет. А если подходить так, как кому-то хочется, я берусь доказать, что “Войну и мир” написали 20 писателей, а Толстой компилировал их...” (Советская Россия. 1993. 22 мая).

Бичуя Шолохова, Солженицын писал в предисловии к опусу Томашевской “Стремя “Тихого Дона”: “Особенно поражает его поущение произведенной нивелировки лексики “Тихого Дона” в издании 1953 г. ...Стереть изумительные краски до серятины - разве может так художник со своим кровным произведением?” (6). Кацис сурово порицал Шолохова: “Шолоховеда были до глубины души возмущены состоявшимся в 1954 году изданием романа. Несколько сотен страниц общеизвестного текста в книге отсутствовали, столько же было дописано наново. Донской говор напрочь исчез... Шолохов говорил, что последний (Потапов. - А. О.) превысил свои полномочия... Хотелось бы знать, как 49-летний писатель, классическое произведение которого переиздается, отдал роман на доработку и после нее даже не ознакомился с версткой? В истории литературы не было примера, чтобы автор узнавал, о чем написана его книга, какие сюжетные линии и главы в ней появились и какие исчезли, только после ее выхода из печати” (Российские вести. 1994. 10 сентября). Сей измышлянт слишком доверился слухам и потому заговорил о новых сюжетных линиях и главах.

Инициатива “доработки” исходила свыше. В 12-м томе собрания сочинений И. Сталина, вышедшем из печати в 1949 г., было опубликовано его письмо Ф. Кону от 9 июля 1929 г., в котором говорилось о том, что “Шолохов допустил в

своем “Тихом Доне” ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова, Подтелкова, Кривошлыкова и др.” 3 января 1950 года Шолохов в письме, посланном Сталину, спросил, в чем он “ошибся и как надо понимать события, описанные в романе, роль Подтелкова, Кривошлыкова и других”. Ответа он не получил. Обстановка вокруг “Тихого Дона” осложнялась. В 1950 г. Маленков “дал указание обсудить на секретариате ЦК ошибку шолоховеда Г. Гоффеншефера. Один из криминалов - книга о Шолохове 1940 г. по причине, что в ней не были выявлены “недостатки произведений известного писателя в описании коммунистов” (Культура. 1995. 20 мая). В это время Фадеев вынужден был после критики в печати дорабатывать роман “Молодая гвардия”, расширять изображение роли партии в годы Великой Отечественной войны. В такой сложной обстановке Шолохов мог согласиться с тем, что необходимо внести изменения в художественную трактовку образов коммунистов в “Тихом Доне”, доработать сцены, связанные с экспедицией Подтелкова.

Однако Шолохов не был равнодушным ни к “Тихому Дону”, ни к другим своим произведениям. Ермолаев отметил: “Шолохов всегда неохотно шел на неизбежные уступки цензуре и упорно отстаивал оригинальный текст “Тихого Дона” от ее посягательств. Из-за его отказа существенно переработать третью книгу романа в политическом отношении печатание ее в “Октябре” было задержано почти на три года” (Русская литература. 1991. № 4. С. 38). Когда журнал без его согласия изъял при публикации эпопеи некоторые “сомнительные места (наставления Штокмана Котлярову, скорбь по убитому Петру, свидетельства о зверствах Малкина), Шолохов потребовал допечатать главы с этими сценами”. 26 сентября 1932 г. при подготовке к изданию 3-й книги “Тихого Дона” в ГИХЛе Шолохов написал работнику этого издательства А. Митрофанову: “Все три книги претерпели некоторую авторскую переработку. Никаких исправлений, выкидок и дополнений делать больше не буду. В 3 книге есть ряд вставок. Все эти куски были выброшены редакцией “Октября”. Я их восстановил и буду настаивать на их сохранении” (Гура В. Как создавался “Тихий Дон”. С. 402).

Шолохов был “редкостно взыскателен к себе” (Ю. Лукин). Он не хранил своих черновики, в частности, и потому, что, не уничтожай он их, - в его кабинете, по его словам, “негде было бы повернуться. Ведь приходится по десять раз переписывать отдельные главы” (Советская Россия. 1985. 19 мая). 7 апреля 1934 г. Шолохов писал Левицкой о работе над четвертой книгой “Тихого Дона”: “...главу эту писал я долго, и вышла она у меня так, что после того, как прочитал, - у самого в горле задрожало. Но потом постиг меня жесточайший припадок самокритики. Переделываю сейчас все ранее написанное (4-я кн.), в том числе и эту главу. Она почти завершающая, и надо сделать ее еще сильнее” (Дон. 1989. № 1. С. 159). Е. Серебровская, свидетельница его работы над “Поднятой целиной”, пришла к выводу: “Такого придиры к себе, каким был Шолохов, - поискать и все равно не найдешь. Ведь закончил же, сам об этом сказал, а все чем-то недоволен, все что-то правил, переписывал” (Нева. 1987. № 11. С. 152). В другом месте:

“Шолохов, седьмой раз уже переписавший или надиктовавший свою главу, все же был не вполне доволен и находил, что исправить” (157).

В начале 50-х гг. редактор “Тихого Дона” К. Потапов, выполняя указания начальства, превысил свои полномочия и внес такие изменения в текст произведения, которые огорчили Шолохова. 6 сентября 1951 г. он писал директору издательства: “Должен сказать, что Потапов - при всей его доброжелательности к роману - как редактор... не годится. Нет у него художественного вкуса, в любой правке вы увидите посредственного газетчика, вот в чем беда! Тут я совершил ошибку в выборе редактора, в чем и раскаялся, когда большинство его скопцовских изъятий мне пришлось восстанавливать, по сути, проделывая одну и ту же работу вторично” (Гура В. Как создавался “Тихий Дон”. С. 426-427). Но роман вышел в свет в новой - испортившей его - редакции, и Шолохов вскоре предпринял решительные шаги по восстановлению почти всех исправлений Потапова.

“Летом 1955 года Суслов вызвал И. Черноуцана к себе в кабинет, где уже сидел Шолохов, напомнил, что времена были сложные и потому в “Тихом Доне” от издания к изданию многое изымалось. И теперь нужно восстановить то, что уже можно восстановить. Вместе с Шолоховым И. Черноуцан отправился в Вешенскую, прожил там больше месяца. По различным изданиям он сводил за день листа два, этот сводный текст перепечатывался на машинке, утром Игорь Сергеевич приносил очередную порцию на подпись Шолохову. И Шолохов подписывал машинопись, не читая” (Литературная газета. 1995. 24 мая). Отсюда следует, что Шолохов, борясь за то, чтобы “Тихий Дон” дошел до читателей в подлинной редакции, потревожил высокое начальство, сумел переломить его отношение к внесенным изменениям в произведение. Можно предположить, что при всем уважении Шолохова к Черноуцану, к его художественному вкусу в цитируемой выше статье Радзишевского упрощается их совместная работа по восстановлению текста эпопеи. Не без авторского согласия, видимо, остался выброшенным эпизод с Зинкой при описании экспедиции Подтелкова, сохранилось измененным и его отношение к сепаратистским устремлениям казаков и к их нежеланию делиться с мужиками землей.

В восьмитомном издании “Тихого Дона” были восстановлены многие диалектизмы, но не все. Сам писатель считал, что он излишне увлекался ими. Он говорил в 1965 г.: “Я постепенно, понемногу освобождался от местных речений, потому что вначале ими злоупотреблял, наивно полагая, что вся Россия знает, как говорят у нас на Дону” (Литературная газета. 1985. 5 июня). Отметим: прочитав первую книгу “Тихого Дона” в 1941 г., И. Бунин был недоволен тем, что в ней “множество местных слов”. Вместе с тем надо иметь в виду, что Шолохов в одной из бесед “оказывал явное предпочтение более ранним редакциям “Тихого Дона”. Больше всего он любит, как он сказал, первое его издание. Он дал согласие на перевод с использованием “самых ранних редакций: для первых двух томов - редакция 1928 года; для последних - 1939 года” (Собр. соч. М., 1987. Т. 2. С. 11). В этих изданиях диалектные слова, характерные для Дона, использова-

лись наиболее часто. При определении канонического текста необходимо учитывать последствия многих влияний.

Видимо, следует восстановить такой отрывок, выброшенный в 1933 г.: “Обрабатывая его, думал в свое время Штокман Осип Давыдович: “Слезет с тебя, Иван свет Алексеевич, вот это дрянное, национальное гнильцо, обшелушится, и будешь ты кусочком добротной человеческой стали, крупинкой в общем месиве партии”. И т. д. Эта мысль о “национальном гнильце” характеризует важную направленность деятельности ретивых интернационалистов - устремленность к уничтожению национального своеобразия русского народа.

Семанов в статье “Искореженный “Тихий Дон” (Литературная Россия. 1994. № 1-2) обращается к тем изъятиям в тексте произведения, которые были приняты цензурой и редакторами. Но не все так просто, как ему представляется. Вслед за Медведевым он останавливается на окончании 3-й главы пятой части эпопеи, где в первых изданиях были фразы: “Жухлые надвигались на область дни. Гиблое подходило время”. Семанов пишет, что их “сняли, надо полагать, в борьбе с авторским “пессимизмом” или чем-либо похуже”. Но можно с большей основательностью высказать и другую версию: Шолохов, приняв предложение рецензента или редактора, убрал эти фразы потому, что это было продиктовано заботой о художественном совершенстве произведения, ибо в главе 19 говорится: “Все Одонье жило потаенной, придавленной жизнью. Жухлые подходили дни. События стояли у грани. Черный слушок полз с верхнего Дона...” Фраза о жухлых днях повторялась без острой необходимости.

Семанов в той же статье заявляет: “В “Тихом Доне” порой изымались не только строки, но и отдельные слова, но даже в этих случаях идейно-художественному смыслу произведения наносился грубый ущерб”. Он указывает, что, изображая ставку Корнилова в Могилеве летом 1917 года, Шолохов писал: “Шли гонцы с Дона от Каледина - ПЕРВОГО ИЗ КАЗАКОВ наказного атамана Области Войска Донского. Наезжали КАКИЕ-ТО штатские. ШЛИ ЛЮДИ, ИСКРЕННЕ ХОТЕВШИЕ ПОМОЧЬ КОРНИЛОВУ ПОДНЯТЬ НА НОГИ УПАВШУЮ В ФЕВРАЛЕ СТАРУЮ РОССИЮ, но были и стервятники, дальним нюхом чужавшие запах большой крови”. “Подчеркнутые слова, - утверждает Семанов, - изъятые из подлинного шолоховского текста с начала тридцатых годов”. Он полагает, что “из текста романа исчезла важнейшая политическая оценка того разнообразия сил, которые сосредоточивались вокруг знаменитого русского военачальника и героя”. Стоило бы согласиться с этим, если бы не одно обстоятельство: все эти “изъятые” фразы присутствуют в восьмитомном издании (М., 1957. Т. 3. С. 133-131).

Более серьезно его замечание об устранении из “Тихого Дона” такого отрывка: “Рабочие не имеют отечества, - чеканил Бунчук, - в этих словах Маркса - глубочайшая правда. Нет и не было отечества! Дышите вы патриотизмом. Проклятая земля эта вас вспоила и вскормила, а мы... бурьяном, полынью росли на пустырях... Нам не в одно время цвести...” Далее Семанов отмечает, что “Бунчук, после марксовской декларации, продолжает зачитывать статью Ленина ...где он

поносит Россию и призывает к ее скорейшему поражению. Листницкий, единственный из присутствующих в землянке офицеров, возражает Бунчуку, то есть по сути Ленину, но возражения его вот уже более шестидесяти лет скрыты от читателей. Не знают о том и литературоведы". Главное в этих возражениях - слова Листницкого: "Превращение войны народа в войну гражданскую, о, черт, как это все подло". Кое-что на самом деле утрачено в эпопее, но вместе с тем следует учитывать, что в ней осталось заявление большевика Бунчука о том, что он выступает за поражение России, что война с Германией закончится "не только революцией, но и гражданской войной". Осталось в "Тихом Доне" и резкое несогласие с ним Листницкого, заявившего: "По-моему, каких бы ни был политических взглядов, но желать поражения своей родине - это... национальная измена. Это бесчестье для всякого порядочного человека". Право же, ненужным преувеличением является утверждение Семанова о том, что "целые поколения русских и всех прочих читателей воспринимали не подлинный текст романа, а его искореженный, израненный список". Когда читаешь этакое: "Ленинская статья эта пронизана, как обычно, присущей ему лютой злобой по отношению к России", то можно сказать, что серьезный ученый вряд ли имеет право так писать - в угоду конъюнктурным соображениям. Деятельность Ленина можно и нужно анализировать и критиковать, но не стоит искажать ("как обычно", "с лютой злобой"), походя клеймить без весомых доказательств.

Можно согласиться с Семановым: "Тихий Дон" нуждается в дальнейшем изучении. Но не надо зачеркивать все, что сделано шолоховедом, уверять, что раньше они сочиняли "искомые диссертации", половина которых "пришлась на темы "Образы коммунистов в романе "Тихий Дон". В "Молодой гвардии" (1992. № 7) он тоже утверждал, что "соискатели "искомых степеней", посвященных преимущественно "образам коммунистов в романе", сделали все, чтобы очернить автора в глазах читателя" (259). Ни одним примером он не мог подкрепить свои выводы. Если посмотреть литературоведческие диссертации о Шолохове, то среди них не обнаружишь работ по заявленной критиком тематике. Зачем же наводить тень на плетень? Или, может быть, Семанов вспомнил свои статьи "Коммунисты "Тихого Дона" (В мире книг. 1976. № 6), "Большевики хутора Татарского" (Огонек. 1976. № 23), занялся самокритикой и по скромности умалчивает об этом?

Семанов заявил, что раньше "Тихий Дон" "топили в липкой патоке соцреализма". Не лучше ли вдумчивее отнестись к освещению этой проблемы? Иначе мы многого не поймем в развитии литературы 20 века. Наше литературоведение не зачеркивает, например, метод классицизма, где государственное начало в искусстве слова было явно обозначено. Почему же надо отбрасывать без изучения как слабых сторон, так и художественных достижений литературу социалистического реализма - важнейшую часть русской культуры нашего века? Отвергая существование метода социалистического реализма, невозможно глубоко и объективно понять коренные проблемы мировоззрения и идейно-художественное своеобразие творчества Шолохова. При получении Нобелев-

ской премии он сказал: "Я говорю о реализме, несущем в себе идею обновления жизни, переделки ее на благо человеку. Я говорю, разумеется, о таком реализме, который мы называем сейчас социалистическим. Его своеобразие в том, что он выражает мировоззрение, не приемлющее ни созерцательности, ни ухода от действительности, зовущее к борьбе за прогресс человечества, дающее возможность постигнуть цели, близкие миллионам людей, осветить им пути борьбы" (Правда. 1966. 12 декабря).

Глава 7. ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФИНАЛА "ТИХОГО ДОНА"

"Тихий Дон" охватывает 10 лет истории России - с 1912 по 1922 г., в нем широкий разворот событий, судьбоносных для русского народа, много ярких человеческих характеров, представивших разные социальные слои нашей страны, раскрыты существенные закономерности переломной эпохи.

Центральная тема "Тихого Дона" - казаки в революции, она включила в себя колоссальные по своей социально-исторической значимости события, ожесточенные классовые битвы, глубоко, с предельной правдивостью раскрыла социально-политические и нравственно-психологические особенности всей русской нации. "Тихий Дон" с полным основанием относят к жанру эпопеи: в нем изображен дух русского народа в критический момент его жизни. Возникая в такое переходное время, эпопея особым образом отвечает на его насущные идейно-эстетические потребности. Будучи синтетическим жанром, она освещает коренные начала в жизни народа, наиболее устойчивые нравственные национальные качества. Социальное отражается в ней в решении проблемы: человек и общество, личность и эпоха, личность и история. Личное и общественно-политическое связаны одним узлом, судьбы героев зависят от хода истории, вместе с тем они не пассивные исполнители ее диктата, они сами активно творят ее.

В эпопее герои представляют весь народ, отсюда проистекает многообразие персонажей, а автор уподобляется древнему летописцу, который, как бы скрывая свои эмоции, описывает с полнейшей объективностью жестокое революционное время. И получается, что Шолохов в "Тихом Доне" как бы стоит над схваткой, что является характерной жанровой закономерностью эпопеи. Не осознавая этого, в 30-е гг. некоторые критики посчитали такую особенность авторской позиции "органическим пороком", который привел Шолохова "к ряду идеологических срывов" (Г. Колесникова).

Он много внимания уделяет Григорию Мелехову как главному герою, его семье, отцу, матери, брату, сестре, любимым женщинам, они предстают - в художественно-композиционном плане - не только как "помощники" в раскрытии его характера, но и как полноценные персонажи, ведущие свои самостоятельные партии. Они раскрывают себя, свои позиции и в поступках, и в мыслях, переживаниях, они получили право на внутреннюю речь. То же самое можно сказать о людях различных классов и политических сил - о Степане Стахове, Мироне Коршунове, Прохоре Зыкове, Лагутине, Котлярове, Мишке Кошевом, помещике-офицере Листницком, генерале Богаевском.

Говоря о жанровых особенностях “Тихого Дона”, сошлемся на заключение А. Бритикова: “Тихий Дон” широк, и все же, если говорить об эпичности, то она не столько в полноте охвата жизни, сколько в особом изображении народных масс. В романе Шолохова “мыслью народной” проникнуто все: и философско-исторический фон, и характеры, и бытовые картины, и массовые сцены, и поэтика образов природы, и богатая песенная стихия, и невиданное в русской литературе со времен Гоголя использование областного языка” (Бритиков А. Мастерство М. Шолохова. М.;Л., 1964. С. 3). Народный взгляд - сложный, противоречивый, включающий в себя переплетение и противостояние разнообразных интересов - пронизывает художественное изображение кульминационных моментов бурной революционной эпохи. В эпосе присутствует восприятие разными - по своему социальному положению и политическим позициям - второстепенными и даже эпизодическими героями многих событий, но это подчиняется главенствующей в произведении обобщенно-народной точке зрения.

В. Литвинов в книге “Михаил Шолохов” (М., 1985), отметив “умение художника целиком окунуть читателя в субъективную стихию чувств, размышлений и переживаний “этой”, совершенно конкретной личности”, подчеркивает, что у Шолохова “создана народная, коллективная психология”: “Глубины народной психологии тесно взаимодействуют с определенностью народного взгляда на происходящее, с представлениями народа о действительности, о том, как и куда она идет” (61-62). Он верно считает, что “понятие народной психологии - ключевое, в каждой шолоховской странице отзывается биение сердца народного” (62).

Народная точка зрения опирается и на широко разлитый в эпосе фольклор. По определению Л. Ершова, “Тихий Дон” песеннее, лиричнее, открыто фольклорнее, нежели те эпические произведения, которые знала мировая литература. Шолоховская эпопея заимствует у народа не только оценку общественно-исторических событий, нравственные критерии, но и непосредственный художественный материал (песни, пословицы, поговорки)” (Могучий талант. С. 97). Действительно, в “Тихом Доне” представлены и забавные истории, и прибаутки, шутки, насмешки, анекдоты, рассказы-бывальщины, побаски, крылатые слова и выражения, Шолохов с исключительным мастерством передает разноголосый народный говор, использует сказовую манеру повествования, напевные интонации, включает в текст народные песни, характеризующие душевную настрой казаков, их переживания и чувства, индивидуальные черты персонажей. Все это усиливает эпичность произведения.

Характерной чертой эпоса считается и то, что в нем с максимальной возможностью используется все многообразие художественных средств изображения. В “Тихом Доне” есть задушевные лирические отступления, комические эпизоды, драматические и трагические сцены - повествование отличается щедрой многоцветностью.

Эпическая основа “Тихого Дона” предполагает, что в романе действует эпический герой, который отражает определяющий дух народа, движение истории, те изменения, какие вносила в самосознание народных масс революционная

эпоха. В таком образе должны соединиться человек и история. В. Щербина справедливо писал, что в “Тихом Доне” Шолохов раскрыл “одну из решающих проблем всемирной литературы - проблему соотношения объективных законов истории и самооценности личности” (Михаил Шолохов. М., 1980. С. 16).

Григорий стоит в центре повествования, он сталкивается по ходу действия произведения с представителями различных общественных сил, классов и социальных групп, и это усиливает его эпическую основу. Эпичность образа Григория коренится в том, что он с наибольшей силой отразил в себе сокровенные помыслы миллионов людей в эпоху революции: это и устремленность к наивысшей социальной справедливости, к всеобщему миру, и опасение, что казаки потеряют свою землю, и нарастающая ненависть к “верхам”, и тяжкие раздумья о судьбе России, и глубоко интимные переживания, в той или иной степени связанные с могучим шквалом революционных потрясений. И все это отразилось в развитии основной нити сюжета.

Когда выше говорилось о народном взгляде на изображаемую в эпосе жизнь, то, естественно, большую роль в его выражении, художественном обозначении играет образ Григория Мелехова. Однако он со своей чрезвычайно извилистой судьбой не всегда адекватно отражает настроение подлинно народное, не всегда его позиции сходятся с глубинными позициями основной массы казачества. Расхождения Григория и народа художественно фиксируются поступками и рассуждениями других персонажей, ориентирующихся на народную мораль.

Во время отступления Донской армии Григорий раздумывает о том, что новая власть ничего хорошего не даст казакам, да и к тому же он понимает, что ему, бывшему командиру повстанческой дивизии, придется держать суровый ответ за прошлые дела. Он еще не считает, что ему надо как можно быстрее выйти из войны. А его ординарец Прохор знает, что народ смертельно устал от братоубийственной борьбы, и потому готов примкнуть к кому угодно, но только чтоб он был “против войны”.

Эпический характер “Тихого Дона” как бы предваряется, раскрывается отрывками из старинных казачьих песен, говорящих о былых временах, насыщенных кровавыми событиями. В них обозначен народный взгляд на то, что будет изображено в эпосе:

А засеяна славная земляшка казацкими головами,
Украшен-то наш Тихий Дон молодыми вдовами,
Цветен наш батюшка Тихий Дон сиротами,
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими, материнскими слезами”.

В. Гура отметил чрезвычайную сложность процесса революционного обновления нации, трагический разлом в ней, несовместимость стремлений и интересов различных классов: “Эпос” и трагедия органически слились в характере центрального героя, познавшего всю сложность социальных столкновений эпохи” (Как создавался “Тихий Дон. С. 211). “Тихий Дон” содержит в себе мощную стихию трагического. В жанровом плане его можно определить как трагическую эпопею.

Н. Маслин в монографии “Роман Шолохова” (М.,1963. С. 74) возражал против такого определения, полагая, что “представители контрреволюции не могут быть героями трагедии”. Не станем комментировать это спорное утверждение, но отметим: говоря о “трагической эпопее, он утверждает, что “присутствие в произведении трагического элемента еще не дает основания, чтобы считать это произведение трагедией по жанру” (75). Не очень-то здесь понятно, с кем и почему он так странно спорит. Никто и не возражает против высказанной И. Ермаковым мысли о том, что трагическое в “Тихом Доне” есть форма существования и выражения эпического содержания книги. Маслин пишет, что “трагическое содержание подчинено в “Тихом Доне” решению задач, эпических по своему существу”, “присутствие трагического элемента не нарушает жанровой определенности “Тихого Дона” как эпического произведения, как эпопеи” (76-77). Вот эту особенность и подчеркивает определение “трагическая эпопея”. Суть ее раскрывает А. Монакова: “В судьбе Григория Мелехова Шолохов показал исторический процесс революционной ломки, как он совершался в самой глубине народных масс, раскрыл трагические коллизии, рожденные социальной неоднородностью народных масс и противоречивостью процесса революционного бытия этих масс, столкновение личного с необходимостью. Герой эпического склада прошел через все испытания и страдания, через трагедию. ...Эпосом XX века делает” это произведение его “существенная особенность - включение трагического в художественную структуру эпики. То новое, что дает мировой литературе Шолохов, состоит в соединении оптимизма и трагедийности, философии и историзма” (Творчество М. Шолохова. Л.,1975. С. 68-70).

В начале третьей книги, где изображено Вешенское восстание, приводится старинная казачья песня о "славном тихом Доне":

Ты кормилец наш, Дон Иванович,
Про тебя лежит слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая...
Но случилась беда:

А теперь ты, Дон, все мутен течешь,
Помутился весь сверху донизу.

Все перемутила революция и гражданская война, и о глубинных причинах жесточайшей смуты на Дону есть символический намек во второй казачьей песне в первой книге:

Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь?
Ах, как мне, тиху Дону, не мутну течи!
Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют,
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит.

Сама казацкая история, борьба казачества за свободу и вместе с тем возникшее в нем социальное расслоение стали теми студеными ключами, которые мутили сознание людей на Дону, а это использовалось белогвардейцами в своих целях. Казаки оказались между революционным народом и контрреволюцией.

Основной исторический конфликт “Тихого Дона” - противоречия восставших казаков, с одной стороны, с красными, а с другой - с белыми. Казаки ошиблись, выступив против советской власти, если иметь в виду последствия их восстания. Но вместе с тем эта их “ошибка” помогла в какой-то мере понять свои заблуждения и самим большевикам, которые приняли чудовищный план расказачивания и наделали ряд грубых ошибок по отношению ко всему русскому крестьянству, что серьезно осложнило жизнь всего нашего народа.

Главный конфликт “Тихого Дона” трагичен. Трагично страдание всего народа, в том числе и казачьей массы. Трагично не только то, что восстание принесло много тысяч ненужных жертв, но и то, что русские воевали с русскими, трудящиеся с трудящимися. Трагическое в “Тихом Доне” - это неизбежность крови и жертв, потерь и страданий. Трагична неизбежность ошибок и заблуждений. Все это сказалось на судьбе героев “Тихого Дона”, семьи Мелеховых, в том числе и Григория. Трагичны переживания и гибель прекрасной русской женщины Натальи, наполненной большим человеческим и женским обаянием. Она пала жертвой беспредельной любви к Григорию, который стал виновником гибели и смелой, правдивой, гордой и мятежной Аксиньи. Страдания и смерть этих женщин подчеркивает трагизм судьбы Григория и его вину.

В эстетической науке говорится, что трагично страдание возвышенной благородной личности, до конца сохраняющей высокие нравственные качества, если это страдание связано с историческим движением. И это независимо от того, приводит ли такое страдание к гибели личности или нет. Такая личность должна воплощать существенные стороны идеала художника, его представления о прекрасных началах в человеке.

У Григория много привлекательного, прекрасного. По мысли А. Хватова, в образе Григория определяющим, доминирующим выступают “высокие нравственные качества как достояние нации, как знак ее величия и силы”. Еще более решительно заявила Л. Киселева: “На всех этапах сложного жизненного пути Григория в нем проявляются черты человека будущего. Для него открыт и доступен мир возникающих гармонических человеческих отношений. Именно потому, несмотря на все свои заблуждения, Григорий не теряет связи с народом, предстает как трагический характер, постоянно, органически связанный с хоровым народным пафосом эпопеи” (Проблемы социалистического реализма. М., 1961). Он гордый, честный, прямодушный, волевой, темпераментный, с острым умом и свобододолюбивым горячим сердцем. Он настойчиво ищет путь к справедливой жизни.

Сюжетное развитие образа Григория и его трагическая тема определяют построение “Тихого Дона”. В этом образе глубоко сконцентрировалось понимание темы “казаки в революции”, переросшей в более глобальную тему “личность и история”. Жизнь Григория очень противоречива и запутанна, он непрестанно мечется, разъедается сомнениями, внутренней борьбой. Дважды он воевал за советскую власть, трижды - против нее. Раздумывая о своей судьбе, Григорий однажды признался: “Я с семнадцатого года хожу по кривым дорожкам, как пья-

ный качаюсь... От белых отбился, к красным не пристал, так и плаваю, как навоз в проруби” (5, 380).

И не парадокс ли: он ненавидел интервентов и белогвардейцев, а оказался вместе с ними. Почему так случилось? Кто виноват в этом: жизнь, история или он сам? Древние греки ответили бы просто: такова судьба, таков рок. В трагедии Софокла “Царь Эдип” судьба - главный двигатель событий, страшное предсказание неумолимо сбывается. Эдип, не желая того, убивает своего отца Лая, становится мужем своей матери и одновременно братом своих детей. За ошибку отца, проклятого за неблагодарность, Эдип расплачивается несчастьем своего рода. Трагический рок преследует его.

Каковы причины разительных колебаний Григория, почему у него сложилась такая несчастливая, поистине трагическая судьба? На эти вопросы даются разные ответы. В. Кирпотин видел причины колебаний Григория в его малограмотности и эгоистическом настрое, а затем находил у него более серьезное: “...в межеумочной позиции Григория, в его стремлении к личному покою... проявилась более косная, более реакционная и более страшная сила, чем простая малограмотность, - сила ограниченности и идиотизма деревенской жизни, сила сословной исключительности, толкающая к полуанархическому бандитизму, сила тупого упорства собственника, сопротивляющегося трудовой правде социализма” (Кирпотин В. Пафос будущего. М., 1963. С. 154). Лежнев в своих первых работах в качестве главной причины выдвигал две души Григория - душу труженика и душу собственника, а также экономическую обеспеченность и сословную замкнутость казачества. В монографии “М. Шолохов” (1958) трагедию Григория он связывал в основном с “крушением иллюзии сословности”. Якименко, делая упор на двух душах крестьянина-труженика, развивал теорию отщепенчества. В 1982 г. в “Избранных работах” (т. 2) он уточнил свою позицию, критикуя себя “за весьма заметное упрощение” (169). В 1983 г. Шолохов в телеграмме С. Шешукову подчеркнул, что “концепция” Л. Якименко “построена на антиисторизме, незнании правды жизни, и потому она потерпела крах” (Наш современник. 1985. № 5. С. 187). Емельянов, а за ним и Бритиков обосновывали теорию исторического заблуждения. Ершов подчеркивал нравственно-этические причины.

Колебания Григория исследователи связывают с взрастившей его социальной средой. Сам Шолохов так объяснил его “шаткость”: “Григорий Мелехов в моем мнении является своеобразным символом середняцкого донского казачества. ...не один Григорий Мелехов и не десятки Григориев Мелеховых шатались до 1920 года, пока этим шатаниям не был положен предел” (На литературном посту. 1929. № 7. С. 44). Спустя много лет Шолохов говорил: “...в социальном облике Григория Мелехова воплощены черты, характерные не только для известного слоя казачества, но и для крестьянства вообще. Ведь то, что происходило в среде донского казачества в годы революции и гражданской войны, происходило в сходных формах в среде уральского, кубанского, сибирского, семиреченского, забайкальского, терского казачества и среди русского крестьянства” (Учен. зап. Магнитогорск. пед. ин-т. 1957. Вып. 4. С. 64). Если верхнедонские казаки подняли

восстание против советской власти, то подобное случилось и на Тамбовщине, и в Сибири, и на Украине (Махно), и в Кронштадте. Тут возникает одна из сложнейших проблем, поставленных в "Тихом Доне", - проблема отношения к крестьянству. И не только к нему, но и вообще ко всем тем людям, которые не хотят или не могут принимать правду ни одной из сражающихся сторон во время гражданской войны. И не случайно в середине 30-х гг. Шолохов высказался так: "У Мелехова очень индивидуальная судьба, в нем я никак не пытаюсь олицетворить среднее казачество. От белых я его, конечно, отобью, но в большевика превращать не буду. Не большевик он" (Известия. 1935. 10 марта).

Григория нельзя строго прикрепить ни к одной социально-психологической группе. Ю. Лукин верно указал, что он выходит "за рамки и специфику казачьей среды Дона 1921 года и вырастает до типического образа человека, не нашедшего своего пути в годы революции" (Литературная газета. 1940. 1 марта). Эту мысль развивает и уточняет А. Метченко, писавший о Мелехове: "...в наши дни он уже воспринимается не только как образ заблудившегося на перепутьях истории донского казака, а и тип эпохи. В его судьбе найдут много близкого для себя и те, кого неумолимый ход истории ставил перед необходимостью крутого поворота в своей судьбе" (История русской советской литературы. М., 1983. С. 282).

В нравственно-психологических качествах Григория: его свободолюбии, глубоко патриотизме, правдоискательстве, нравственном максимализме, могучем чувстве собственного достоинства, обостренной совестливости, справедливости - нельзя не видеть огромный потенциал общечеловеческого. В образе Григория сконцентрированы коренные качества не только казачества и русского крестьянства - это поистине национальный тип русского человека в эпоху революционных преобразований.

В нем воплотились самые существенные нравственные качества русского народа. С молоком матери Григорий унаследовал благородное гуманное чувство, жалость и любовь к людям и всему живому. Ему жаль подрезанного утенка, он бросается на защиту изнасилованной горничной Франи, тяжело переживает то, что в бою "срубил человека", австрийца. Он ищет гармонии и полной справедливости - и нигде не находит, и в этом коренится один из источников его метаний и страданий. На его характере отложило свой отпечаток воспитание, основанное на патриархальных началах, чувстве сословного единства, почитании казачьих традиций, что воспитывало смелость, лихость, находчивость. У казаков, не знавших крепостного права, было сильнее, чем у обычного крестьянина, развито чувство собственного достоинства.

Революция существенно поколебала то, что было заложено в Григории патриархально-казачьим укладом жизни. Он ищет правду, справедливость. Он выступил с оружием в руках против офицерского отряда Чернецова не только потому, что тот не посчитался с казаками, вероломно выступил против них в то самое время, когда они вели переговоры с Калединым о передаче ему власти мирным путем. В этом проявилось влияние и общественно-политической обстановки, революционных лозунгов, призывающих к борьбе за свободу, правду, равен-

ство, социальной справедливости и вместе с тем воздействие того общечеловеческого, что несла с собой революция. Это общечеловеческое сказалось в поведении Григория и тогда, когда Подтелков без всякого суда расправился с пленными офицерами Чернецова. Убивать безоружных пленнх - с этим не мог мириться Григорий. В начале германской войны он чуть не убил Чубатого, когда тот зарубил пленного австрийца. Воюя против большевиков, командуя сотней, "он не приказывал уничтожать и раздевать пленнх. Чрезмерной мягкостью вызвал недовольство среди казаков и полкового начальства" (4, 88). Его даже понизили из-за этого в должности. Желая облегчить страдания красного командира Лихачева, попавшего в плен, он "при свете лампы промыл и перевязал ему раненое плечо" (4, 205). Узнав, что смерть угрожает Кошевому и Котлярову, он спешит выручить их, думая: "...выручить Ивана, Мишку от смерти! Выручить, кровь легла промеж нас, но ить не чужие ж мы?!" (4, 341).

Острая отзывчивость на чужую боль, немалый спрос с себя, чувство собственной вины - характерные особенности Григория. Зарубив в бою четырех матросов, он, страшно переживая случившееся, резко осуждает себя: "Кого же рубил! - И впервые в жизни забился в тягчайшем припадке, выкрикивая, выплевывая вместе с пеной, заклубившейся на губах: - Братцы, нет мне прощения! Зарубите, ради бога... Смерти предайте!" (4, 282). О мужественной самокритичности Григория свидетельствуют и его слова, сказанные Наталье: "Неправильный у жизни ход, и может, и я в этом виноватый..."

Для Григория ценно в людях то, что характеризует их подлинную человечность, высокую порядочность, благородство. Он восхищается тем, что красный командир на допросе не выдает своих. Он мечтает о таких порядках, которые учитывали бы народные представления о справедливом мироустройстве жизни, приносили бы полное нравственное удовлетворение.

В своих метаниях, неустанных поисках он пришел к выводу, что путь к такой жизни лежит между белыми и красными. Он стал осознавать себя защитником казачьей земли от посягательств мужиков, которых ведут большевики. Иллюзия о независимом казачьем государстве стала верой Григория. Ему показалось, что стоит казачеству попытаться отвоевать себе независимость от России. А для этого, как писал Б. Дайреджиев в своей книге "О Тихом Доне" (1962), надо было объединить "против пролетарской революции широкие демократические слои казачества, собственными силами отстоять наиболее полный объем буржуазно-демократических свобод и прав" (41). Но в действительности казацкая демократия была быстро подмята контрреволюцией, сразу же после соединения с повстанцами белые стали наводить свои привычные порядки. Отчаянная попытка реализовать на деле идею независимого демократического казацкого государства выявила свою бесперспективность, привела к гибели тысячи людей, что разрушило идейную основу восстания. Третьего пути не оказалось.

Б. Емельянов писал, что в образе Мелехова, в казацком восстании отразились результаты "всемирно-исторического заблуждения" казачества. В Григории есть "чувство справедливости, доводящее его до самозабвения и смертельного

риска, его благородство, свежесть и чистота восприятия явлений мира и его мужество ответного действия на них” (Литературный критик. 1940. № 11-12). Крушение идеи о самостоятельном казачьем государстве вызвало в нем апатию и опустошенность. Дорогие ему идеалы разрушены, неумолимый ход истории раздавил их. Донской правдоискатель не видит реальных путей к такому общественному строю, который бы обеспечивал человеку право жить по законам полной справедливости, нравственной гармонии.

Л. Ершов справедливо не согласился с А. Чичериным, который в книге “Возникновение романа-эпопеи” трактовал Григория как бунтаря, “не понявшего и отвергшего революцию”. Он многое понял, почувствовал - не только то хорошее, что она несла трудовому народу, но и те опасности, какие могут исходить от новой власти. Новое рождалось в тяжких испытаниях, горчайших муках, попирая и уничтожая старое настолько мощно и часто неосмотрительно и неоправданно, что сама жизнь, люди не только приобретали очень ценное, но и теряли нечто важное, что должно было бы еще служить обществу и народу. Гуманные гражданско-этические принципы, провозглашенные советской властью, захватили души трудовых казаков и крестьян, в том числе и Григория, но он замечает и такое, что не красит ее: лозунги провозглашаются очень привлекательные, а на практике вершится нехорошее. А что будет, когда власть укрепитя, когда новое начальство почувствует себя прочно сидящим в своих креслах? Это беспокоило Григория. Начальник штаба сказал ему: “С одной стороны, ты - борец за старое, а с другой - какое-то, извини меня за резкость, какое-то подобие большевика” (5, 91). Григорий не хотел жить в согласии со старыми порядками, многое в новом времени ему по душе, он за положительные изменения жизни, такие, при которых должно сохраниться то ценное, хорошее, что было при прежнем укладе, что выпестовано нравственно-историческим опытом народа.

Григорий является частицей народной судьбы, он протестует “против всех попыток поработить и принизить трудового человека, он столь же решительно может протестовать и против необходимости революционной диктатуры, суровой правды классовой борьбы, против власти вообще. ...Перед лицом революции и истории Григорий стоит у Шолохова прежде всего как самобытная личность, внутренне богатая и содержательная” (Макаровская Г. Типы исторического повествования. Саратов. 1972. С. 216). В нравственном максимализме, свободолюбии, патриотизме, правдоискательстве Григория заключен большой потенциал общечеловеческого. А. А. Громыко однажды спросил Шолохова: «Где вы нашли такую колоритную фигуру, как ваш Григорий Мелехов?» Он энергично ответил: «Я взял его у матушки-истории. Это Степан Разин, которого тоже породило донское казачество. Только века не семнадцатого, а двадцатого» (А. А. Громыко. Памятное. Т. 2. 1990. С. 171).

Шолохов одно время думал завершить “Тихий Дон” тем, что Григорий отправляется на польскую войну как красный командир. В письме Левицкой он делился своими сомнениями: “Боюсь, что будут говорить, что о Григории белом говорю больше, чем о Григории красном. Но иначе не могу - слишком разрастается

третья книга” (Огонек. 1987. № 17. С. 3). Но появилась 4-я книга, служба Григория в Первой Конной не получила развернутого художественного изображения. Ряду исследователей показалось, что пребывание в Первой Конной не оказало на Мелехова никакого влияния, он вынужден был служить в ней только для того, чтобы советская власть простила ему участие в восстании. Осенью 1949 г. Шолохов говорил: “...чтобы показать должным образом Первую Конную, надо было бы написать еще книгу. Это нарушило бы архитектуру романа” (Лежнев И. Путь Шолохова. С. 333).

Следует обратить внимание на то, что Григория преждевременно демобилизовали из армии. Шолохов объяснял это: “Большое количество людей с нехорошим прошлым служили в Красной Армии верой и правдой. Крестьянин-казак, человек практического склада ума, убедился в провале белых, старался замолить свои грехи. И подвиги совершал, кровинушки не жалел - ни своей, ни чужой” (334). Лежнев заключил: “Преждевременная демобилизация Григория означает не что иное, как признание его службы в рядах армии недоразумением. Вот почему автору представилась возможность опустить эти восемь месяцев без сколько-нибудь существенного ущерба в обрисовке фигуры главного героя романа” (335). Маслин развивает ту же концепцию: “Теперь же, когда разворачиваются события четвертого тома, он, хотя и сражается на стороне красных в течение целого полугодия, остается все-таки решительно враждебным социалистической революции. Не случайно эта страница из жизни героя в сущности только названа Шолоховым. Служба Григория в частях Красной Армии оказывается фактом лишь внешнего, но не внутреннего пути” (Роман Шолохова. С. 114).

Во-первых, для самой советской власти служба Григория и ему подобных в 1920 г. не было каким-то недоразумением: положение на фронте было не из легких, наступление поляков и Врангеля угрожало самим основам существования советского государства. Во-вторых, “мнение, что Шолохов не показал подробно Григория в Конной Буденного якобы потому, что служба у красных не затрагивала его сердце, не касалась нравственных основ его личности, была лишь способом замолить грехи, избежать справедливого возмездия за участие в мятеже” - такое суждение “возможно лишь при полном игнорировании индивидуального своеобразия характера, которому ни в малейшей мере не были свойственны ни лицемерие, ни приспособленчество” (Хватов А. Художественный мир Шолохова. С. 244-245).

Воевать против поляков Григорию помогал его патриотизм, он не хотел, чтобы чужеземцы как хозяева расхаживали по русской земле, отхватывали себе от нее лакомые куски. Но и белые не вызывают у него никакого сочувствия, он рассказывает Прохору: “Недавно, когда подступили к Крыму, довелось цокнуться в бою с корниловским офицером - полковничок такой шустрый... так я его с таким усердием навернул, ажник сердце взыграло! Полголовы вместе с половиной фуражки осталось на бедном полковничке... Вот вся моя приверженность! ...Они, сволочи, и за человека меня сроду не считали...” (5, 377). И далее он говорит: “Видишь, Прохор, мне, конечно, надо бы в Красной Армии быть до конца, может

тогда и обошлось бы для меня все по-хорошему. И я сначала - ты знаешь это - с великой душой служил советской власти, а потом все это поломалось... У белых, у командования ихнего, я был чужой, на подозрении у них был всегда. Да и как могло быть иначе? Сын хлебороба, безграмотный казак, - какая я им родня? Не верили они мне! А потом и у красных так же вышло. Я ить не слепой, увидал, как на меня комиссар и коммунисты в эскадроне поглядывали... В бою с меня глаз не сводили, караулили каждый шаг и наверняка думали: “Э-э, сволочь, беляк, офицер казачий, как бы он нас не подвел”. Подметил я это дело, и сразу у меня сердце заглодало. Остатнее время я этого недоверия уже терпеть не мог больше. ...И лучше, что меня демобилизовали. Все к концу ближе” (5, 380).

Военная биография Григория вобрала многое из жизни Ермакова. Казак Е. Фролов рассказал о его службе в армии Буденного: “Со стороны командиров он всегда чувствовал к себе недоверие, и это его сильно угнетало. Вообще, недоверие к себе чувствовали все донские казаки. В феврале 1923 года Ермаков был уволен из Красной Армии как бывший белый офицер, по недоверию” (Сивоволов Г. Я. “Тихий Дон”: рассказы о прототипах. Ростов н/Д, 1991. С. 95). По прибытии домой Ермакова арестовали, отпустили, в 1927 г. снова арестовали, расстреляли, реабилитировали в 1989 году.

Белые чужды Григорию были потому, что они - люди другого социального мира, пренебрежительно относились к трудовому человеку. Вместе с тем он почувствовал стойкое недоверие и со стороны красных. После этого никому больше он не хочет служить, потому что “навоевался за свой век предостаточно и уморился душой страшно”. Он хочет пожить возле своих детишек, “заняться хозяйством”, об этом он говорит Кошевому от чистого сердца, но тот ему не верит. Кругом беспокойно, возможно восстание, Григорий весьма авторитетная личность. Не по душе Кошевому приезд Григория, он считает его ненадежным человеком: как бы он не стал источником новой беды для казаков и советской власти, Григорий еще не рассчитался за прошлое, он же был видной фигурой у восставших. Кошевой напомнил ему об этом, и Григорий ответил: “Ежли б тогда на гулянке меня не собирались убить красноармейцы, я бы, может, и не участвовал в восстании”. Кошевой добавляет: “Не был бы ты офицером, никто б тебя не трогал”. Это правда. Но и то правда, что не брали бы Григория на службу, не был бы он офицером. Между Григорием и Кошевым лежала кровь. Есть жестокая правда в словах Кошевого: “Много ты наших бойцов загубил... Этого из памяти не выкинешь”. Но правду сказал и Григорий: “Ты брата Петра убил, и я тебе что-то об этом не напоминаю”.

На чьей же стороне автор? Якименко писал: “Михаил Кошевой воплощает одну из тенденций времени, причем за ним есть определенные преимущества в споре с Григорием Мелеховым. Он воплощает силу победившей революции, он готов отстаивать и защищать ее до предела. Он защищает будущее, в том числе и будущее сына Григория, Мишатки, от запутавшегося человека, которому “до сих - все неясное” (Т. 2. С. 278). Макаровская высказала несколько иное мнение: “Писатель показывает, что в действительности дело, о котором Кошевой судит

столь решительно, много сложнее, чем Михаилу оно кажется. Но и это мишкино суровое мнение о Григории Шолохов по-своему оправдывает. Кошевой имеет на него право - право человека, в бою узнавшего, что такое верность революции и что такое измена. При этом правда повествователя, его “да” в этой сцене, как и в других, не отданы ни одному из действующих лиц” (218). Думается, что авторское отношение к этому спору отражается в характеристиках, которые даются персонажам на протяжении всей эпопеи.

Если подойти к позициям спорящих, бывших школьных дружков, исходя из всего художественного текста, то можно заключить, что Шолохов, понимая Кошевого, его правду, ту сложнейшую обстановку, какая была тогда на Дону, все же полностью не оправдывает его, отошедшего от народной и христианской морали, от умения и желания прощать своих бывших врагов и тем самым, если говорить о национальных интересах России, идти кратчайшим путем к единению и сплочению всего народа. Шолохов не может принять неоправданную жестокость, что стало сутью поведения Кошевого. “Конфликты, случающиеся внутри народа, не могут справедливо решаться без взаимного прощения” (Дрягин Е. Шолохов и советский роман. Ростов н/Д. 1966. С. 50). Это хорошо понимал Шолохов, но не Кошевой.

Вот ключевой момент в приведенном выше споре. Кошевой говорит Григорию: “Ну, что ж, убил, не отказываюсь! Довелось бы мне тогда тебя поймать, я и тебя бы положил, как миленького!” “А я, когда Ивана Алексеевича в Усть-Хопре в плен забрали, спешил, боялся, что и ты там, боялся, что убьют тебя казаки... Выходит, занапрасну я тогда спешил” (5, 370).

Можно поверить в то, что Григорий не стал бы издеваться над Кошевым, если бы у него была власть. Кошевой заключает: “Значит, разные мы с тобой люди... Сроду я не стеснялся об врагов руки поганить и зараз не сморгну при нужде” (5, 370). Гражданская война внесла в людей тяжкую смуту, много зверской злобы, толкала на преступления против человечности.

Участие в братоубийственной войне ожесточило Григория, губительно сказывалась на нем. Во время восстания вошла в привычку “потребность в пьянке”, после пьянок “во взгляде все чаще стал просвечивать огонек бессмысленной жестокости” (4,270). “Бабы, потерявшие девичий цвет девки шли через руки Григория, деля с ним короткую любовь” (4, 276). Он дает себе резкую оценку: “Совесть!.. Я об ней и думать позабыл”. Раздумывая о своей жизни, пытаясь лучше осознать свое положение в ней, Григорий говорит Наталье: “Война из меня все вычерпала. Я сам себе страшный стал... В душу ко мне глянь, а там чернота, как в пустом колодезе” (4, 302). Самый постыдный поступок Григорий совершил, приказав зарубить 27 красноармейцев, попавших в плен к повстанцам, но это было сделано под влиянием сильного чувства, вызванного недавней гибелью брата, захваченного красными и расстрелянного Кошевым. Слова Григория о потере им совести опровергаются, в частности, и тем, как мучительно больно он переживал смерть Натальи, казнил себя за то, что фактически стал виновником ее гибели. Нет, нельзя считать, что Григорий потерял совесть и честь. Он нико-

гда не был таким бесчеловечным, как Митька Коршунов, его свояк, “давнишний друг-одногодок”, каким проявил себя после разгрома повстанцев Мишка Кошевой, с которым он вместе учился в школе. По его оценке, не совсем справедливой, оба “они одной цены”.

Митьку выразительно характеризует сценка, в которой спросили Петра Мелехова, есть ли среди его подчиненных казаки, желающие расстрелять Подтелкова и его товарищей, и тот ответил: “Нет и не будет!” Его поправил Митька Коршунов: “Я стрельну... Зачем говоришь - “нет”. Я согласен” (3, 388). Жестокость была свойственна его “натуре с детства”, в карательном отряде она “не только нашла себе достойное применение, но и, ничем не будучи взнудываема, чудовищно возросла” (5, 104). Хладнокровно вырезав семью Кошевого, зверски задушив его мать, он грубо нарушил народную мораль, и потому и большинство хуторян, и Пантелей Прокофьевич, и Ильинична безоговорочно осудили его: не “казацкое дело - казнителем быть, старух вешать да детишек безвинных шашками рубить” (5, 110).

По своей натуре, по эмоционально-психологическому настрою Кошевого нельзя полностью приравнять к Митьке, он не уничтожал старух и детей, но вместе с тем и он, нарушая народную мораль, проявлял неразумную жестокость. Это ведь он сжег дом Коршуновых. “После убийства Штокмана, после того как до Мишки дошел слух о гибели Ивана Алексеевича и еланских коммунистов, жгучей ненавистью к казакам оделось Мишкино сердце. Он уже не раздумывал, не прислушивался к невнятному голосу жалости, когда в руки ему попался пленный казак-повстанец. Ни к одному из них с той поры он не относился со снисхождением. Голубыми и холодными, как лед, глазами смотрел на станичника, спрашивал: “Поборолся с советской властью?” - и, не дожидаясь ответа, не глядя на мертвеющее лицо пленного, рубил. Рубил безжалостно! И не только рубил, но и “красного кочета” пускал под крыши куреней в брошенных повстанцами хуторах. А когда, ломая плетни горящих базов, на проулки с ревом выбегали обезумевшие от страха быки и коровы, в упор расстреливал их из винтовки” (4, 424). Не хотел Мишка сначала убивать деда Гришаку, но тот стал избличать его, и он выстрелил в него. Уезжая из Татарского, он “зажег подряд семь домов, принадлежащих отступившим за Дон” богатым семьям. “В этот день он с тремя товарищами выжег дворов полтора станицы Каргинской” (4, 424).

Хватов полагает, что “очень трудно вспомнить какой-либо поступок Кошевого, который не был бы мотивирован обстоятельствами, интересами борьбы или не получил бы нравственно-психологического объяснения” (165). Можно понять, почему Кошевой свирепствует в своей ненависти к богатым, но полностью оправдать его невозможно. Сжигать дома, расстрелять дряхлого старика... Хабин пишет о Кошевом: “мстительный злодей”, “торжествующий честолюбец из бедняков, злодей и убийца, мститель и доносчик - доносчик, конечно, из “классовых” соображений, движимый “долгом перед революцией” (50). Здесь перебор, зачем объявлять Кошевого доносчиком? Или вот Хабин оценивает его женитьбу на Дуняшке: “Подлость Михаила Кошевого, не преминувшего породниться с Григо-

рием - ставшего его шуриным, приобретает в финале особо зловещий оттенок" (49). С таким утверждением можно было бы согласиться, если бы Мишка женился на Дуняшке вопреки ее желанию, но она-то его любит. Понимает и принимает ли это во внимание рассерженный обличитель?

Больше всего оснований у Ильиничны ненавидеть Мишку. Она дает ему неприглядную оценку, крайне враждебно разговаривает с ним, когда тот приходит к ней в дом. Оправдываясь перед нею, Кошевой говорит: "А ежели б Петро меня поймал, чтобы он сделал? Думаешь в маковку поцеловал бы? Он бы тоже меня убил". Мудрая старуха была вынуждена молча согласиться с этим, но она нашла неотразимый аргумент: "Старика мирного убивать, это - тоже война?" Она ему твердила: "Душегуб ты! Душегуб! Ступай отсюда, зрить я тебя не могу!" (5, 317). Достоинство ответить на такое обвинение Кошевой не может, он говорит, что все душегубы, "кто был на войне", "все дело в том, за что души губить и какие". Но и такой подход не может привести к оправданию убийства деда Гришаки. Ненависть заглушила в Мишке черты подлинной человечности.

Повествование в "Тихом Доне" характерно тем, что оно словно бы подстраивается под мировосприятие того персонажа, который играет важную роль в изображаемой сцене. Ильинична гонит Кошевого, но... "Черта с два его можно было отвадить всякими этими штучками и разговорами! Не такой уж он, Мишка, был чувствительный, чтобы обращать внимание на оскорбительные выходки взбесившейся старухи. Он знал, что Дуняшка его любит, а на остальное, в том числе и на старуху, ему было наплевать" (5, 317).

В это время Мишка оказался в сложных отношениях не только с Ильиничной, но и со многими казаками. Вместе с тем, как рассудил Б. Соколов, "у него есть еще шанс сродниться с народом, восстановить потерянное в круговороте гражданской войны единство. Пока что единственная связующая нить для него - Дуняшка" (Вопросы литературы. 1990. Май. С. 8-9). Эта нить привязывает к нему Мишатку, сына Григория. "Ильинична с удивлением заметила, что потухшие глаза "душегуба" теплели и оживлялись, останавливаясь на маленьком Мишатке, огоньки восхищения и ласки на миг вспыхивали в них и гасли, а в углах рта еще долго таилась чуть приметная улыбка". И в конце концов "вдруг непрошенная жалость к этому ненавистному ей человеку - та щемящая материнская жалость, которая покоряет и сильных женщин, - проснулась в сердце Ильиничны" (5, 321).

Вернувшись из Красной Армии, Григорий встретился с Кошевым, ожесточившимся, боящимся нового казачьего восстания. Когда утверждают, что в "Красной Армии Мелехов не нашел себя" (И. Лежнев), то следует уточнить, что в этом повинен не только он, но и вся сумма сложившихся обстоятельств. Прибыв домой, он готов принять наказание за свое участие в восстании, "согласен отсидеть... но уж ежели расстрел за это получать - извиняйте! Дюже густо будет!" (5, 371). Пусть будет все по справедливости, "пускай ему зачтут службу в Красной Армии и ранения, какие там получил". Он говорит Кошевому: "...против власти я не пойду до тех пор, пока она меня за хрип не возьмет. А возьмет - буду обороняться!" (5, 371).

Надежды Григория на справедливое к себе отношение не сбылись. Кошевой не верит в его искренность, считает его врагом советской власти, стремится переложить на него всю тяжесть ответственности за восстание, заставляет его срочно ехать регистрироваться в Вешенскую и, угрожая, бросает: “Отправляйся завтра же, а ежели добром не пойдешь - погоню под конвоем” (5, 372). Несобственно-прямая речь Григория раскрывает его итоговые после разговора с Кошевым мысли: “Почему, собственно, он думал, что кратковременная честная служба в Красной Армии покрывает все его прошлые грехи? И, может быть, Михаил прав, когда говорит, что не все прощается и что надо платить за старые долги сполна?” (5, 372).

Григорию снова грозит расстрел. Безжалостная сила преследует его. Он не нашел себе места на хуторе потому, что Кошевой, начиненный страшной ненавистью и злобой, не склонный к раздумьям о душевном состоянии своего бывшего друга, не захотел, точнее говоря, не сумел понять его, оттолкнул его от советской власти. После разговора с ним Григорий видит сон, в котором он - вопреки своему желанию - отстал от полка, пошедшего в “атаку без него”. Григорию хотелось мирно трудиться, работать на земле-кормилице, а судьба выбила его из центрального нерва народной жизни.

После возвращения из Первой Конной Григорий так охарактеризовал свои политические позиции в разговоре с Прохором: “Вот и я зараз вроде этого хохла думаю: кабы можно было в Татарский ни белых, ни красных не пустить - лучше было бы” (5, 377). Он хотел быть вместе с казаками, которым надоела до чертиков война, которые встали на спасительные для них в то время пацифистские позиции, но внешняя сила, своеобразный рок не дает ему в повседневных делах объединиться с ними. Ему пришлось уйти из дома, он наткнулся на людей Фомина. Ему предлагают вступить в банду. Ему кажется, что некуда деться, приходится подчиниться прихоти судьбы. Но до него был взят в плен красноармеец. Он предпочел быть расстрелянным, но в банду не вступил. Что ж, Григорий трусливее? Конечно, нет. Ему кажется, что выбор у него, “как в сказке про богатырей: налево поедешь - коня потеряешь, направо поедешь - убитым быть... И так - три дороги, и ни одной нету путевой...” (5, 421). Он не считает советскую власть своей, за нее в этот момент он не готов отдавать свою жизнь. Он полностью не смирился с нею, хотя и понимал бесполезность и ненужность борьбы с нею. Якименко ошибочно посчитал, что “Григорий избежал расплаты ценой окончательного разрыва с народом”, что, блуждая по степям с бандой Фомина, он “становится чужим казачьей массе” (2, 227). В это время он не был отделен от трудового казачества “непроходимой пропастью”, как утверждал Маслин. Необходимо учитывать, что его вынудили блуждать по степи, что в своем настрое он был близок к основной массе казаков. В это время многие из них тоже терпели советскую власть, но не считали, что она полностью отвечает их интересам и чаяниям. Продразверстка, нехватка соли, предметов первой необходимости подрывали у казаков веру в ее созидательные возможности. Но воевать против

нее они уже не хотели, понимая бесплодность и губительность вооруженной борьбы с Россией.

Идея полной самостоятельности Дона сохранила теперь свою некоторую привлекательность для Григория лишь в призрачных мечтах. Еще в 1918 г. он размышлял о бесперспективности воевать со всей огромной страной. В его присутствии казак Охваткин заявил: “Вот придавят чеха, а потом как жмякнут всю армию, какая под ним была, - и потекет из нас мокрая жижа... Одно слово - Ра-сея! - И грозно закончил: - Шутишь, что ли?” И Григорий, сворачивая курить, с тихим злорадством решил про себя: “Верно!” (4, 97). И никуда не уйдешь от вопроса, поставленного им перед Извариным в самом начале революции: “Как же мы без России будем жить, если у нас, кроме пшеницы, ничего нету?” Григорий не хотел новой борьбы с советской властью, понимая, что за нею, как выразился один из казаков во время восстания, “вся Россия”.

Осенью 1920 г. “местное население относилось к бандитам сочувственно, снабжало их продовольствием и сведениями о передвижении красноармейских частей” (5, 395). Но позднее Фомин убедился, что “основная масса казачьего населения относится к нему отрицательно” (5, 424). Он пытался изобразить себя и своих подвижников идейными борцами за казачьи интересы, но безуспешно: население, в отличие от вешенского восстания, не поддержало его. Старик Чумаков сказал Григорию: “С черкесами воевали, с турками воевали, и то замирение вышло, а вы все свои люди и никак промежду собой не столкуетесь... Нехорошо... Ну, мыслимое ли это дело: русские, православные люди сцепились между собой, и удержу нету... Я стариковским умом так сужу: пора кончать!” (5, 430). Такой настрой, собственно, обнаружили и другие казаки. Когда Фомин агитировал восставать против советской власти, ему отвечали: “...навоевались мы в досталь”; “Не с чем восставать и не к чему! Пока нужды нету”; “Пора приходит - сеять надо, а не воевать”. Наиболее резко отчитала Фомина безымянная вдова: “Мало эта проклятая война у нас баб повдовила? Мало деток посиротила? Новую беду на наши головы кличешь?” Григорий услышал, как старуха проговорила: “Погибели на вас, проклятых, нету!” Такое отношение людей показывало, что никому эти “борцы” не нужны, всем мешают мирно жить и работать. Быть бандитом - с таким исходом Григорий смириться не может. Этот “трагический рыцарь казачьей вольницы” (Б. Дайреджиев) не может жить без трудового народа, идти против него, поэтому он уходит из банды Фомина.

Григорий признает ошибочность вооруженной борьбы с новой властью. В рассуждениях Бритикова есть немало правды: трагизм судьбы Григория состоит в том, что он заблудился вместе с частью народа, вместе с казаками. Но масса бывших повстанцев прощена советской властью, а он за общую вину должен нести исключительную ответственность. Он виноват, конечно, больше других, но только потому и лишь в том смысле, что яростнее, честнее, активнее, талантливей сражался за общую казачью правду. “Проблема выбора пути повернулась новой гранью - трагедией таланта, избранием неверного пути” (А. Метченко). Когда же Григорию стала понятна ложность правды, в которую он искренне пове-

рил, изменить тяжкую логику совершающихся событий уже не было возможности.

Понимание ненужности восстания и своего участия в нем стало источником мук и страданий Григория. Его трагедия обусловлена не только и не столько середнячеством, сословной психологией, тем более малограмотностью, но и самой чрезвычайно сложной эпохой, самим очень активным характером героя, который “остро чувствует неправду жизни, он не проходит равнодушно мимо каких-либо общественных неурядиц, а, постоянно вмешиваясь, стремится исправить их” (В. Петелин). Как писал Ф. Абрамов, в эпоху революционного энтузиазма Шолохов “заговорил об угрозе, которую несет революция отдельной человеческой личности. Именно в этом смысл трагической фигуры Григория Мелехова, образа, который по своей художественной мощи стал вровень с самыми вершинными созданиями человеческого гения в искусстве всех времен и народов” (413).

А. Толстой однажды обронил, что “Мелехов - только жертва, погибшая в противоречиях исторического процесса” (10, 548). В какой-то мере Григория можно считать такой жертвой, но у него настолько активный и сильный характер, он столь мощно воздействует на самую общественную обстановку, что такая формула не может схватить главное в нем. Когда Шолохов выступал в МВТУ, его спросили: “Почему герой ни к чему не пришел?” Он ответил: “Такова была действительная судьба более зажиточной части деревни. Если бы я написал иначе - это было бы вопреки моей писательской совести” (Шолохов на изломе времени. М., 1995. С. 167). Можно к этим словам добавить, что такова была судьба не только многих деревенских жителей...

М. Чарный в первых отзывах о “Тихом Доне” (Октябрь. 1940. № 9) писал об искусственности финала, о том, что образ Григория Мелехова не соответствует исторической истине. Сам Шолохов писал: “Люди типа Григория Мелехова к советской власти шли очень извилистым путем. Некоторые из них пришли к окончательному разрыву с советской властью. Большинство же сблизилось с советской властью, принимало участие в строительстве и укреплении нашего государства, участвовало в Великой Отечественной войне, находясь в рядах Красной Армии” (Литературен фронт. София. 1951. 12 июля).

Исследователи отмечали, что в “Тихом Доне” индивидуальная судьба Григория не становится прямым аналогом социально-исторического явления, это отразилось и в своеобразии финала эпопеи. По наблюдению Г. Макаровской, “в конце “Тихого Дона” сохраняется то самое диалектически сложное “равенство” личности и истории, в котором видны самостоятельные сила и право каждой из этих сторон, взаимодействие которых и составляет существенную примету шолоховской концепции жизни в целом” (231).

Пытаясь лучше разобраться в сути финала “Тихого Дона”, ученые по-разному толкуют дальнейшую судьбу Григория, вынесенную автором за пределы произведения. Одни представляют ее в оптимистическом свете, другие - в самых черных красках. Якименко писал: “Судьба Григория Мелехова трагична не только потому, что герой фактически приходит к гибели, утрате всех жизненных связей.

Финал... не оставляет сомнений в том, что перед нами человек, для которого уже все кончено” (2, 242). Ему вторит Маслин: “В Григории все перегорело и умерло. Уже ничто не может пробудить то, что погребено в его душе” (Роман Шолохова. С. 190). Ермолаев по сути дела придерживается такой же концепции, когда пишет: “Григорий, как и Бунчук, был сломлен потерей любимой женщины. Смерть его наступила тогда, когда, похоронив Аксинью, он твердо верил, что расстанутся они не надолго”, “он утратил со смертью Аксиньи и разум и былую смелость”, “вся жизнь... была в прошлом”, и сдача его закономерно отражает полное безразличие к своей судьбе” (Русская литература. 1991. № 4. С. 37).

Здесь временная апатия Григория, временное безразличие к своей судьбе представлены в качестве постоянного состояния героя. Маслин пошел еще дальше в отрицании того ценного, что осталось в финале произведения у Григория и что должно напоминать о страшных издержках революции. Считая, что “Григорий разоружился и вернулся домой вовсе не из идейных побуждений” (190), он ссылается на утверждение: Мелехов “пришел сдаваться не потому, что он уразумел “верный путь”, а в силу безвыходности сложившихся для него обстоятельств и в ходе восстания, и в личной жизни” (Перцов В. Об историческом оптимизме советской литературы. М., 1959. С. 43).

Григорий на самом деле оказался в труднейших обстоятельствах, не нашел верного пути, но можно ли оспорить то, что он знал: через месяц-два будет амнистия. Он мог бы дождаться ее вместе с дезертирами в их землянке и лишь после этого вернуться на хутор. Значит, обстоятельства были не такими уж безвыходными. Формально он был в банде, но душой, своим настроением он отделен от ее участников, поэтому не имело серьезных оснований замечание А. Толстого о том, что “Григорий не должен уйти из литературы как бандит” (10, 464).

Горькую усмешку могут вызвать такие откровения Маслина: Мелехов “до конца не понимает трагизма своего положения, не понимает, что падает в бездну. Это по-своему поняли Михаил Кошевой и Штокман. Григорий Мелехов должен был быть расстрелян вместе с кулаками хутора Татарского, но успел скрыться, а Штокман говорит: “Именно его надо было взять в дело! Он опаснее остальных вместе взятых” (187). Выше уже отмечалось, что Григорий все больше осознает тот жестокий круг судьбы, из которого нет ему возможности вырваться. Если бы он был таким непонимашкой, каким представили его здесь, то он бы сразу стал добычей штокманов и кошевых. Но он деятелен, активен, трезво оценивает многие жизненные явления, уходит от многих расставленных ему ловушек судьбы.

Отметив, что “социалистическая революция - сила созидательная”, В. Кирпотин пишет: “Однако критики, полагающие, что путь Григория был фатален, что для него не было возможности свернуть с дороги, на которую он раз вступил, глубоко ошибаются” (169). А. Фадеев, называя «Тихий Дон» исключительно талантливым произведением, ждал «от Григория другого конца». А. Довженко утверждал, что конец - «огромная ошибка в замысле автора».

Но показательно то, что В. И. Немирович-Данченко признавал: «автор, желая остаться очень правдивым, никак иначе не мог кончить Григория». Вот и получалось: «так роман кончить нельзя, а иначе кончить его невозможно» (А. Гурвич). Выношенная Шолоховым концепция «Тихого Дона» требовала того пути, который прошел Григорий. Иной путь извратил бы сокровенную идею эпопеи. Собственно, это признал А. Толстой, который посчитал конец «Тихого Дона» ошибкой, но вместе с тем сделал вывод: «У Григория Мелехова был выход - на иной путь. Но если бы Шолохов повел его по этому другому пути - через Первую Конную - к перерождению и очищению от всех скверн, композиция романа, его внутренняя структура развалилась бы», Шолохов, «как честный художник, не мог» так закончить произведение (10, 464).

Кирпотин полагал, что «Григорий наказан за то, что он, выходец из народа, оторвался от народа»: «В то время, когда массы, из рядов которых он вышел, боролись за всеобщее освобождение, он искал только личного счастья, только покоя для себя самого» (166). Содержание «Тихого Дона» расходится с таким суждением. В Новороссийске Григорий мог уехать из России, один, без сотоварищей, но он отказался: «Не берут нас, не находится для всех места, - и не надо! ...Останемся. Спробуем счастья» (5, 286). Благородно он поступает и по отношению к Копарину, который задумал ценой жизни своих спутников по банде выторговать у власти прощения. Даже находясь в банде, Григорий настойчиво всматривался в то, как отзываются на ее действия люди. Все это не подтверждает мысли Кирпотина о поисках Григорием покоя только для себя и В.Гоффеншефера о его «страшной духовной деградации» (Литературный критик. 1940. № 2).

В. Щербина в «Литературе и жизни» (1959. 11 марта) писал, что «источник трагедии Григория Мелехова в его разъединении с народом, в его попытках противопоставить свои иллюзии непобедимому движению революции». Это утверждение по существу подкрепляет теорию отщепенчества, не учитывает трагизма разъединения самого народа на враждующие стороны. Сама революция - трагедия нации, уничтожающая не только то, что закономерно должно уйти в Лету, но и то, что являлось ее духовным достоянием, могло бы приносить ей немало пользы.

Григорий обманулся в ходе исторического развития России, переоценил возможности создать казачью республику, он понял, как осточертела людям война, но не мог полностью принять политические и нравственные установки новой власти. Ему хочется отойти от всякой борьбы, заняться хозяйством, детьми, но прошлое вцепилось в него мертвой хваткой и требует ответа за то, что он сделал, борясь против революции.

1 марта 1940 г. Ю. Лукин писал в «Литгазете»: «Конец романа необычайно сложен и в то же время ошеломляет очевидной, исключаящей все другие варианты, верностью решения. Судьба Григория оказалась тяжелой и мрачной». Для Шолохова было очень важно написать «правдивый конец», он говорил: «...писатель должен уметь прямо говорить читателю правду, как бы она горька ни

была. Поэтому к оценке художественного произведения нужно в первую очередь подходить с точки зрения его правдивости и убедительности” (Михаил Шолохов. Ростов н/Д. 1940. С. 153). Верный жизненной правде и логике авторского замысла, Шолохов написал такой финал, который обманул многие надежды, не учел настойчивые предложения поставить Григория на путь быстрого духовного слияния с красными, который вызвал споры, нарекания, обвинения в разных “измах”.

Многим читателям хотелось прочитать счастливый конец, узнать, что привлекий их симпатии Григорий в конце концов благополучно устроился в жизни. В таком духе был написан киносценарий, о нем Шолохов сказал: “Из трагического конца Григория Мелехова, этого мечущего искателя правды, который запутался в событиях и разошелся с правдой, сценарист делает счастливый конец... В сценарии Григорий Мелехов сажает Мишатку на плечо и идет с ним куда-то в гору, так сказать, символический конец. Григорий Мелехов поднимается к сияющим вершинам коммунизма. Вместо картины трагедии человека может получиться этакий легкодумный плакат” (Известия. 1956. 1 июля). В. Петелин в статье “Тихий Дон” бессмертен” пытается снять трагические краски в финале эпопеи: “...разговор должен идти не о трагической вине, а скорее о трагической ошибке, возникшей в результате заблуждения целого слоя народа относительно действительных замыслов и намерений коммунистов и представителей Советской власти. Это заблуждение возникло исторически закономерно. Вот почему трагическая ошибка играет огромную роль в развитии сюжета романа, в судьбе его героя. В романе “Тихий Дон” нет трагической вины, нет и наказания, которое служило бы справедливым возмездием, нет и карающей руки Михаила Шолохова. Ничего этого нет в романе. Мелехов не был расстрелян. Он остался жить. В этом гуманизм Шолохова” (Шолохов на изломе времени. С. 49-50).

Эти рассуждения как будто подтверждают слова Шолохова: “Мелехов вернулся к родной земле! В нем еще жива душа. В этом его сила!..” (Наш современник. 1984. № 4. С.175). В финале эпопеи Григорий возвращается домой, где он встретил сына Мишатку. “Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром” (5, 492). Если говорить о судьбе центрального героя, финал можно назвать открытым, читатель должен сам представить, что ждет Григория. Но никуда не уйдешь от того, что над ним “пока еще” “холодное солнце”, что в его жизни может случиться непоправимое (вспомним судьбу Ермакова!).

Народ раздирается трагическими противоречиями, новые общественные отношения устанавливались в жестокой борьбе, принесшей много крови и страданий. И это отразилось в жизни Григория. Трагедия народа прошла через его душу. Можно понять Петелина, полагающего, что трагическая вина в “Тихом Доне” - это трагическая ошибка, имеющая оправдание и объяснимая теми условиями, в которых жил герой. Но оправдать его можно только в плане субъективной устремленности героя, а объективно на совести Григория немало загубленных душ. А. Метченко в книге “Мудрость художника” (М. 1976. С. 282) писал: “...любая попытка свести такое сложное явление, как судьба Григория Мелехова,

к однозначной формуле, значит, заранее обречь себя на неудачу. Разве формула “трагедия заблуждения”, противопоставленная формуле “трагедия вины”, совершенно вычеркивает последнюю? Конечно, нет. Смягчает, но не устраняет. В битве за ложную идею Григорий срубил не одну честную голову, следовательно, заблуждение не может не повлечь за собой вины”.

Но во всем этом виноват не только Григорий. Шолохов в разговоре с Хьетсо сказал: “Пустое это занятие, думать и считать одного Григория виноватым. Какое непонимание противоречий эпохи, казачьей души, сущности трагедии Григория Мелехова”. Однако Шолохов не считал, что можно полностью оправдать Григория, перекладывать всю вину на действия властей и саму обстановку. М. Корсунов в статье “Встречи с Шолоховым” (Простор. 1975. № 5. С. 105) сообщил, что писатель сказал: “Личная вина Григория есть в этой трагедии и даже большая доля вины лежит на нем самом. Хотя, конечно, левачество Мишки... и способствовало этому...” В 1979 г. К. Прийма, как он сообщил в книге “С веком наравне” (1981), показал эту журнальную страницу “Простора” Шолохову и спросил, верно ли изложена здесь его мнение. Прочитав текст, писатель ответил: “Нет, Прийма! Это чужой текст!” И, взяв ручку, Михаил Александрович подчеркнул в тексте фотокопии журнала приписываемый ему тезис (“большая доля вины”) и поперек страницы написал: “Такого я не говорил. Личная вина Григория в этой трагедии есть, но не большая. 15.10.79. М. Шолохов”. Собственно, так решает эту проблему Ершов: “Григорий совершает ошибки, но он по большому счету мнимо виновен. И все-таки виновен, ибо требует от жизни того, что она ему еще не может дать. Здесь его и ждет, как и всякого трагического героя, кара, возмездие” (Могучий талант. С. 94).

В последнее время наблюдается попытка представить источником трагедии мелеховых политику одной советской власти. Литвинов раньше был склонен считать Мелехова “политическим бандитом”. В 1985 г. в книге “Михаил Шолохов” он писал: “Понял ли Мелехов, что эти недолгие дни в большевистском стане были самым чистым и высоким взлетом всей его судьбы?” (С.102) . Но в “Литгазете” от 14 февраля 1996 г. Литвинов приписал “Тихому Дону” этакое: “Непонятно только, что мешает ныне сказать правду о романе, этой едва ли не самой анти-советской книге среди всего напечатанного. Кто еще с такой силой запечатлел насилие над народом экстремистов, дорвавшихся до власти, превративших души тысяч мелеховых, как сказано у Шолохова, в мертвенную выгоревшую степь... И поныне для народов мира нет проблемы страшней, чем эта. “Тихий Дон” - это боль души, раздавленной несправедливой властью”. Но сказать лишь это - значит раскрыть только одну из страниц революции, а в ней их много, и немало таких, в которых и мелеховы предстают не только обиженными, они сами творили историю и не всегда шли праведным путем. Одно ясно: революция - народная трагедия, она размалывает человеческие судьбы и души, и трудно разобраться, кто в ней прав, а кто - нет.

Ершов подчеркивал, что “шолоховская концепция личности подразумевает не только проверку человеческих качеств опытом революции, но включает мо-

мент испытания участников событий революции нравственно-гуманистическими идеалами, выработанными веками народной истории". Он верно критиковал В. Камянова, который бичевал Шолохова за то, за что можно было хвалить, порицал Мелехова за "расплывчатые идеалы надклассового гуманизма", за "идеал абстрактной человечности", за то, что ему "кажутся высшими некие всечеловеческие принципы, другому (Мишке Кошевому) - классовые" (Русская литература. 1960. № 4. С. 99). Вообще-то здесь отмечен один из источников трагизма Григория - противоречие между устремленностью к всенародной правде, к всечеловечности и прямолинейно понятым классовым гуманизмом. В этом отразились противоречия в самом народном сознании, понимании смысла и нравственной основы человеческого бытия, что питало трагический разлом эпохи.

Маслин писал: "Гибнет семья Мелеховых, а вместе с ней и тот уклад жизни, их вскормивший, который разбит социалистической революцией. В этом состоит их историческая трагедия" (74). На самом деле Пантелей Прокофьевич понял, что "какие-то иные враждебные начала вступили в управление жизнью". И эти "начала" убрали многое из того, что при нормальном развитии не подлежало уничтожению, что было ценным достоянием национальной жизни.

Впоследствии Шолохов говорил сыну Михаилу: "Все, что нашим отцам-дедам дорого было, мы на штыки подняли. Но и все, чем мы сейчас восторгаемся, и всех, кто восторгается, скорее всего уже наши внуки проклянут" (Литературная Россия. 1990. 23 мая). Заслугой Шолохова является то, что он отразил в "Тихом Доне" не только созидательное начало в революционном перевороте, "он с еще большей силой показал разрушительный пафос революции... ее трагедию" (Ф. Абрамов). Сам Шолохов рассуждал об этом: "Гражданская война, она, брат, помимо всего прочего, тем пакостна, что ни победы, ни победителя в ней не бывает... Лобовая борьба ни к чему хорошему привести не может" (Литературная Россия. 1990. 23 мая). В наше время эта мысль становится все очевиднее, если подходить к ней с широкими историческими мерками. Она в какой-то мере является косвенным ответом на недоуменный вопрос Фадеева, который голосовал против присуждения "Тихому Дону" Сталинской премии и говорил, что Шолохов "с огромной силой таланта" показал "обреченность контрреволюционного дела, - в романе видна полная его обреченность. Но ради чего и для чего? Что взамен родилось? Этого в романе нет. ...14 лет писал, как люди друг другу рубили головы, - и ничего не получилось в результате рубки. Люди доходят до полного морального опустошения, и из этой битвы ничего не родилось" (Осипов В. М. Шолохов. Годы спрятанные... С. 47).

Это суждение заслуживает серьезного внимания при анализе трагедии Григория и своеобразия финала в "Тихом Доне". Последнее десятилетие подтвердило мудрость суждения Шолохова, высказанного сыну: "Когда там по вашим учебникам гражданская закончилась? В 20-м? Нет, милый, она и сейчас еще идет. Средства только иные. И не думай, что скоро кончится. Потому что до сих пор у нас что ни мероприятие - то по команде, что ни команда - то для людей, мягко сказать, обиды..." (Литературная Россия. 1990 .23 мая).

Гениальность Шолохова состоит в том, что он «Тихим Доном» как бы предсказал возможность событий, подобных августу 1991 г. Не об этом ли свидетельствуют его слова о том, что в гражданской войне «ни победы, ни победителя... не бывает»? Отсюда проекция на современность: не рано ли торжествуют те, кто кричал в начале октября 1993 г. «Раздавите гадину!», кто толкал Ельцина на позорное преступление - расстрел законно избранного парламента?

Одно и то же, примерно, историческое время в «Тихом Доне» и «Хождении по мукам». Финал у А. Толстого откровенно мажорный: главные герои у него - Рошин, Катя, Даша и Телегин - оказались в Большом театре, для них будущее олицетворяется зарей электрификации. Иной финал в «Тихом Доне»: Григорий, потерявший мать, отца, брата Петра, его жену Дарью, свою жену Наталью и любимую женщину Аксиною, возвращается домой, бросив оружие после того, как он был в банде, жил в землянке дезертиров, ему светит «черный диск солнца». У Толстого изображены противоречия героев-интеллигентов, приобщающихся к борьбе народа за новую жизнь, для них главное - понять неразделимость родины и революции. Шолохов раскрывает мучительные противоречия внутри народа. Революция оценивается не только с социально-политической точки зрения, но и с позиций нравственно-исторических, проверяется народными представлениями о добре и зле, правде и справедливости.

В конце эпопеи Григорий понял, что он бессилён противостоять новой власти, что жизнь устроивается не так, как ему хотелось, в новом устройстве он не видит полной справедливости. У него нет веры в то, что наступит социальная гармония в жизни, при которой человек будет оцениваться только по его уму, труду, таланту, по личным качествам. Идеино-нравственные искания Григория окончились крахом. Нет у него никакой радости в душе, впереди у него - тяжкая расплата за содеянное во время вооруженной борьбы с советской властью, «отсюда все чаще повторяющийся к концу романа мотив бездорожья, тупика, горчайшей безысходности» (Л. Ершов). Трагедия его представлена в «Тихом Доне» «во всей своей внутренней исчерпанности и неустранимости тяжелого исхода» (Г. Макаровская).

И в финале у Григория сохранились прекрасные человеческие качества, но его общечеловеческие идеалы не согласовывались с классовыми, с теми, которые воплощал в жизни Мишка Кошевой. Сама жизнь формировала и корректировала политические и нравственные установки Григория, но ход истории привел к тому, что он убедился в невозможности жить по тем правилам, которые он считал верными и справедливыми. Хватов писал, что идеалы Мелехова превышают то реальное, что ему могла предложить революция. Одна из причин трагедии Григория и состоит в том, что в тех конкретных исторических обстоятельствах невозможно было объединить общечеловеческое и классовое. Как заметил Якименко, «один из трагедийных мотивов в образе Григория Мелехова возникает как раз из невозможности для героя совместить внутренние устремления, высокий порыв к примирению, к человечности с тем ожесточением, которое проявляется и в нем самом, и в обстоятельствах борьбы» (Т. 2. С. 249).

Шолохов изображает такие противоречия революционной действительности и под таким углом зрения, что создается впечатление их не скорой исторической разрешимости. По мысли Макаровской, “в отличие от романов А. Толстого финал у Шолохова обращен одновременно и к пройденному герою пути, и к будущему “как вечный вопрос истории” (234). Острейший социальный конфликт, затронувший все сферы народной жизни, вылился в коллизию национального разлома, потряс основы нации до самых ее глубин - это отразилось в трагической участи Григория Мелехова и судьбах других персонажей эпопеи.

Шолохов не раз подчеркивал, что главное для писателя - “не терять веру, веру в народ, его идеалы” (Правда. 1974. 31 июля). Этой верой в народные идеалы и пронизана его эпопея, отсюда и оптимистическая тональность ее. Говоря об оптимизме в разрешении трагических коллизий в “Тихом Доне”, Н. Гей писал: “Экспрессия преодоления страшных испытаний и потерь, соединение голосов человека, народа и природы в единое звучание и есть свидетельство эпического синтеза в повествовании Шолохова” (Советская литература и мировой литературный процесс. Изображение человека. М., 1972. С. 228). Ершов отметил, что “в сложной полифонии “Тихого Дона” есть момент преодоления, снятия вековых социальных противоречий. Оттого-то светла, не безнадежна трагедия, созданная Шолоховым”. Нельзя бороться с народом, третий путь - тем более вооруженный - в эпоху революционных преобразований ничего хорошего не принесет - этот вывод Григория подводит к осознанию тех путей, которые ведут к снятию безнадежности в понимании исторических событий и судьбы героя.

Отметив, что у Шолохова народная стихия поднялась “как строительная сила”, Палиевский подчеркнул, что в этой стихии было “начало, способное поглотить разрывы, перемолоть агрессивное самоуправство и соединить распавшуюся “связь времен” (Мировое значение... С. 315). Похожую мысль высказал Ершов: “Темой трагедии Григория Мелехова Шолохов соединил оба берега реки Времени - “век нынешний и век минувший”. Григорий Мелехов не только вынашивает, но и воплощает (пусть как мечту) идею единства лучших сил нации. А то, что волею истории и художника он нередко оказывался “на грани в борьбе двух начал”, - это еще сильнее обнаруживает жажду синтеза, правда на новой социально-этической основе” (Память и время. С. 86).

Глава 8. ТЕМА СЕМЬИ И ЛЮБВИ В ТВОРЧЕСТВЕ ШОЛОХОВА И СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПРОЗА

В “Тихом Доне” с огромной художественной мощью раскрывается тема любви - в разных измерениях и оттенках: к жене и мужу, к матери и отцу, к детям, к родному краю, к России. Г. Хьетсо писал: “Для меня “Тихий Дон” прежде всего роман о любви. Это роман о любви женщины к мужчине, о любви мужчины к женщине. При этом человек показан в тесной связи с природой, и цель природы - вечное самообновление через любовь. Но в книге речь идет и о другой любви, о любви к родине, к родной казацкой земле” (Вопросы литературы. 1990. № 5. С. 36).

Прокофий Никитич привел в хутор жену - маленькую пленную турчанку. Самоотверженно полюбил ее - и очень дорого заплатили и он, и его жена за эту необычную любовь, за то, что пошел ради нее против хуторского мнения. Григорий, внук Прокофия, тоже вопреки привычным порядкам, полюбил замужнюю женщину Аксинью, и это окрасило их жизнь не только и не столько радостью и счастьем, сколько горестным драматизмом.

Степан поет о том, как “молодая ...бабенка поздно по воду пошла”, как “мальчишка оседлал коня гнедого - стал бабенку догонять...” А затем он запел другую песню: “Не садися возле меня. Люди скажут - любишь меня, Ходишь ко мне...” (2, 38). И эти песни - своеобразная прелюдия к острой жизненной драме, вобравшей в себя отношения Степан - Аксинья - Григорий - Наталья.

Немало верно в словах Кожинова: “...любовь, ставшая стержневым действием “Тихого Дона”, не является неким развертывающимся в сфере “частной”, “личной” жизни “фоном” Революции и, в свою очередь, Революция не может быть понята как “фон” этой любви. Ибо любовь Григория и Аксиньи и есть, если угодно, Революция, одно из ее воплощений, а в самом художественном мире “Тихого Дона” - даже безусловно главнейшее, основополагающее ее воплощение” (Литературная Россия. 1994. 25 февраля).

Русская классика, впитав в себя мудрость многовекового народного опыта, раскрывала мысль о благополучной семье как важнейшей основе благоденствия, ничем не заменимой клеточке общественного и государственного организма. Она утверждала, что здоровая семья, плодотворно участвующая в созидании личного счастья (Л. Толстой писал, что счастлив тот, кто счастлив у себя дома), формируется на основе взаимной любви и уважения, на глубоком понимании важности долга свято чтить супружескую верность. А. Пушкин назвал Татьяну “мой верный идеал”, нарисовал ее с глубокой симпатией и любовью, в семейном кодексе чести у нее на первом плане стоит супружеская верность. Выйдя замуж за нелюбимого человека, продолжая любить Онегина, она говорит ему: “Но я другому отдана, Я буду век ему верна”.

Ф. Достоевский полагал, что в этих словах Татьяны заключается апофеоз ее нравственной красоты: она верна своему мужу, “честному человеку, ее любящему, ее уважаемому и ею гордящемуся”, хотя она и вышла за него “потому только, что ее с слезами заклиний молила мать”. Далее он разъяснял свою мысль: ведь Татьяна “сама, а не кто другая, дала согласие, она ведь, она сама поклялась ему быть честною женой его. Пусть она вышла за него с отчаяния, но теперь он ее муж, измена ее покроет его позором, стыдом и убьет его. А разве имеет право человек основать свое счастье на несчастье другого” (Собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 10. 1958. С. 449). Л. Толстой считал, что надо добиваться того, чтобы “нарушение обещания верности, даваемого в браке, казнились бы общественным мнением по крайней мере так же, как казнятся им нарушения денежных обязательств и торговые обманы, а не воспевались бы, как это делается теперь в романах, стихах, песнях, операх и т. д.” (12, 120). Он утверждал, что нравст-

венное сознание общества, наша совесть всегда осуждали распущенность и ценили целомудрие.

Конечно, “в нравственных понятиях людей нет ничего абсолютного” (Г. Плеханов), они изменяются вместе с изменением общественных условий. Нравственность - категория социально-историческая, и потому неправомерно применять старые моральные нормы к новой действительности. Изображенная Шолоховым революция началась с разрушения патриархальных основ народной нравственности, с осознания простыми людьми своей общественно-исторической значимости, своего права на личную свободу, в том числе и в семейных отношениях. Власть сильнейшего чувства, стремление к личному счастью столкнулись у Шолохова в непримиримой коллизии с властью долга и силой традиций, устоявшихся правил нравственности.

Своей эпопеей Шолохов отбрасывал представления, слишком долго бытовавшие даже в умах выдающихся художников, “о некоей ограниченности и неполноценности нравственного потенциала русского крестьянина”. По замечанию П. Выходцева, “даже Л. Толстой... оказался бессильным создать роман “Крестьяне”, над которым он долго думал”, так как “ему представлялось, что то, на чем должно было “держаться” его произведение, - любовь - не имеет достаточной почвы в крестьянской среде” (Творчество М. Шолохова. С. 132).

У Шолохова люди земледельческого труда выказывают неоспоримые духовно-нравственные богатства в личной жизни, в мире сокровенных чувств. М. Алексеев подчеркнул: “Оказалось, что полуграмотная казачка Аксиныя Астахова способна любить не менее глубоко и страдать не менее сильно, чем Анна Каренина, что мятущаяся душа Григория Мелехова не менее сложна, чем душа Андрея Болконского” (Слово о Шолохове. С. 23). По утверждению А. Калинина, “простой казак Григорий Мелехов вырастает ...в фигуру всемирно-исторического масштаба, а его любовь и трагедия становится вровень с любовью и трагедиями шекспировских, пушкинских, толстовских героев” (Там же. С. 236). Даже В. Кирпотин, не раз писавший о темноте, неразвитости, тугодумстве изображенных Шолоховым сельских персонажей, вынужден был признать: “Любовь и ревность у людей “Тихого Дона” так же могучи, как и у людей, известных нам по произведениям старых классиков, быть может, еще более могучи, так как их натуры необузданны и первобытны и не знают сдерживающих уз, накладываемых на поведение человека длительным культурным развитием. Их страсти сильнее опасений за собственную судьбу, страха смерти...” (Пафос будущего. С. 12).

Традицией советского литературоведения стало одобрение Григория и Аксины за то, что они презрели традиционную мораль, бросили открытый вызов казачьим правилам поведения, хуторскому мнению, не побоялись людского суда. Они хотят жить так, как им подсказывает сердце. Казачьи традиции, устоявшиеся нравственные нормы поведения вызывали у критиков привычное осуждение - и на самом деле в них было немало такого, что закономерно уходило в прошлое, что уродовало человеческую жизнь. Так, ничего хорошего не было в том, что муж мог зверски избивать жену, а люди, видя это, предпочитали не осуждать его.

Дайреджиев считал, что “простота нравов разрешала любой казачке быть жалмеркой, но так ясно понимала неполноценность этих отношений и так откровенно стыдилась их только Аксинья” (102). А вот Ильинична не понимала? А Наталья, никогда не изменявшая мужу, презиравшая Аксинью за связь с Листницким? И не говорит ли об отношении хуторских жителей к Дарье, которая стала жить по законам жалмерки, наверстывать “за всю голодную безмужную жизнь” то, что однажды Пантелей Прокофьевич “вышел на баз и за голову ухватился: ворота, снятые с петель чьими-то озорными руками и отнесенные на середину улицы, лежали поперек дороги. Это был позор” (3, 66). Избив Дарью, он выкрикнул: “Тебе, сучке, не так надо бы ввалить!.. Потаскуха!..” (66). Нет, казачья мораль была не той, какой представил ее критик. Когда Степан спросил Аксинью: “...слыхал, будто с панским сыном... Правда?”, то ей стало жгуче стыдно. Дайреджиев посчитал, что “стыдно ей не связи с Листницким, а своей неудавшейся жизни, постылой “нужды”, сделавшей ее “бессовестной”, разрыва с Григорием, которого она не забывала ни на минуту” (101). По понятиям критика, вряд ли разделяемых Аксиньей, связи с Листницким ей нечего стыдиться...

Якименко писал: “Многострадальная Аксинья - один из самых великих и прекрасных образов в истории русской и мировой классической литературы”; “Читатель становится на сторону Аксиньи, смело восставшей против рабского, приниженного положения женщины” (Творчество М. А. Шолохова. С. 453); “Образу Аксиньи свойственна поэтическая одухотворенность, возбуждающая чувство прекрасного. Даже Наталья меркнет рядом с Аксиньей. Узость и ограниченность чувства не дали Наталье возможности понять душевную драму Григория. Аксинья богаче, тоньше, одареннее” (Там же. С. 460). Литературоведы предпочитают не говорить о недостатках поведения и характера Аксиньи: если они и были, то, мол, сгорели в огне страстей...

Казачки говорили об Анисье: “змея”, “гадюка”. Григорий заметил, что “губы у нее бесстыдно-жадные, пухловатые” (2, 27). И на фронте он вспоминал ее “порочно-жадные красные губы” (3, 47). Ольга, жена Листницкого, увидев ее, сказала: “Какая порочная красота!” Несколько позже, уже от автора, говорится, что в лице Аксиньи “была все та же порочная и манящая красота” (4, 329). Своим поведением она нарушала народные представления о должном, ту нравственную обязанность, которую накладывает женитьба на супругов, то, что шло от религии, осуждавшей прелюбодеяние. И Аксинья, и Григорий совершают грех, преступают христианские правила поведения. Пантелей Прокофьевич, заметив неладное в их отношениях, говорит сыну: “Степан нам сосед, и с его бабой не дозволю баловать. Тут дело может до греха разыграть, а я наперед упреждаю: примечу - заporю!” (2, 17). Аксинья после возвращения мужа Степана со службы говорит ему: “Бей! Не таюсь, грех на мне”.

Слава о грешной связи Аксиньи с Григорием прокатилась по хутору. “Бабы при встрече с ней ехидно ощерялись, качали головами вслед, девки завидовали, а она гордо и высоко несла свою счастливую, но срамную голову” (2, 53). Пантелей Прокофьевич попытался усостыдить Аксинью, а та “вдруг бесстыдно мотнула

подолом”, “жгла его полымем черных глаз, сыпала слова - одно другого страшней и бесстыжей”... (2, 55). Вскоре дается обобщающая оценка поведению Григория и Аксиньи: “Так необычайна и явна была сумасшедшая их связь, так испуленно горели они одним бесстыдным полымем, людей не совестясь и не таясь, худея и чернея в лицах на глазах у соседей, что теперь на них при встречах почему-то стыдились люди смотреть” (2, 58). Бесстыдная любовь - это оценка хуторян, но не сказывается ли в ней и авторское отношение? Правда, писатель далее замечает: встретившись с такой открытой связью мужчины с замужней женщиной, “в хуторе решили, что это преступно, безнравственно, и хутор прижух в поганеньком выжиданьице: придет Степан - узелок развяжет” (2, 59). Ожидание поганенькое, но отменяет ли это оценку “бесстыдная любовь”? Эпитет “бесстыдный” то и дело сопровождает Аксинью. Когда она отдалась Листницкому и “схлынула волна бесстыдного наслаждения, она очнулась, резко вскрикнула, теряя разум, выбежала полуголая, в одной рубаше, на крыльцо” (2, 387). Можно ли проходить мимо этих оценочных эпитетов при характеристике Аксиньи? Бритиков считает, что “все человечно” в ней, он склонен приукрасить ее и в отношениях с Листницким, виноват-де Григорий, он ее “сам же отталкивал”. Он не согласен “с Натальиной наивной житейской мудростью “Когда любят - так не делают” (195).

Бунт Аксиньи в личных отношениях, вылившийся в борьбу за право любить Григория, был борьбой за счастье, он выливался в отрицание правоты людского суда, привычных нравственных норм поведения, в игнорирование того, что называется греховностью. Сначала Аксинью пугало “новое, заполнившее всю ее чувство... Проводив Степана в лагерь, решила с Григорием видаться как можно реже” (2, 43). Но мощная обоюдная физическая страсть растоптала предостережения ума. Голос рассудка заставляет Григория - еще до женитьбы на Наталье - думать об окончании любовных отношений с Аксиньей, он говорит ей об этом, но не находит у нее согласия. Понимая, что она обречена на страдания, желая быть вместе с любимым, Аксинья предлагает Григорию уйти из дома, хотя бы на шахты, но тот не осознал еще всей силы своего чувства, не хочет отрываться от хозяйства и отвечает: “От земли я никуда не тронусь” (2, 61). Сила страсти у Аксиньи такова, что она переступает все, что мешает ей любить Григория, что диктуется разумом. Чувство долга перед мужем уничтожалось теми издевательствами, зверскими избиениями, какие она вынесла от него.

Григорий стал невольным виновником гибели Аксиньи, но известную вину за его трагически сложившуюся жизнь можно возложить и на саму Аксинью. “Как только Григорий расстается с Аксиньей, - отметил В. Шугаев,- при всей сердечной боли от разлуки, при всех сновидениях, в которых он ее ласкает, нежит, в которых он счастлив с Аксиньей, все-таки он живет, так сказать, нормальной человеческой жизнью. Он хранит семью, растит детей, справляет свои обязанности по отношению к родителям, к жене, то есть идет будничная, нормальная, здоровая, по-своему красивая жизнь, потому что здоровая жизнь... всегда носит черты какой-то высокой житейской эстетики, продолжение рода, продолжение возделывания земли, преобразование ее... стоит появиться Аксинье, и не то чтобы все

летит кувырком, какая-то обморочная, дьявольская власть чувства начинает преобразать Григория в некоего служителя Любви, в рыцаря, очень печального, грустного - и в то же время воинствующего, вынужденного защищать это чувство от здоровой жизни, заниматься каким-то ненормальным делом, защищаться от нормального течения, потому что их страсть носит черты трагической предопределенности” (Литературная Россия. 1985. 17 мая).

Можно ли полностью оправдать Аксиныю, когда она захотела отбить Григория уже от законной жены? И нет ли отзвука авторской оценки в словах: “По ночам, иступленно лаская мужа, думала Аксиныя о другом, и плелась в душе ненависть с великой любовью. В мыслях шла баба на новое бесчестье, на прежний позор: решила отнять Гришку у счастливой, ни горя, ни радости любовной не видавшей Натальи Коршуновой. ...Встречала где-либо Гришку и, бледнея, несла мимо красивое, стосковавшееся по нем тело, бесстыдно-зазывно глядела в черную дичь его глаз” (2, 98-99). Григорию захотелось съездить посмотреть на своих детей, а Аксиныя удерживает его от поездки домой, говоря ему: “Значит, тебе семья дороже меня? Дороже?” (4, 412). Тяжкая и одновременно радостная власть сильнейшего чувства привела ее к страданиям и в конечном счете к смерти. Но еще раньше она стала виновницей - пусть и косвенной - гибели Натальи. По своей инициативе Аксиныя вызвала на любовное свидание Григория, что стало известно Наталье и что привело ее к смерти.

Ю. Бондарев справедливо писал: “Наталья же - один из лучших образов женщины скорбящей, любящей, терпящей, тип рублевской богоматери. Современная мировая литература такого духовного постижения сущности женщины не знала” (Т. 6. С. 302). Сочувственное отношение к Наталье выражено в “Тихом Доне” и прямыми авторскими оценками, и изображением ее внутренней сути, ее поведения и мироощущения. Среди персонажей, хорошо знающих Наталью, нет таких, которые бы могли сказать о ней что-то такое, что ее грязнило. Исследователи же относятся к ней более строго. Например: “И ты не можешь побороть в себе чувства неприязни к юной Наталье, хотя - не в пример Григорию - отлично видишь, как чиста эта юная душа, как нежно потянулась она к суженому” (Литвинов В. М. Шолохов. С. 60).

Но и Григорию она понравилась, иначе не стал бы он связывать свою жизнь с нею. Начальное впечатление о ней дается с позиций не столько автора, сколько Григория, приехавшего к Коршуновым свататься. Во внешнем портрете Натальи выделяются такие характерные подробности: “смелые серые глаза”, “руки... большие, раздавленные работой”, “высокие красивые ноги”, “бесхитростный, чуть смущенный, правдивый взгляд”. Осмотрев ее, “как барышник оглядывает матку-кобылицу перед покупкой”, Григорий подумал: “хороша”, “славная”. Аксиныя, ее заклятая соперница, говорит ему: “Наталья - девка красивая... Дюже красивая” (2, 60). Привлекательны в Наталье самоотверженная преданность своему чувству, стыдливость, совестливость. Будучи уже “законной” невестой Григория, она, когда он “хотел поцеловать” ее, “с силой уперлась руками ему в грудь, гибко перегнулась назад и со страхом метнула глазами на окна”, боясь, что этот поце-

луй увидят другие, ей совестно. Эта стыдливость останется у нее на всю жизнь. Можно утверждать, что истинно человеческое в человеке начинается прежде всего с чувства стыда.

К ее великому горю, Григорий ушел с Аксиньей в Ягодное, и ей стало стыдно “за свое неопределенное положение (она все не верила, что Григорий ушел навсегда, и, прощая, ждала его)”. В письме ему она подчеркнула, что ничем его не оскорбила, что она ждет определенности и даже выразила такую мысль: “...разлучать я вас не хочу. Пущай лучше одна я в землю затоптанная, чем двое” (2, 209). Уже это заставляет усомниться в истинности утверждений Якименко: “И все же облик Натальи не достигает гармонического совершенства прекрасного существа. Есть в ней ущербность, ограниченность. Ограниченность проявляется прежде всего в эгоистической замкнутости ее чувства. Наталья все-таки больше думает о себе, о своих страданиях. Она оказывается не в состоянии понять трагедию, переживаемую Григорием...” (Творчество М. А. Шолохова. С. 446). Но она может думать не только о себе, и, главное, она считает, что человек должен жить в соответствии с высокими нравственными законами.

После безразличного ответа Григория “Живи одна”, после того, как она услышала от парней позорящие ее реплики, хихиканье девок, Наталья восприняла уход мужа к другой как крушение всей своей жизни, и она “без мысли, без чувства, в черной тоске, когтившей ее заполненную позором и отчаянием душу”, взяла косу и, “запрокинув голову, с силой и опалившей ее радостной решимостью резанула острием по горлу” (2, 212). Не такая она безропотная и непокорная, как представляется некоторым исследователям. Она способна на решительные поступки, может пойти даже на смерть “ради нравственной чистоты, ради освобождения от тяжелой душевной безысходности” (Ю. Бондарев). Когда отец не захотел отдать ее замуж за Григория, обещая ей найти более достойного жениха, она настояла на своем. “Не нужны мне, батенька, другие...- Наталья краснела и роняла слезы.- Не пойду, пущай и не сватают. А то хучь в Усть-Медведицкий монастырь везите...” (2, 87).

Наталья органически не принимала легких отношений между мужчиной и женщиной. Всю жизнь она была верна мужу, своему чувству и долгу. После ухода из семьи Григория она жила, “вращивая бессознательную надежду на возвращение мужа, опираясь на нее надломленным духом” (2, 239). Наталья была бескрайне счастлива, когда Григорий возвратился к ней. Родив двойню, “расцвела и похорошела она диковинно”. Григорий, увидев ее после родов, “в первый раз подумал: “Красивая баба, в глаза шибается...” В другой раз Шолохов пишет о ней, изображая ее новую встречу с мужем после тяжелой болезни: “Сидела она такая жалкая, некрасивая и все же прекрасная, сияющая какой-то чисто внутренней красотой. ...Могучая волна нежности залила сердце Григория” (5, 73).

Мучительно настрадавшись, много пережив и передумав, став матерью, Наталья ощутила себя более сильной, укрепилось ее человеческое и женское достоинство, и потому в новую встречу со своей “гулящей” разлучницей, она ответила на ее подковырки “с несвойственной ей твердостью”: “У меня двое де-

тей, и за них и за себя я постоять сумею!” (5, 153). Э. Симмонс посчитал, что “Аксинья боится преданной, религиозной, высоконравственной Натальи с ее сильной волей и душевной красотой” (Вопросы литературы. 1990. № 5. С. 47). Примечателен разговор Натальи с Ильиничной, вечной труженицей, “мудрой и мужественной старухой”, которая вынесла много тяжкого, измены мужа, побои, но все-таки сумела сохранить семью, завоевать в конце концов подобающее хорошей жене и матери положение в ней, вырастить детей. Традиционная мораль и ростки новой отразились в этом разговоре Ильиничны и Натальи. Узнав, что Григорий опять спутался с Аксиньей, Ильинична перекладывает часть вины на саму Наталью: “Не доглядела” она “за ним... С такого муженька глаз не надо сводить”. Наталья резонно отвечает: “Да разве углядишь? Я на его совесть полагаюсь... Он не Мишатка, чтобы его сдерживать. Наполовину седой стал, а старое не забывает...” (5, 155-156). Она решила забрать детей и уйти к своим, больше жить с Григорием не хочет. “Смолоду и я так думала, - со вздохом сказала Ильинична. - Мой-то тоже был кобелем не из последних. Что я горюшка от него приняла, и сказать нельзя. Только уйти от родного мужа нелегко, да и не к чему. Пораскинь умом - сама увидишь. Да и детишков от отца забирать, как это так? Нет, это ты зря гутаришь. И не думай об этом, не велю!” (5, 156).

Бунтуя против своей судьбы, против оскорбления ее единственной - светлой и чистой - беспредельной любви к мужу, Наталья обращается за помощью даже к Богу с мольбой наказать его: “Господи, накажи его, проклятого! Срази его там насмерть! Чтобы больше не жил, не мучил меня!..” (5, 157). Ильинична в ужасе: невестка просит смерти отцу своих детей, это же великий грех... Она вразумляет Наталью: “Пожила бы так, как я смолodu жила, чтобы ты тогда делала? Тебя Гришка за всю жизнь пальцем не тронул, и то ты недовольная, вон какую чуду сотворила: и бросать-то его собралась, и обмороком тебя шибало, и чего ты только не делала, Бога и то в ваши поганые дела путала... Ну, скажи, болезная, и это хорошо? А меня идол мой хромоногий смолodu до смерти убивал, да ни за что, ни про что; вины моей перед ним нисколько не было. ...А ить выжила же и детей вскормила и из дому ни разу не счиналась уходить. Я не охваливаю Гришку, но с таким ишо можно жить. Кабы не эта змея - был бы он из хуторских казаков первым” (5, 159). Наталья не захотела больше рожать от Григория, не прислушалась к словам свекрови, возмущенной ее намерением убить ребенка в своем чреве (этим она обрекла и себя на смерть). Порыв чувства взял верх над умом, сделав аборт, она преступила народную и христианскую мораль. Ей не хватило тех жизненных сил, какие в свое время помогли Ильиничне выдержать более страшные удары судьбы.

Бритиков отмечал “эгоистическое начало” в любви Натальи (оно было и у Аксиньи). Но оно уходит в сторону, уничтожается перед ее смертью, когда со всей очевидностью проявились прекрасные нравственные качества Натальи: ее моральная чистота, сила духа, совесть и стыдливость, в смертный час она полна любви к детям, мужу, она простила ему все то плохое, что он сделал ей.

После известия о ее смерти по смуглым щекам Григория обильно текли слезы. “Воспоминания о ней были неистребимы и мучительны. ...Боль в сердце становилась все горячее. На лбу у него выступила испарина... Григорий страдал не только потому, что по-своему он любил Наталью... но и потому, что чувствовал себя виновным в ее смерти... Детская любовь возбудила и у Григория ответное чувство, и это чувство, как огонек, перебросилось на Наталью. После разрыва с Аксиной Григорий никогда не думал всерьез о том, чтобы разойтись с женой; никогда, даже вновь сойдясь с Аксиной, он не думал, чтобы она когда-нибудь заменила мать его детям. Он не прочь был жить с ними обеими; любя каждую из них по-разному, но, потеряв жену, вдруг почувствовал и к Аксинье какую-то отчужденность, потом глухую злобу за то, что она выдала их отношения и - тем самым - толкнула Наталью на смерть” (5, 177-178).

Мне представляется важным для понимания дальнейшей судьбы русской нации, если думать о роли традиционного и “революционного” в семейных отношениях, то, что после Натальи остается жить сын Мишатка. А кто продолжит жизнь Аксины, Дарьи, Лушки Нагульновой, которые очень категорично опровергали “старорежимную”, “ветхозаветную” семейную мораль? Не стоит ли заключить, что чем меньше сохранится у нас от этой “ветхозаветной” морали, тем быстрее исчезнет русский народ?

Дайреджиев отмечал, что Наталья привлекала к себе не только детьми: “Наталья и сама по себе, как идеальный образ патриархальной казачки, по своей цельной, но ограниченной натуре, манила к себе Григория. ...Ее счастье - дети и муж” (122). Указывая, что она “тихая, покорная, безответная”, критик укоряет ее за то, что не так обращалась со своими детьми, видите ли, надерзил деду Мишатка - она его отшлепала, чтобы он в дальнейшем не учился “так гутарить с дедом”. Ай, как нехорошо она поступила... И совсем плохо, что Наталья любила Григория “по-старомодному - не рассуждающе, покорно” (123). И вот итог укорительного анализа ее характера : “Читатель понимает ее трудную жизнь, иногда жалеет ее, но она неизменно чужда его сердцу и разуму” (128). И получается: долой всякую старомодность, всякий стыд и совесть, надо дать полную свободу чувству, нечего придерживаться чуждых новой морали христианских заповедей. Надо же помнить, что, как писал Кирпотин, “в старых обычаях, охранявших патриархальный уклад казачьего быта, на первый план выдвигалась косная, реакционная старина”, “традиция восставала против нового... против индивидуального” (125-126). В действительности дело обстоит не так просто, если иметь в виду нравственную ценность народных традиций и если внимательнее всмотреться в образ Натальи, которая, будучи до конца верной своему чувству, своим представлениям о счастье, надломилась, надорвалась в борьбе за нормальную семью.

Суть жизненной драмы Натальи Бритиков определил так: “Справедливо (в ее понимании) требуя от Григория верности, она не спрашивала, чему же должен быть верен Григорий: чувству ли своему, или тому, что судьба по прихоти свела его с чужим, по-своему хорошим, но все же внутренне чужим человеком.

Здесь и начинается драма. ...Не тот муж, поймет Наталья, кто дан людьми, действующими от имени закона и обычая, а тот, кто дан любовью” (190). Но не могут ли вставать и такие весомые вопросы: ты же выбрал меня и женился на мне, силой делать этого тебя никто не заставлял, значит, я тебе нравлюсь, ты меня любишь? И как оценить твоё поведение, когда ты “любил” случайных женщин? Есть ли у тебя моральное право забывать о судьбе твоих детей? Не должна ли “незаконная” любовь поступиться перед родительским долгом? Не прав ли В. Белов, который в рассказе “Воспитание по доктору Споку” гневно бросает: “Надо же понять когда-нибудь им, любовникам обоёго пола, что после рождения ребенка любая другая “любовь” - предательство”? Никуда не уйдешь от того, что в людской морали, в законе заключается одна из основ устойчивости семьи, а в ней - главная опора общества и государства, гарантирующая его долговечную жизнеспособность.

Приведем интересный факт, говорящий о роли традиционных крестьянских представлений в миропонимании Шолохова: пришло время ему и гостям в Вешенской искупаться в реке, “разошлись - отдельно мужчины, отдельно женщины. Так настоял хозяин”. “Я старомодный, - приговаривал он, - не признаю общих пляжей, свального греха. На здоровье купайтесь, загорайте на солнце - только в стороне от нас”. Е. Серебровская отметила: “...при высокой, острой впечатлительности Шолохова было в его принципах что-то и от традиционно-крестьянского, весьма устойчивого уклада. Хотя бы эта самая любовь к детям. Слышала, как осуждал он знакомых помоложе за разводы в тех случаях, когда в семье росли дети” (Нева. 1987. № 11. С. 154).

Новые веяния подрывали основы казацкой семьи, где глава был полновластным хозяином. Да, в ней была “косная, реакционная старина”, но ведь прежде “работа шла ряд рядом, сообща делили и радость и горе, и во всем быту сказывалась большая, долголетняя слаженность” (5, 122). Война искорежила все это, семья распадалась, “были нарушены родственные связи, утрачена теплота взаимоотношений, в разговорах все чаще проскальзывали нотки раздражительности и отчуждения” (5, 123), в семью пришли разлад и сумятица.

“Дуняшка злилась на родителей за то, что те лишили ее надежды когда-нибудь выйти замуж за Мишку Кошевого - единственного, кого она любила со всей девичьей страстью...” (5, 123). Но как могли согласиться на это ее отец и мать, если этот самый Мишка убил их сына Петра, если он был заядлым большевиком?.. Григорий страшает Дуняшку: “...о Мишке Кошевом с нынешнего дня и думать позабудь. Ежли услышу, что ты и после этого об нем сохнуть будешь, - на одну ногу наступлю, а за другую возьмусь - так и раздеру, как лягушонка! Поняла?” (5, 68). Но Дуняшка, “оправившись от смущения и обиды... тихо, но решительно сказала: “Вы, братушка, знаете? - Сердцу не прикажешь!” (5, 69). Григорий советует ей “вырвать такое сердце, какое тебя слушаться не будет”, забыв, как он сам не смог справиться со своим чувством и пошел против воли родителей и хуторского мнения. Ильинична подумала: “Не тебе бы, сынок, об этом гутарить...”

Молодая жизнь причудливо переплетает людские судьбы, берет свое, не подчиняясь наставлениям старших. Бесплодность угроз Дуняшке выявляет сценка, в которой драматизм отношений героев окрашивается юмористической тональностью. Свою власть в решении семейных вопросов хочет выказать Пантелей Прокофьевич, стращающий Дуняшку тем, что отхлещет ее вожжами, но Дарья роняет, что у них не осталось ни одних вожжей. Тогда он грозит взять черседельню, но и ее красные забрали, потом обещает взять желужину, но и ее “на базу днем с огнем не сыщешь”, как сказала Ильинична. И после этого даже Григорий “трясся в беззвучном хохоте”. А маленький Мишатка сразил деда новой обидой, звонко сказав: “Развоевался, хромой бес! Дрючком бы тебя по голове, чтоб ты не пужал нас с бабуней!..” (5, 69).

В одном из разговоров Шолохов высказал парадоксальную мысль: “Есть у меня мысль написать о любви, большой и значительной. Я не писал никогда о любви”. Ему напомнили о бессмертных страницах, написанных им о любви Григория и Аксиньи, о неразделенной любви Натальи, о Варюхе-горюхе, но он ответил: “Бессмертные страницы о любви еще нужно создавать. Вот только не уверен - получится ли? Сомневаюсь, внутренне сомневаюсь”. И далее он размышлял: “В любви нужен ум. Ум делает любовь осмысленнее, многостороннее. Что в молодые годы? Поцелуи, объятия, близость. И только! А вот приходит зрелось и любовь становится богаче, интереснее, глубже” (Русская литература. 1978. № 2. С. 176).

Незадолго перед самоубийством Дарья говорит Наталье: “Любила по-собачьему, кое-как, как приходилось... Мне бы теперь сызнова жизнь начать - может, и я бы другой стала” (5, 136). Слишком поздно по-настоящему проснулся разум у нее. Лушка в “Поднятой целине” - иной тип женщины, но у нее есть общее с Дарьей: у них была “собачья любовь”. У Лушки “какая-то приманчивая и нечистая красота была в ее дегтярно-черных глазах, во всей сухощавой статной фигуре” (6, 109). Старая Филимониha говорит: “Ну и бессовестная же ты, Лукерья..” (7, 31). Легко шагает по жизни эта “веселая, беспутная бабенка”. И вот ее то любил по-настоящему весь устремленный на мировую революцию Макар Нагульнов, который умел при всем своем взрывном характере укрощать чувство ревности. Давыдов говорит Нагульнову: “Но я тебе прямо скажу: вот я коммунист, но на это у меня нервы тонкие, я побил бы и выгнал к черту! А тебя она дискредитирует перед массой, и ты молчишь. Где она пропадает всю ночь?” Нагульнов возражает: “У тебя на бабу вид, как на собственность”. Давыдов разъясняет, что собственность-то существует, нечего ее отменять: “Семья-то существует? А ты... на твою бабу лезут... разврат разводишь, терпимость веры. Я об этом на ячейке поставлю!..”

Оказывается, у Лушки давненько начались любовные приключения, с ними как-то свыкся Нагульнов, он признается, что “сердцем к ней присох”. И лишь публичное оскорбление не мог стерпеть Нагульнов. Выгоняя Лушку, он говорит: “Я, любя тебя, много стыдобы перетерпел, а зараз разорвало мое терпенье! С кулацким сыном путалась - я молчал. А уж ежели ты при всем колхозном созна-

тельном народе по нем в слезы ударились, нету больше моего терпенья! Я, девка, с тобой не то что до мировой революции не дотяну, а вовсе могу с катушек долой” (6, 124).

Тягостные интимные переживания привели трагического романтика Нагульнова к комическому выводу о ненужности семьи: “Какие исстари одурели, поженились, энти пуццай доживали бы с женами, а молодым вьюношам я бы по декрету запрет сделал жениться. Какой из него будет революционер, ежели он за женин подол приобвыкнет держаться? Баба для нас, как мед для жадной мухи. Доразу влипнешь. Я на себе испытал, категорически знаю... Вот я, к примеру, развелся с Лушкой и распрекрасно себя сознаю” (6, 265-266). Чувствовал себя он “распрекрасно”, но кружевной платок Лушки хранил до убийства Тимофея, до того дня, когда ей - по его же приказу - пришлось уехать из Гремячего Лога... Не исчезла любовь в сердце Нагульнова, она лишь было взята под жесткий контроль разума.

Шолохов изображает, как нелегко порой человеку жить по законам ума, как мощно может захватить его физическая страсть. Давыдов, упрекая, учил Нагульнова, как надо вести себя с беспутной Лушкой, и вдруг сам попал во власть сильного плотского влечения к ней. Рассудок подсказывает ему, что он оказался в некрасивой ситуации, замарал себя, что надо найти достойный выход - и Давыдов, посчитав возможным перевоспитать Лушку, предлагает ей выйти замуж за него. А та не согласилась, высмеяла его за боязнь потерять авторитет среди колхозников из-за любовной связи с нею.

Свои представления о должном участии ума в решении сложных интимных ситуаций Шолохов раскрыл, изображая отношения Вари Харламовой и Давыдова. Писателю была “особенно по душе” одна из глав, которая писалась с радостью: “Глава эта - о преданной и чистой, как родник, любви”. Он считал, что молодым “важно прочесть это место в книге”: “На земле надо жить с хорошей и большой любовью” (Комсомольская правда. 1959. 18 октября). Встретившись с беззаветной любовью семнадцатилетней Вари, которая “вся чистая, как зоренька в погожий день”, Давыдов думает: “Нет, милую Варюху можно любить только всерьез, попросту баловать с ней мне совесть не позволит. ...Ну, а если я всерьез любить пока еще не научился, то нечего мне и голову морочить девушке. Тут уж, матрос Давыдов, отчаливай, да поживее!..” (7,119). И только после того, как ему стало известно, что Варю хотят отдать замуж за нелюбимого, противного ей человека, “до него наконец дошло, что он, таясь от самого себя, пожалуй, давно любит эту девушку - какой-то новой для него, бывалого человека, чистой и непонятной любовью...” (7,33). Разум, совесть диктуют ему бережное отношение к чувству Вари, он берет полную ответственность за ее дальнейшую судьбу, власть сердца, желания контролируются рассудком.

Изображение в творчестве Шолохова традиционного и революционного в семейном укладе, роли ума в поведении человека при решении личных драм питает одну из плодотворных ветвей современной русской литературы в освещении вечного конфликта “ум с сердцем не в ладу”. Шолоховские традиции проти-

водействуют разрушительным тенденциям в литературе по отношению к семейным устоям.

Опираясь на народную мораль, на творческий опыт Шолохова и русской классики, В. Белов удачно опозитизировал в повести “Привычное дело” простую крестьянку Катерину, самоотверженно отдающую себя работе, детям, семье. Отлично понимая важнейшую роль женщины в укреплении семейного очага, писатель не скрывает своего отрицательного отношения к излишне эмансипированным представительницам прекрасного пола, которые пренебрегают семьей, не хотят иметь детей, которые своим поведением, своим отрицанием “предрассудков” - чести, совести, верности - унижают самих себя. В романе “Все впереди” нарколог Иванов выражает авторскую мысль, утверждая: “...для многих дурочек свобода и нравственная распущенность - это одно и то же”. Брезгливое чувство вызывает в романе пропахшая никотином Наталья, жена Зуева, называвшая женскую верность домостроевской кабалой. Она нравственно деформировалась, опустила, стала алкоголичкой - и это привело к развалу семьи.

Выступая против тех женщин, которые хотят быть свободными от совести, долга, Белов утверждает такой идеал семьи, где есть жена, муж и дети, живущие в любви и согласии, делящие между собой все радости и невзгоды, преодолевающие все трудности, встающие перед ними. Нетрудно понять, почему в романе “Все впереди” он неодобрительно относится к сестре Иванова, заявившей, что она “ни о чем так не мечтает, как стать матерью-одиночкой”.

По мысли Л. Толстого, в разжигании чувственности немалую роль играют “наряды, чтения, зрелища, музыка, танцы, сладкая пища, вся обстановка жизни, от картинок на пробках до романов и повестей...” Но что сказал бы великий писатель, познакомившись с современной прозой, широко открывшей двери тем, кто очень охоч до изображения пикантных ситуаций и рисует их без должного нравственного освещения, кто скатывается к откровенной порнографии. И не трудно представить его отношение к нашему телевидению, каждый день демонстрирующему фильмы с бесконечными убийствами и постельными сценами. Шолохов говорил М. Ларни: “Порнография никогда не была и не будет искусством. Изображая эротику, писатель ставит как бы на острие ножа интимное и прекрасное в человеке. Но писатель не имеет права ранить человека ножом. Писатель не должен, по-моему, изображать человеческие слабости и пороки просто как таковые, ради их самих, а только ради того, чтобы показать их гибельность” (Огонек. 1964. № 15. С. 6).

В 1958 г. Шолохов в беседе с редактором газеты “Руде право” посчитал важной “борьбу с порнографической литературой, со всякими “комиксами”, которые портят молодежь и прививают ей нелепые, вредные взгляды”, осудил людей, которые, “профессионально владея пером, пишут сценарии гангстерских человеконенавистнических фильмов, получивших такое широкое распространение во многих странах” (8, 390). Однажды он сказал, раздумывая о необходимости некоторой переработки своих произведений: “Подрастают мои дочери, и я подумал: как им читать слишком вольные сцены” (Осипов В. Годы, спрятанные...

С. 94). Понятно, что Шолохов с такими “консервативными” воззрениями не угоден слишком “прогрессивным” деятелям культуры, которые стремятся развратить молодое поколение, растоптать русские национальные традиции, дискредитируют само понятие верности семье, издеваются над совестью, скромностью, целомудренностью и стыдливостью.

Еще в 1945 г. была создана известная доктрина Даллеса, в которой большая роль отводилось идеологическому, нравственному растлению советского молодого поколения: “Литература, театры, кино - все будут отражать и прославлять самые низменные чувства... Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны... Мы будем бороться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов”. Все это сейчас более чем успешно реализуется у нас в печати, литературе, театрах, в телевизионных передачах.

Этому-то и противостоит творчество Шолохова, его художественные произведения и выступления. И этого не могут простить ему многочисленные измышлянты, придумывающие о нем грязные небылицы. Бондарев справедливо заметил: “Будь Шолохов жив, он испытывал бы отчаяние “при виде всего, что совершается дома”, при виде “культурной и экономической колонизации” России, при виде чудовищного засорения русского языка англицизмами, галлицизмами, германизмами и прочей иностранной чепухой, не говоря уже о лавине бульварно-порнографического мусора” (Правда. 1995. 24 мая).

Глава 9. “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА” М. ШОЛОХОВА И СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПРОЗА О ДЕРЕВНЕ

Сейчас немаловажную роль в литературной борьбе и в яростных нападках на Шолохова и его творчество играет то размежевание, которое обусловлено разным отношением к русскому крестьянству и его культуре и которое многое выявляет в особенностях отношений к важнейшим общественно-политическим, эстетическим и литературным проблемам.

Если в произведениях М. Булгакова, К. Федина и, пожалуй, Л. Леонова главные герои - интеллигенты, то у М. Шолохова - люди физического труда. В. Закруткин писал: “Как никто другой, Михаил Александрович Шолохов был сыном земли. Он всегда был и оставался другом простых работающих людей: пахарей, табунщиков, рыбаков, шахтеров, солдат, матросов” (Литературная газета. 1984. 29 февраля). Лучше всего он чувствовал себя, общаясь с сельскими тружениками. По его мнению, в деревне находятся глубины народной культуры и нравственности: “Деревня, и только она, источала, источает и будет источать такие прекрасные человеческие качества, как скромность, тактичность, деликатность, уважительность, стыдливость, участливость и совесть” (Огонек. 1985. № 21. С. 9).

“Главным в крестьянском быте, - писал М. Лобанов,- была нравственная его основа, обнимавшая все стороны существования и деятельности человека. Не-

даром крестьянский труд издревле считался праведным, безгрешным по сути своей: земледелец, добывая пропитание собственным трудом, не имеет нужды обманывать других, прибегать к лжи, насилию”¹. И вот этот труд долгое время компрометировался в общественном сознании. М. Кузнецов в книге “Главная тема” (1964) открыто выступил против поэтизации земледельческого труда на том основании, что в советском обществе она “превращается в поэтизацию единоличного труда, противопоставленного труду колхозному, коллективному”. Он увидел необычайно великую “гуманистическую заслугу” нашей литературы в том, что она “вела прямую атаку на собственническую идеологию, на все мировоззрение крестьянина-единоличника”. В результате подобных атак в печати и в самой жизни, что подкреплялось соответствующими организационными мероприятиями, была разрушена самобытная крестьянская культура. Как писал Ст. Куняев, многих “крестьянских поэтов “затравили” задолго до возвышения Сталина Радек и Сосновский, Бескин и Лелевич, Авербах и Безыменский”. Эти литераторы не терпели писателей, которые правдиво, с глубокой симпатией отражали мировосприятие крестьян, высоко ценили личную свободу, человеческое достоинство, любовь к земле, к России. В 1923 году С. Есенина вместе с поэтами С. Клычковым, П. Орешиним и А. Ганиным без всяких оснований обвинили в антисемитизме. В тюремных застенках погибли не желавшие славословить Сталина и его режиму А. Ганин, Н. Клюев, С. Клычков, П. Васильев, В. Наседкин, П. Орешин, И. Касаткин.

Прошли десятилетия, но отношение к деревне у некоторых критиков мало в чем изменилось“. Советская Россия” от 29. 11. 1987 г. сообщила, что при обсуждении очерков И. Васильева писателя упрекали в том, что он излишне приукрашивал “образцы самобытности прошлого уклада нашего крестьянства”. Не раз писали в таком же духе о “Ладе” В. Белова. Подобным скептикам неплохо бы прислушаться к тому, что говорил Ф. Абрамов: “Воспитанный в серьезных трудовых традициях русский крестьянин являл собой пример честности, совестливости, делового доверия... А какое чувство красоты жило в народе! Какие сказочные вещи делал он из дерева, бересты! Старые дома на Севере - дворцы, недаром их называли хоромами, а теперь от Белого до Черного моря - стандарт. Задача в том, чтобы сохранить и приумножить ценности, которые накапливались на протяжении вековой истории”. Эти ценности не принимаются теми, кто не хочет понять, что корни нации, ее нравственности и культуры - в деревне, в отношениях с матушкой землей, кто с удовольствием рассуждает о темноте, невежестве, пассивности, жестокости крестьян, об идиотизме деревенской жизни.

В. Белинский видел преимущество поэзии А. Кольцова в том, что он глубоко раскрыл крестьянское мировосприятие, показал такие стороны земледельческого труда, которые оказались обойденными в творчестве дворянских поэтов. А. Солженицын включил в ядро современной русской прозы Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, Б. Можая, Е. Носова, В. Солоухина, В. Тендрякова, В. Шукшина, которые пришли в литературу из деревни, им не надо было “угадывать” чувства и мысли сельских жителей, это впиталось в них с молоком матери

и опытом самой деревенской жизни. И далее Солженицын писал: “А вот: такого уровня во внутреннем изображении крестьянства, как крестьянин чувствует окружающую свою землю, природу, свой труд; такой ненадуманной, органической образности, вырастающей из самого народного быта; такого поэтического и щедрого народного языка...- к такому уровню стремились русские классики, но не достигли никогда: ни Тургенев, ни Некрасов, ни даже Толстой. Потому что - они не были крестьянами. Впервые крестьяне пишут о себе сами. И сейчас читатели могут наслаждаться тончайшими страницами у этих авторов” (Кубань. 1989. № 4. С. 93).

Здесь неоправданно выпал Шолохов, который является центральной фигурой в советской литературе, посвященной жизни крестьян. В его произведениях они проходят жестокую проверку на право быть выразителями общерусских интересов в эпоху революции и колхозного строительства. Вовлеченные в историческое действие, они утверждают свою правду, свое понимание справедливости, основ народного счастья, явственно выявляют свои нравственно-психологические особенности - и все это с такой полнотой интеллектуальной и эмоциональной жизни, отчетливо раскрывают такие внутренние богатства, какие были присущи самым известным, самым привлекательным героям мировой литературы. Ершов писал: “Если у Л. Толстого полнотой интеллектуальной и эмоциональной жизни наделялись дворяне, то у Шолохова носителями высокого ума и редкого душевного таланта выступают простые люди. Шолохов впервые в русской литературе преодолевает представления о традиционной ограниченности сельского существования” (Творчество М. Шолохова. С. 79). Хватов подчеркивал: “Одним из самых важных и знаменательных художественных завоеваний Шолохова является то, что он в личности простых людей, людей труда, земледельческого и ратного, открыл неиссякаемые родники таланта и красоты, великодушия и благородства и все это воплотил в образах, подкупающих своей естественностью и той достоверностью, которая стирает грань между искусством и реальной жизнью” (Там же. С. 23).

И поразительно: в 1931 г. Радек обвинил Шолохова не только “в политической неграмотности, “но и в незнании русского мужика и вообще деревни” (Шолохов М. Россия в сердце. М., 1975. С. 24). В то время писатель часто ездил по Северо-Кавказскому краю, по Донщине - по хуторам и станицам “по делам коллективизации”. Бывать в колхозах стало его художественной потребностью, без этого, по его словам, он “не мог бы писать” (Огонек. 1984. № 33. С. 14). Через много лет Р. Медведев писал о полной отчужденности Шолохова от земли, он-де “не пристрастился ни к садоводству, ни к огородничеству. ...Никто не видел его за возделыванием собственного сада или огорода” (155). Но вот свидетельство Марии Петровны: “природу, землю любил он очень, открытой душой воспринимал ее - живую, свободную, не уставал удивляться и восхищаться ею. Часто в саду или в огороде зовет меня, будто что-то произошло, подойду, а он, радостный, возбужденный, говорит: “Посмотри, еще вчера огурец всего-то вот такой был, а сегодня!..” (Литературная Россия. 1985. 24 мая).

Чтобы верно оценить содержание “Поднятой целины”, надо хорошо понимать суть коллективизации: была ли она необходимой, что она дала нашему народу, как можно было избежать негативных последствий поспешного объединения единоличных хозяйств в коллективные. В 1954 г. Шолохов говорил: “Понятно и ясно было только одно: старая деревня, которую с таким лирическим надрывом оплакивал Сергей Есенин, - она не могла не только дальше развиваться, она просто не могла существовать в своих старых формах, она не могла развиваться в крупные, мощные хозяйства, которые только и могли бы приобретать и применять машины для обработки земли. Та старая деревня неизбежно стала бы трагическим тормозом в развитии всей экономики нашей страны” (Русская литература. 1986. № 2. С. 146).

Столкнувшись с немалыми трудностями в 1928-1929 гг., не желая использовать гибкие экономические средства, которые бы способствовали росту сельскохозяйственной продукции и не разрушили нормальных отношений с крестьянством, Сталин решил использовать при заготовке хлеба административный нажим, репрессии. В 1929 г. в Донской области власти провели хлебозаготовки так, что крестьяне остались без хлеба. 18 июня 1929 г. Шолохов сообщил Левицкой: “...вот уже полтора месяца, как творятся у нас нехорошие вещи. Я втянут в водоворот хлебозаготовок (литературу побоку!), и вот верчусь, помогаю тем, кого несправедливо обижают, езжу по районам и округам, наблюдаю и шибко “скорблю душой”. Жмут на кулака, а середняк уже раздавлен. Беднота голодает... Народ звереет, настроение подавленное, на будущий год посевной клин катастрофически уменьшится” (Знамя. 1987. № 10. С. 180). Возмущенный жестоким отношением к хлеборобам, он далее написал: “...надо на густые решета взять всех, вплоть до Калинина; всех, кто лицемерно вопит о союзе с середняком и одновременно душит этого середняка”. Это письмо было передано Сталину. О преступной практике на Дону Шолохов писал краевому прокурору, в ЦК партии, во ВЦИК.

Самый трудный вопрос: был ли иной путь развития, при котором бы успешнее развивалось наше народное хозяйство? В романе Б. Можая “Мужики и бабы” говорится: “А ты Ленина читал? В его статье “О кооперации” есть хоть слово о колхозах? Нет же. Это значит, что он не выпирал их на первое место, не требовал к ним центрального внимания партии. Это значит, что колхозы еще не ко времени, колхозы - наиболее трудный путь кооперации. Надо учиться торговать, хозяйствовать, на ноги встать. Куда мы торопимся?.. Все, что левая оппозиция предлагала, все с лихвой наверстывается”. Писатель прав в том, что с коллективизацией - в предложенных Сталиным темпах и сроках - поторопились. Это стало следствием широкого распространения левацких настроений, ошибочного отношения к крестьянам, непонимания особенностей их труда, их отношений с землей.

Трагические издержки коллективизации были велики. Вместе с тем требования самой жизни толкали к созданию крупных хозяйств. Шолохов размышлял об этом: “Индустриализация страны требовала огромного количества рабочих рук. Откуда же пополнялся рабочий класс? ...главным образом за счет вербовки

жителей сельской местности. ...так что без коллективизации сельского хозяйства, как и без индустриализации, без крупной промышленности, мы не смогли бы выстоять и победить в минувшей войне!” (Русская литература. 1986. № 2. С. 146). В другой раз он говорил: “А все наши беды от непонимания крестьянства. ...Коллективизация - хорошее и необходимое дело. Но почему “сплошная”? И почему в пожарном порядке? И почему раскулачивание? Надо бы помогать крестьянам, а мы самых способных, самых старательных, работающих, таких, как Титок Бородин, сняли с земли и угнали с семьями черт знает куда. Ну и остались без хлеба, без мяса и молока” (Правда Украины. 1988. 1 октября).

На подобные вопросы отвечал А. Н. Яковлев в статье “Против антиисторизма” (1972), в которой он утверждал, что “справный мужик” восставал “против человечности и свободы”, и изрекал: “И то, что его жизнь, его уклад порушили вместе с милыми его сердцу святынями в революционные годы, так это не от злого умысла и невежества, а вполне сознательно... А “справного мужика” надо было порушить”. Через 20 лет в книге “Предисловие. Обвал. Послесловие” он выступил за частную собственность на землю, за то, чтобы крестьянину-единоличнику были созданы у нас хорошие условия жизни,

Идея коллективизации опиралась на соборный дух нашего крестьянства, на традиции общинной жизни. Русские крестьяне совместно владели землей, в общине было самоуправление, руководителей выбирали, мирские и хозяйственные дела обсуждали и решали на сходе. Используя традиционное умение русских жить в коллективе, Сталин и его окружение, пустив в ход произвол и беззаконие, подняли во время коллективизации деревенскую бедноту против зажиточных крестьян, против умелых мастеров земледельческого дела и нанесли огромный ущерб сельскому хозяйству.

За годы первой пятилетки поголовье скота в стране сократилось вдвое, валовые сборы зерна за вторую пятилетку были ниже, чем в первую. В 1933 г. в нашей стране разразился страшный голод, унесший очень много человеческих жизней. “Сначала вывезли весь фураж, - писал М. Алексеев, - подошли лошади колхозные... Люди умирали семьями. В нашем селе Монастырском из 600 дворов осталось 150, а ведь в те места тогда еще не докатилась ни одна из войн. Многие мои родные и школьные товарищи умерли у меня на глазах, многих из них закапывали в землю там, где их настигала голодная смерть” (Литературная газета. 1987, 25 ноября). И на Дону положение было не лучше.

В этих условиях Шолохов сделал все, что от него зависело, чтобы добиться справедливости, облегчить положение людей. Когда оклеветали ряд руководящих работников районного звена и возложили на них всю ответственность за тяжкие деяния крайкомовского начальства, Шолохов обратился с письмом к секретарю Вешенского райкома партии Луговому, где говорилось: “События в Вешках приняли чудовищный характер... Лучших людей сделали врагами нашей партии... Выходит, что вы разлагали колхозы, грабили скот, преступно сеяли, а я знал и молчал. Все это настолько нелепо и чудовищно, что я не подберу слов. Более тяжкого, более серьезного обвинения нельзя и предъявить. Нужно со всей

лютостью бороться за то, чтобы снять с себя это незаслуженное черное пятно!” (Советский Казахстан. 1955. № 5. С. 72).

30 апреля 1933 г. Шолохов писал А. Солдатову: “Положение у нас остается хреновым. С севом провалились, с харчами... лучше уж не говорить. А можно коротенько сказать: не только пухнет люд, но и помирает. Во всяком случае, сейчас несравненно тяжелее, чем в 1921-1922 гг. И так тяжело было на душе у Шолохова, что несколько раньше, 22 января 1933 г., в письме Солдатову он признался: “Я подумываю о том, как бы заблаговременно “эвакуироваться...” (Литературная Россия. 1990. 25 мая). Шолохов писал тогда Левицкой: “Хорошее: опухший колхозник, получающий 400 грамм хлеба пополам с мякиной, выполняет дневную норму. Плохое: один из хуторов, в нем 65 хозяйств, с 1-го февраля умерло около 150 человек. По сути - хутор вымер. Мертвых не заховаят, а сваливают в погреба. Это в районе, который дал стране 2300000 пудов хлеба” (Московские новости. 1988. 3 апреля). В этом же письме он указал, что послал Сталину “два письма... получил от него две телеграммы”. В одной из них Сталин сообщил, что послано 40 тысяч ржи, а Шолохов в новом письме утверждал, что этого явно недостаточно: “Потребность в продовольственной помощи для двух районов (Вешенского и Верхне-Донского), насчитывающих 92000 населения, исчисляется минимально в 160000 пудов”. И далее он нарисовал жуткую картину: “Некоторые семьи живут уже без хлеба на водяных орехах и на падали с самого декабря мца. А таких “некоторых” как раз большинство. Теперь же по правобережью Дона появились суслики, и многие решительно “ожили”: едят сусликов вареных и жареных, на скотомогильники за падалью не ходят, а не так давно пожирали не только свежую падаль, но и пристрелянных сапных лошадей, и собак, и кошек, и даже вываренную на салотопке, лишенную всякой питательности падаль... Помните ли Вы, Иосиф Виссарионович, очерк Короленко “В успокоенной деревне”? Так вот этакое “исчезновение” было проделано не над тремя заподозренными в краже у кулака крестьянами, а над десятками тысяч колхозников. Суды, не вникая в суть дела, строчат приговоры (боясь, как бы им не пришили “потворство классовому врагу”), идет массовое выселение на север, свирепствуют ОГПУ, спешно разыскивая контрреволюционеров, колхозников избивают и пытаются... Если все, описанное мною, заслуживает внимания ЦК - пошлите в Вешенский район доподлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости, невзирая на лица, разоблачать всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и открыли не только всех тех, кто применял к колхозникам омерзительные “методы” пыток, избиений и надругательств, но и тех, кто вдохновлял на это” (Дон. 1988. № 6. С. 124).

В. Радзишевский в «Литгазете» от 24 мая 1996 г. увидел в этих письмах Шолохова продолжение сделки (о ней шла речь): “В частности, уже 6 апреля 1933 года, жалуюсь Сталину на зверства при хлебозаготовках, не забывает прибавить: “Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу “Поднятой целины”. Нет, не годится слово “жалуюсь” при определении смысла и тональности шолоховских посланий Сталину. В них он обличал,

негодовал, требовал как можно быстрее оказать помощь умирающим людям, наказать тех, кто чинил произвол и беззаконие, кто довел до лихой беды целые районы на Дону - а все это в конечном счете метило и в верховную власть. И в "прибавке" Шолохова надо видеть не продолжение "торга", а почти незашифрованную угрозу: одно дело - написать Сталину, об этом будет известно немногим, а другое - создать на столь обжигающем душу жизненном материале художественное произведение, это стало бы мощным ударом по всей идеологии коллективизации. Сталин это понял, не потому ли появились жесткие фразы в его ответном письме Шолохову?..

6 мая 1933 г. Сталин поблагодарил Шолохова за письма, так как они "вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма". В то же время он высказал и свое недовольство позицией писателя, который в своих посланиях задевал высокое начальство: "Это не значит, что я во всем согласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо. Но это только одна сторона дела. ...А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили "итальянку" (саботажи!) и не прочь были оставить рабочих, Красную Армию - без хлеба. И далее Сталин добавляет: "Конечно, это обстоятельство ни в какой мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены...И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание" (Правда. 1990. 20 мая).

На Дон прибыла специальная комиссия во главе с Шкирятовым, которая подтвердила правильность письма Шолохова о серьезных перегибах в Вешенском районе, о фактах грубого администрирования, "массовых арестов и изъятия всего имущества колхозников". Шкирятов констатировал: "Главная ответственность за перегибы, а именно, - за массовые изгнания колхозников из домов и запрещение колхозникам приютить на ночь изгнанных на улицу колхозников, - падает на крайком..." (Подъем. 1993. № 11-12. С. 78).

Своей бескомпромиссной борьбой Шолохов добился освобождения многих арестованных и осужденных, восстановления в партии и должности ряда районных работников. В Донской край доставили семена и продовольствие. Шолохов спас от голодной смерти многие тысячи людей.

В наше время нашлись критики, которые упрекают Шолохова за то, что он не показал в "Поднятой целине" страшных последствий голода в 1933 г., сгладил те репрессии, какие использовала власть, проводя коллективизацию. Так, Т. Иванова заявила: "Со стороны нравственной это произведение ущербно. Оно дезинформирует людей об одном из страшных преступлений двадцатого века - о коллективизации" (Знамя. 1990. № 5. С. 230). Но в романе есть немало жуткой правды, острых драматических сцен. В нем показано, как обобществляли весь скот и даже кур, как заставляли единоличников везти семена в общий амбар, какой бесчеловечный характер носило раскулачивание (так, без всяких оснований раскулачили Гаева, у которого 11 детей, а сын служил в Красной Армии). Жуткое впечатление оставляют слова много раз раненного, дважды контуженного На-

гульнова, сказанные Разметному, когда тот не пожелал участвовать в раскулачивании, воевать с бабами и детишками: “Да я... тысячи станови зараз дедов, детишек, баб... скажи мне, что надо их в распыл... Для революции надо... Я их из пулемета... всех порежу!” И с ним случился припадок. Безжалостная логика классово-борьбы доведена в этой сцене до своего страшного предела.

Шенталинский полагает, что с 1929 г. - после слов Сталина о Шолохове как знаменитом писателе нашего времени - он стал “неприкасаемым”. Но так ли это? Шолохов назвал свой второй роман “С потом и кровью”, но издатели не приняли это название, а новое - “Поднятая целина” - сначала, как он писал Левицкой, казалось ему “ужасным”. Редакция “Нового мира” не хотела публиковать главу о раскулачивании, доводы Шолохова отбрасывались, ему пришлось обратиться за помощью к Сталину. “Прочитав в рукописи “Поднятую целину”, Сталин сказал: “Что там у нас за путаники сидят? Мы не побоялись кулаков раскулачить - чего же теперь бояться об этом писать! Роман надо печатать” (Советская Россия. 1985. 19 мая). Сталину не все нравилось в этом произведении, в беседе с А. Толстым он сказал: “При его способностях Шолохов мог написать шире и лучше. Главный недостаток “Поднятой целины”, да и вообще произведений Шолохова, тот, что отрицательные типы у него слишком ярки - ярче положительных” (Дон. 1995. № 5-6. С. 83).

Видимо, ему хотелось, чтобы ярче были показаны позитивные результаты коллективизации, ведь некоторые персонажи говорят такое, что бьет не в бровь, а в глаз. Ярый враг советской власти Половцев не очень лгал, когда говорил, что “хлеб пойдет для продажи за границу”. Или: “Дураки, богом проклятые!.. они не понимают того, что эта статья - гнусный обман, маневр! И они верят, как дети. ... Их, дураков, большой политики ради водят, как сомка на удочке, подпруги им отпускают, чтобы до смерти не задушить, а они все это за чистую монету принимают...” (6, 227).

Статья Сталина “Головокружение от успехов” была направлена против вопиющих перегибов при ее проведении, а в Тверской области, как писал в “Тверских ведомостях” председатель колхоза “Молдино” Е. А. Петров, 5 марта 1930 года “состоялось партсобрание Поддубской партячейки, где Сталин был признан за свою статью правым оппортунистом, а его статья антисоветской”. После публикации этой статьи в Гремячем Логу вышло из колхоза около ста крестьян, член бюро райкома Беглых инструктирует Давыдова: “Сейчас скот и инвентарь выходцам ни в коем случае не отдавай. По существу мы, конечно, должны бы вернуть, но есть такая установка окружкома: отдавать только в исключительных случаях, придерживаясь классового принципа” (6, 240-241). И даже лютый враг частной собственности Нагульнов рассуждает: “Вышли люди из колхоза, а им ни скота, ни инструмента не дают. ...Это не есть принудительная коллективизация?”

В романе показано, как действует на партийцев принцип безусловного подчинения указаниям начальства. Так, Давыдов убеждает Нагульнова, что письмо Сталина - “линия ЦК”, а тот считает, что статья вождя неправильная. Изумленный, несколько даже растерянный Давыдов говорит Нагульнову: “Ты! Дубина,

дьявол!.. Тебя за эти разговорчики в другом месте из партии вышибли бы! Ну, факт! Ты с ума свихнулся, что ли? Или ты сейчас же прекратишь этот... свое это... свою оппозицию, или мы на тебя..." (6, 233).

Шолохов изобразил таких партийных функционеров, которые вступили в партию лишь потому, что обожают руководящие должности, их настрой комически выразил простодушный дед Щукарь, задумавший вступить в партию и озабоченный лишь тем, какую же выгодную должность он заполучит вместе с партбилетом. Среди руководителей района было немало приспособленцев, нечестных людей, и они-то решают судьбу рядовых коммунистов. Беглых, Самохин превращают Нагульнова в главного виновника перегибов в Гремячем Логу, ему приписывают эжым самокритики, беспорядочную половую жизнь, он-де переродился "в бытовом отношении", его обвиняют в том, чего он не совершал. До глубины души возмущенный Нагульнов напоминает одному из обвинителей: в 1921 г., когда "Фомин с бандой мотал по округу", то он, Хомутов, испугавшись, "отдал партбилет, сказал, что сельским хозяйством" будет заниматься, "а потом опять в партию пролез, как склизкая мокрушка сквозь каменьев!.." (6, 279).

Роман "Поднятая целина" с большой художественной силой отразил переломное время в сельской жизни и, в частности, то беззаконие, какое обрушилось на крестьян. Тогда, в 1930 г., Н. Бухарин требовал разговаривать с кулаком "языком свинца", а за такового нередко принимали умелого и трудолюбивого работника. К тому же, если говорить о настоящих кулаках, использующих наемных работников, то и они действовали в тех пределах, какие были установлены тогдашним законодательством.

Тит Бородин занимался мародерством, во время гражданской войны он отрубал ноги у убитых, чтобы снять с них сапоги. Он воевал в Красной Армии, вернувшись домой, "вцепился в хозяйство", начал богатеть, Нагульнов рассказывает о нем: "Сам, бывало, плохо жрет и работников голодом морит, хоть и работают они двадцать часов в сутки..." Но вот что ответил Тит на упреки: "Я выполняю приказ советской власти, увеличиваю посев. А работников имею по закону: у меня баба в женских болезнях...". В нравственном плане его можно осуждать, но в юридическом ему не предъявишь каких-либо претензий. Полным беззаконием было то, что таких крестьян лишали собственного имущества и ссылали туда, где было очень трудно выжить. Когда Домасковым сказали, что по решению бедняков их выселяют из дома, конфискуют их имущество и скот, Тимофей выкрикнул: "Таких законов нету!.. Вы грабильку устраиваете! Папаня, я зараз в рик поеду" (6, 59). Но что он мог услышать в районе?

Вспомним первый разговор Давыдова в сельском райкоме партии. Секретарь райкома нацеливает Давыдова на стопроцентную коллективизацию, но вместе с тем предлагает ему действовать осторожно, в том числе и по отношению к кулаку. Это вызывает несогласие у Давыдова. Он требует разъяснений и получает их: "...есть кулак, выполнивший задание по хлебозаготовкам, а есть упорно не выполняющий. Со вторым кулаком дело ясное - сто седьмую статью ему, и - крышка. А вот с первым сложнее. Как бы ты, примерно, с ним поступил?"

Давыдов отвечает, что он дал бы кулаку новое задание, и не прав ли секретарь райкома: “Этак можно подорвать всякое доверие к нашим мероприятиям. А что скажет тогда середняк? Он скажет: “Вот она какая, советская власть! Туда-сюда мужиком крутит”. Ленин нас учил серьезно учитывать настроение крестьянства, а ты говоришь “вторичное задание”. Давыдов осуждает “терпимость веры” секретаря райкома, считая, что он хромает “на правую ножку”.

Нет слов, много привлекательного в Давыдове, бескорыстном, отважном, совестливом коммунисте, но эта совестливость молчит в нем, когда речь идет о кулаках, а они ведь тоже люди... И в приведенном выше разговоре его политическая, юридическая и нравственная позиция уязвима. О его исторической функции писал М. Лобанов: “Питерский рабочий, приезжающий в донскую станицу учить земледельческому труду в новых условиях исконных земледельцев, - это не просто герой-“двадцатипятидесятник”, но и некий символ нового, волевого отношения к людям” (Волга.1982. № 10. С. 156). Имея в виду эту публикацию, В. Оскоцкий упрекал Лобанова в неисторичности, в ревизии советской литературы, в тотальном нигилизме, в беззаботности, порожденной “одержимой защитой “патриархального начала” “деревенского бытия”, что “зачастую оборачивается самоочевидными курьезами. Вплоть до осуждения питерского рабочего Давыдова, который явил якобы “символ нового, волевого отношения к людям” (Литературная Россия. 1983. 21 января). Ю. Суровцев осудил Лобанова за то, что он написал нечто “провокационно-ерническое”, “автостриптизное”, что от него не дождешься “слов об опыте борьбы крестьянских масс против кулачества” (Знамя. 1983. № 6. С. 219).

В. Шенталинский в статье “Охота в ревзаповеднике” (Новый мир. 1998. № 12) утверждает, что Шолохов “второй свой роман испортил лживой концовкой”. В чем это выразилось? В том, что от рук врагов в финале “Поднятой целины” погибают коммунисты Нагульнов и Давыдов? Здесь остается только руками развести. Шолохов с большой симпатией нарисовал образы сельских коммунистов. В конце романа писатель восклицает: “Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову...” Но вместе с тем он предостерегает читателей от бездумного любования ими. Они погибают. В реальной жизни сельское хозяйство будут поднимать не давыдовы, а кровно связанные с деревней майданниковы.

Нашим зарубежным “друзьям” хотелось, чтобы Шолохов, как домыслил американский журналист Гарри Солсбери, “закончил “Поднятую целину” смертью Давыдова в советской тюрьме”. 19 февраля 1960 г. Солсбери сообщил в “Нью-Йорк таймс” о предполагаемом финале романа: “Давыдов был злонамеренно обвинен советской полицией, арестован и заключен в тюрьму, где, как рассказывают, застрелился” (8, 363). Шолохов высмеял эти измышления. Если вдуматься в логику образов героев, то такая участь скорее всего постигла бы Нагульнова, если бы его не убили заговорщики. В этом, пожалуй, была бы своя закономерность, если учесть его честность, необузданную прямоту, нежелание сопрягать свои поступки с требованием обстановки и указаниями начальства, беспредель-

ную нацеленность на борьбу с собственностью и мировой буржуазией, неумение замечать те мелочи быта, какие мешали осуществлению его заветной мечты.

Шолохов говорил своему сыну Михаилу: Макар и Разметнов “и семьи-то собственной сложить не могут, в собственных куренях порядка не наведут. И в хозяйстве они ни черта не смыслят, потому как и не имели его никогда” (Литературная газета. 1990. 23 мая). И то, что Разметнов не ахти какой хозяин (даже дед Щукарь лучше его может покрыть крышу), а он остается одним из главных руководителей Гремячего Лога, наталкивает мысль читателя на то, что немало еще трудностей ожидает этот колхоз.

Рассуждая об исторической правде, изображенной в “Поднятой целине”, необходимо помнить, что первая книга была написана и опубликована до голода 1933 г. Время действия второй книги тоже не доходит до этого времени. Когда в 1954 г. зашла речь о трудностях завершения “Поднятой целины”, Шолохов сказал: “Ведь рамки романа у меня ограничены тем же тридцатым годом”. И добавлял: “А вообще-то дальше о колхозах писать почти невозможно” (Русская литература. 1986. № 2. С. 146). На вопрос, почему Шолохов “не включил во вторую книгу “всех ужасов 30-х”, В. Осипов отвечает: “Наверное, по одной причине: боялся навредить партии. Это его слова, произнесенные при встрече с иностранными корреспондентами” (Известия. 1995. 24 мая).

Перед войной и после нее Шолохова, по словам М. Шкерина, волновала судьба Титка Бородина, “талантливого мастера земледелия”, он задумывал даже изобразить его “в местах не столь отдаленных” (Правда Украины. 1988. 1 октября). Но понятно: роман, включающий в себя все перекосы и ужасы коллективизации, не напечатали бы, а писать в стол или публиковать свое произведение за границей Шолохову было не по душе.

Надо учитывать и то, что Шолохов, верно служивший социалистической идее, создал не очерк и не статью на злобу дня, которые бы помнились читателями год-два, а роман, написанный надолго. Он верил, что колхозный путь - правильный, обещающий крестьянам материальное изобилие и духовную раскрепощенность. Верно писал Бирюков: “Что же касается синтетической правды, когда учитываются и светлые, и темные стороны, силы художественности, то “Поднятая целина” остается до сих пор созданием, не имеющим равного. Свою цель - показать “сравнительно небольшой, но обильно насыщенный борьбой отрезок времени”, с января по осень 1930 года, - Шолохов осуществил настолько успешно, что роман остается и теперь правдой века” (Литературная Россия. 1987. 22 мая).

Сейчас огромная беда русского народа - в экономическом разорении деревни, в разрушении традиционного уклада сельской жизни, в уничтожении народных истоков культуры, что губительно сказалось на нравственности, привело к распространению пьянства, разврата и преступности. Разрушена вера в идеалы, опорочены национальные песни и пляски, вытравливаются истинно народные представления о добре и зле, о хорошем и плохом, о стыде и совести.

Демоправители многое сделали для того, чтобы окончательно добить деревню, и теперь стало ясно, что в коллективном ведении хозяйства заложено немало такого, что необходимо использовать для ее возрождения. Современная обстановка воочию выявила преимущества крупных хозяйств перед мелкими фермами. Лауреат Нобелевской премии В. Леонтьев с полным знанием дела отметил, что в наше время “главные производители сельскохозяйственной продукции в США - громадные корпорации, а не отдельные фермеры. Они организованы как фабрики с наемной рабочей силой, имеют громадное количество машин и земли, высокую технологию” (Литературная газета. 1991. 27 марта). В Польше “в 1991 году урожайность зерновых была: в единоличных хозяйствах 29,3 центнера с га; в кооперативах - 34,74; в госхозах - 40,2. Это соотношение держится уже десять лет. Кстати, в госхозах на 100 га занято 14 работников и 3 трактора, в единоличных хозяйствах - 24 работника и 6 тракторов” (Правда. 1992. 24 декабря).

В печати нередко пишут о нерентабельности колхозов, о том, что им нужна государственная поддержка, а это-де бесполезное вливание финансов и средств. Но субсидии сельскому хозяйству практикуются и во Франции, Германии, Австрии, Дании, Великобритании, Голландии, США, Канаде, Японии и других государствах. У нас же в 1989-м, последнем “более или менее стабильном” году - колхозы дали 21 миллиард прибыли. Убыточных было 275 колхозов (1 процент)” (Правда. 1993. 16 июня). “В целом урожайность зерновых в СССР стабильно повышалась от 13,9 ц. в 1980 до 19,9 в 1990 году. За это время так же стабильно повышался надой молока на корову - от 2200 до 2850 кг. Сельское хозяйство СССР надежно и в хорошем темпе улучшало свои показатели” (Правда. 1993. 1 апреля). В 1989 г. на душу населения производилось пшеницы в СССР 303 кг, а в США - 223, картофеля - 251, в США - 68, мяса у нас - 70, в США - 120, молока - 347, в США - 364, яиц - 292, в США - 270.

И необходимо учитывать, что в США хорошие почвенно-климатические условия, такие, как на Кубани и Украине, что наше сельское хозяйство намного хуже, чем на Западе, обустроено, явно недостаточна сеть дорог, плохо организованы хранение и переработка овощей, зерна, не хватает техники. За счет деревни было проведено восстановление промышленности и городов после Великой Отечественной войны. И в дальнейшем наши правители продолжали смотреть на колхозы и совхозы как на дарового донора, административно-командная система правления изжила себя, но сама жизнь подтвердила большие преимущества крупных хозяйств. В наше время использовались по сути дела насильственные меры, направленные на ликвидацию колхозов. Россия оказалась в недопустимой зависимости от иностранных держав, от зарубежных поставок хлеба, мяса, масла, она лишилась своей экономической самостоятельности.

Чтобы снизить в глазах читателей идейно-художественную силу “Поднятой целины”, Семанов, как отмечалось, предположил, что этот роман был создан по указке вождя: “Сталину в его ближних и дальних политических интересах была необходима книга о коллективизации, и с сугубо положительной оценкой, причем не на уровне какого-нибудь официального холуя-прихлебателя, а в высокохудожественной манере”.

жественном исполнении писателя, чей талант и честность очевидны и несомненны” (Новый мир. 1988. № 8. С. 268). Эту выдумку повторяют и другие “доброжелатели” Шолохова. М. Шеффер в “Учительской газете” (1991. № 38) утверждает: “Роман “Поднятая целина”, как стало известно, написан М. А. Шолоховым по личному заказу Сталина”.

По утверждению Семанова, “нет безусловных данных, что до лета 1931-го Шолохов задумывал написать роман о коллективизации”. Но в 1934 г. Шолохов сообщил: “Я писал “Поднятую целину” по горячим следам, в 1930 году, когда еще были свежи воспоминания о событиях, происшедших в деревне и коренным образом перевернувших ее” (8, 110). Летом 1930 г. он не раз говорил Левицкой о своем желании написать повесть о колхозной жизни (Огонек. 1987. № 17). Н. Тришин вспоминал, что в 1930 г. ему довелось быть свидетелем нового литературного замысла Шолохова, во время разговора “о новых делах в деревне, о перегибах при коллективизации” он сказал: “Надо бы хорошенько разобраться в этом месиве добра и зла. Пожалуй, отложу в сторону третью книгу “Дона” и займусь станичными событиями...” “Чувствовалось, что тема эта глубоко захватила Михаила Александровича” (Комсомольская правда. 1960. 22 мая). 12 ноября 1931 г. Шолохов написал редактору “Нового мира” В. Полонскому о своем новом романе, посвященном коллективизации: “Размер - 23-25 печатных листов. Написано 16. Окончу приблизительно в апреле будущего года”. (Гура В. Как создавался “Тихий Дон”. С. 158). Можно ли написать столько за 4 месяца, если учесть, что Шолохов в это время дорабатывал третью книгу “Тихого Дона”?

М. Любомудров в отклике на книгу Семанова «Православный «Тихий Дон» посчитал, что он «убедительно доказывает, что создание «Поднятой целины» явилось результатом негласного соглашения со Сталиным, которому очень нужна была книга в поддержку коллективизации крестьянства» (Наш современник. 2000. № 5). На него произвел впечатление такой аргумент: «Историк приводит в подтверждение и слова бывшего помощника М. Шолохова Ф. Шахмагонова: “Справедливым будет признать, что и Михаилу Шолохову пришлось показать себя дисциплинированным солдатом партии ради того, чтобы открыть дорогу публикации “Тихого Дона”. Он вынужден был отложить в сторону эпопею о казачестве и откликнуться на всенародный пожар, разожженный “революцией сверху”, романом “Поднятая целина”, иначе погибли бы и “Тихий Дон”, и его автор”. В статье “Под бременем “Тихого Дона”, в которой есть ряд фактических ошибок, Шахмагонов в пользу версии о сговоре Шолохова со Сталиным никаких доказательств не привел. Создалась пикантная ситуация: он воспринял как истину версию Семанова, а тот, в свою очередь, подкрепил ее словами Шахмагонова. Эта версия была убедительно опровергнута в печати. К. Каргин в журнале «Дон» (2000. № 5-6) привел дополнительные доказательства того, что Шолохов начал работу над романом о коллективизации до встречи со Сталиным в июне 1931 года, он, в частности, цитирует его письмо Арсению Белашову от 6 февраля 1931 года: «Сейчас пока занят по горло: кончаю – наконец-то! – «Тихий Дон» и тотчас же возьмусь за последнюю книгу «Под. целина».

По словам Семанова, восторги, сопровождавшие публикации “Поднятой целины”, “не очень исторически обоснованные и эстетически малоубедительные”. Это-де потому, что роман далек от жизненной правды: “В “Поднятой целине” без труда заметны обстоятельства, которые автор, прекрасно знавший изображаемую жизнь, мог обнаружить не в этой самой жизни, а исключительно в сочинениях о судьбе Павлика Морозова...” (269). Бездоказательно обвинять Шолохова в приспособленчестве и зачем-то вспоминать - в отрицательном контексте - о Павлике Морозове... Мальчишка тянулся к знаниям, верил в то, что советская власть по своей сути подлинно народная, он отнюдь не доносил на отца, на суде подтвердил правду, только то, что сказала мать о своем муже, бросившем ее с четверья малыми детьми. Вместе со своим маленьким братом он был убит по заказу деда - и за все это надо его пинать... Ради чего? В поэмах и повестях, посвященных Павлику, не все верно сказано о его жизни? Так, боже мой, сколько написано книг - не менее сусально-агитационных - о разных людях и событиях...

Радзишевский привел фразу Шолохова из письма Левицкой “Собственные “лавры” и почетное звание плагиатора не дают мне спать” и сделал заключение: “Новый роман нужен ему, чтобы все видели: его проза о современности не уступает “Тихому Дону”. И подозрения в плагиате отпали бы тут же”. В какой-то мере согласимся с этим суждением и скажем, что в целом так и случилось. Но Радзишевский нацелен на то, чтобы представить русского гения лжецом, любителем диких развлечений, безразличным к своему творению, склонным присваивать себе чужое, - и понятно, что он не мог воплотить свой замысел в должной художественной форме: “Задача была сложная, и, в общем, Шолохов ее не одолел. Его критики даже облюбовали в “Поднятой целине” несколько мест, которые, казалось бы, свидетельствуют о катастрофической беспомощности писателя. ...Срыв “Поднятой целины” понятен. Та же участь постигла бы и “Тихий Дон”, если бы автор заранее обязался удружить властям”. Золотоносцев еще больше разнуздан: “Поднятая целина” демонстрирует мазохизм в химически чистом виде”, это “примитив”, “лживый”, но “идеологически выдержанный роман, воспевающий коллективизацию. Для мазохиста вполне логично” (Московские новости. 1995. № 41). Какие же доказательства использовали эти пасквилянты? Их нет. Ненависть к писателю привела их к утрате способности реально оценить идейно-художественные достоинства произведения.

В 1988-1990 гг. Т. Иванова опубликовала в “Знамени” и “Книжном обозрении” несколько статей, в которых твердила: “И изучать в школе “Поднятую целину” тоже довольно. Я пишу об этом не в первый, не во второй, даже не в третий раз” (Знамя. 1990. № 5. С. 230). Она убеждена, что “Поднятая целина” не обладает достойными изучения художественными свойствами”. В действительности же этот роман является самым удачным, наиболее высокохудожественным произведением о коллективизации. Иванова противопоставляет ему роман Б. Можяева “Мужики и бабы”, который, как и “На Иртыше” С. Залыгина, “Год великого перелома” В. Белова, “Драчуны” М. Алексеева, “Овраги” С. Антонова, “Перелом” Н. Скромного, “Пара гнедых” и “Хлеб для собаки” В. Тендрякова, на самом деле

приоткрыл свою правду о том переломном времени, по-новому, очень остро поставил проблему исторической оправданности коллективизации. Но достичь идейно-художественного уровня творчества Шолохова Можаяеву не под силу, они находятся в разных весовых категориях.

Глава 10. ПРАВДА ШОЛОХОВА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Во время Великой Отечественной войны русская нация, сплотившая вокруг себя другие народы Советского Союза в деле защиты Родины от иноземных захватчиков, совершила бессмертный подвиг, которым восхищается весь мир. 13 мая 1945 г. Шолохов опубликовал в “Правде” статью “Победа, какой не знала история”, в которой писал: “Если в мировой истории не было войны столь кровопролитной и разрушительной, как война 1941-1945 годов, то никогда никакая армия в мире, кроме родной Красной Армии, не одерживала побед более блистательных, ни одна армия, кроме нашей армии-победительницы, не вставала перед изумленным взором человечества в таком сиянии славы, могущества и величия. ...Пройдут века, но человечество навсегда будет хранить благодарную память о героической Красной Армии”.

Одной из причин того, что ярые прозападники ненавидят Шолохова и всячески извращают суть его творчества, является то, что оно противостоит их очернительным замыслам, мешает грязнить наш народ, Россию и советский общественный строй. Шолохов еще в 1939 г. говорил о реальной угрозе фашистской агрессии, в 1950 г. он разоблачал двурушническую политику Англии и США: “Нам понятно, как “Биллы” с Уолл-стрита и лондонского Сити бросили на растерзание немецкому фашизму народы Европы. Они ставили ставку на то, что обескровленный и обессилевший в жесточайшей, изнурительной войне с гитлеровской Германией Советский Союз выйдет из строя как могущественная держава и попадет в лапы англо-американским империалистам. Именно поэтому они как можно дольше откладывали открытие второго фронта” (8, 246).

Шолохов в детстве мечтал стать офицером, он гордился своим воинским званием полковника “и не раз в беседах подчеркивал, что он человек военный” (Молодая гвардия. 1988. № 5. С. 170). В раздумьях о судьбе родины в годы войны он опирался на славные страницы русской истории. 23 июня 1941 г. на митинге в Вешенской он говорил: “Фашистским правителям, основательно позабывшим историю, стоило бы вспомнить о том, что в прошлом русский народ громил немецкие полчища, беспощадно пресекая их движение на восток, и что ключи от Берлина уже бывали в руках русских военачальников”. И он предсказывал: “Но на этот раз мы их побьем так, как их еще никогда не бивали, и на штыках победоносной Красной Армии принесем свободу поработанной Европе” (Большевицкий Дон. 1941. 24 июня). 24 июня Шолохов, обращаясь к мобилизованным в армию казакам, сказал: “Со времен татарского ига русский народ никогда не бывал побежденным, и в этой Отечественной войне он несомненно выйдет победителем” (8, 379). Он выразил уверенность, что казаки продолжают “славные тради-

ции предков” и будут бить врага так, как их “прадеды бивали Наполеона”, как отцы их “громили кайзеровские войска”.

Шолохов стремился внести свой личный вклад в дело победы над врагом. 23 июня 1941 г. он послал телеграмму наркому обороны Тимошенко, в которой просил зачислить в фонд обороны СССР присужденную ему сталинскую премию первой степени (4 “катюши” были выпущены на его средства) и выразил готовность незамедлительно стать в ряды “Красной Армии и до последней капли крови защищать социалистическую Родину” (Красная звезда. 1993. 20 ноября). В июле 1941 г. был подписан приказ о призыве Шолохова в армию, его назначили специальным корреспондентом “Красной звезды”: “Выглядел он молодцевато: был по-казацки строен: не писатель - боевой командир”. Ему доводилось и перебежать под артобстрелом, и ползать, спасаясь от пуль. В. Катаев вспоминал о Шолохове: “Пилотка, шинель, пистолет. Ничего похожего на знаменитого писателя. Скорее всего, это пехотный капитан. С небольшой группой товарищей он пробивался по лесу к командному пункту. Над лесом с шумом пронеслись немецкие пикирующие бомбардировщики. Изредка свистели бомбы, и лес был потрясен разрывом крупной фугаски. Падали ветки, сбитые осколками. Впереди заливались пулеметы. Шел бой. Мы встретились как будто вокруг не происходило ничего особенного” (Красная звезда. 1993. 20 ноября). В начале 1942 г. Шолохов при аварии самолета “получил травму грудной клетки, головы и ног” (В. Карноушенко).

В годы войны Шолохов своим творчеством помогал родному народу воевать с ненавистным врагом. В очерке “На Дону”, рассказе “Наука ненависти” он писал о любви к родине и ненависти к врагу, этих важнейших источниках героизма. В главах романа “Они сражались за родину” при изображении советских солдат Шолоховым руководило глубоко сокровенное желание выявить очарование души русского человека. Писатель был убежден: “Необходимо прежде всего показать человека-борца - мыслящего, сознательного, убежденного, твердого человека. Здесь недостаточно одного правдивого показа войны, нужна еще идея, ради которой эта война изображается. Воюют-то не просто народы, армии, солдаты и генералы. Сражаются идеи” (Мировое значение... С. 19).

В главах “Они сражались за родину” он показал советских солдат как настоящих героев, жаждущих победы над врагом, раскрыл истоки их героизма. В романе героическое переплетается с юмористическим, солдаты то и дело балагурят, попадают в комические ситуации, подтрунивают друг над другом. Дочь Светлана спросила отца, как это так, “ведь идет такая страшная война, а у тебя, мол, солдаты смеются”. Шолохов ответил: “Ну, во-первых, русскому человеку свойственно посмеяться и подшутить друг над другом в самых, казалось бы, опасных ситуациях; во-вторых, люди изо дня в день видят смерть, кровь, теряют друзей и родных. От всего этого можно сойти с ума. Надо же дать возможность человеку когда-то улыбнуться, на миг отвлечься от мрачных мыслей?! А в - третьих, в жизни трагическое и комическое всегда рядом” (Дон. 1995. № 5-6. С. 31).

В 1943 г. в “Письме американским друзьям” Шолохов подчеркивал жестокость и тяжесть войны, которая вошла в жизнь каждого советского человека: сам он потерял мать, убитую немецкой бомбой, многих друзей, своих земляков. Из личных бед, личного горя “складывается всенародное бедствие”, “личное наше горе не может заслонить от нас мучений нашего народа” (8, 174). По его словам, “война - это всегда трагедия для народа, а тем более для отдельных людей” (Огонек. 1972. № 19. С. 20). И после войны он с острой болью в сердце думал о том, “как много осиротевших людей стало” в нашей стране.

Это отразилось в рассказе “Судьба человека” (1956). При его оценке не раз затрагивалась проблема правдивого изображения жизни. Солженицын заявил, что в нем “избран самый некриминальный случай плена - без памяти, чтобы сделать его “бесспорным”, обойти всю остроту проблемы”. И потом: “Главная проблема плена представлена не в том, что родина нас покинула, отреклась, прокляла (об этом у Шолохова вообще ни слова) и именно это создает безысходность, - а в том, что там среди нас выявляются предатели” (Мал. собр. соч. М., 1991. Т. 5. С.173), и вот-де нужно покопаться и объяснить, почему они появились... Но ведь родина не проклинала генералов Карбышева и Лукина, Мусу Джалиля, ни других очень многих бывших военнопленных, не запятнавших себя сотрудничеством с врагом. Совет: выявить причины предательства - не для “Судьбы человека”, (здесь иной авторский замысел), а для другого - более объемного - произведения. У Шолохова и Солженицына разное отношение к советской власти, отсюда и разное понимание правды об Отечественной войне.

И. Лангуева-Репьева уверяет, что «Судьба человека» с ее острейшей темой плена могла, конечно, появиться только после смерти Сталина» (Российский писатель. № 21-22. 2004). Но еще в 1942 году был напечатан рассказ Шолохова «Наука ненависти» об этом плене. Она пишет, что «будет тщательно замалчиваться потом в войну и голод окруженного и сражающегося Ленинграда», но заметит, что «Шолохов поможет опубликовать в «Комсомольской правде» в 42 году «Февральский» и «Ленинградский» блокадные и достаточно откровенные поэтические «дневники» Ольги Бергольц (может, Берггольц? – А. О.)». Значит, в 1942 году печатали «достаточно откровенную» правду о положении в Ленинграде? И вряд ли можно было замолчать ее, если из города эвакуировали многие тысячи опухших от голода людей, среди них были и мои родственники, которых привезли в нашу деревню из Ленинграда.

Однажды один из читателей сказал сыну Шолохова о “Судьбе человека”: “Только неправда все это!.. Правда была другая. Правда в том, что после плена нам еще пришлось хлебнуть. Нашему брату, Соколовым всяким-разным от своих досталось. Это после войны! После плена! От своих же! ...Может, конечно, и такое было... Соколов-то солдатик, рядовой. С ними попроще...Только все равно правда не в этом. Правда одна. И не в этом она. Можешь и отцу так передать, если хочешь” (Дон. 1990. № 5. С.159). Выслушав это, писатель объяснил: “Значит, говорит, правда одна? Нет, сын мой. Это лишь для того, кто и знать не хочет, что такое правда. Одной правды для всех нет и быть не может. Хотя того,

кто ее ищет, понять и несложно. Их, по крайней мере, две - на пользу и во вред. Ложь во спасение есть? Только неумный и бессердечный человек будет ее отрицать. А раз так, то как же вредоносной правде не быть?" (160).

Для Шолохова самое важное в правде - отражение душевных качеств человека: "Правда... Человек - не зеркало, которое все отражает, что перед ним. Тем более что перед ним никакой правды быть не может, там может быть какой-то голый факт. Правда в человеке, в нем самом. Он в муках рождает правду, если это его правда держится на человечности, на сострадании, на чувстве долга и ответственности перед людьми, на доброй воле делать что-то для них. А если этого в человеке нет, то его правдоискательство - ханжество. В таком случае оно может держаться лишь на мелочном тщеславии - посмотрите, дескать, какой я великий правдолюб, насколько я честнее, мужественнее, неподкупнее других... Это - страшная правда. Хоть вера - вместе с царем и отечеством - хоть что-нибудь вроде равенства, свободы... Благо народа... Так же и правда. Усердием бездумных приверженцев все подобные "штучки" превращаются просто в мертвого идола, во имя которого - "к вящей славе божьей" - его правомерные служители готовы и живого человека распять, и в душах ничего святого не оставить. ...Лучше уж пусть будет проклят свет. Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман. Только ошибался здесь Пушкин. Обман - он и есть обман, каждый видит его. Поэтому обманом, если это именно обман, никого не возвысишь, настоящая правда всегда - возвышающая. И наоборот - все, что человек принял сердцем и что помогло ему распрямиться, улыбнуться, вздохнуть поглубже, - это и есть правда. Истина может быть и низкой, и угнетающей..."

И далее Шолохов коснулся проблемы художественной правды применительно к "Судьбе человека": "Ты что же, полагаешь, я не знаю, что бывало в плену или после него? Что мне не известны крайние степени человеческой низости, жестокости, подлости? Или считаешь, что, зная это, я сам подличаю? Или судьбы таких, как М. Н., меня меньше трогают, чем судьба Соколовых? Или уж ты, вместе с М. Н., хочешь сказать, что Андрей Соколов - неправда?.. Иной с таким наслаждением смакует всякую пакость. И ведь не замечает даже, что сам-то уж - грязнее грязи. ...И чем же оправдывается все это в глазах читателя? Как можно, чтобы сам автор-то испытывал удовлетворение от эдакого занятия? А он, видите ли, правду жизни пишет. До чего же можно смешать все грешное с правдивым. И не задумывается даже, что от его убогого понимания правды до настоящей художественной правды - как до звезды небесной... Сколько умения надо на то, чтобы говорить людям правду. Дураку прямо в лицо можно сказать правду, что он - дурак. Но можно сказать это так, что у него, пусть и слабенько, но дрогнет сердчишко и захочется ему, дураку, хоть немножко поумнеть. А можно и так, что это приведет лишь к озлоблению, к упрямому желанию остаться самим собой, ответить обидой на обиду. Можно, наконец, и так, что это не вызовет ничего, кроме глухой тоски, - ничего, дескать, не исправишь, такой уж я дурак... Искру божию надо иметь, чтобы так поговорить с людьми, когда бы у каждого своя искорка затеплилась. А без этого что же? Одна суета сует и томление

духа. Многоправдолюбие, которое умножает скорбь...” (161). Шолохов говорил, что самое главное заключается в том, “как наиболее точно эту правду написать...” (Огонек. 1972. № 19. С. 20).

Все это и объясняет художественную правду “Судьбы человека”, выбор автором главного героя, его трагической судьбы. Простой русский человек Андрей Соколов воплотил в себе огромную народную беду военного времени. Вопреки своей трагической судьбе он выдюжил, стал победителем, не растеряв своих гуманистических, идейно-нравственных ценностей, сохранив свою жизнестойкость, до конца выполнив свой солдатский и гражданский долг. Читателя потрясает его скорбное величие, его благородная бездонная тоска, неистребимое жизнелюбие, поразительная мощь его натуры. Соколову присуще глубокое понимание святой правоты борьбы нашего народа против лютого врага. Он хорошо знал, ради чего воевал - ради свободы родины, ее счастья и процветания. Он вел “смертный бой не ради славы, ради жизни на земле”. У него есть подлинное нравственное величие, чистая и благородная душа, огромная сила воли, недюжинное самообладание, высокое чувство собственного достоинства, отличное понимание своего солдатского долга перед родиной. Истый патриот, стойкий и бесстрашный человек, он способен сильно чувствовать, глубоко переживать невозвратные потери близких людей, мудро подходить к сложным явлениям жизни.

Шолохов со своим Соколовым величаво противостоит тем ретивым либералам, которые пропагандируют мысль о том, что мы воевали не за правое дело, а типичным русским солдатом представляют маленького, кривоногого, глупого и забитого Ивана Чонкина из романа В. Войновича. Э. Рязанов уверяет, что “это “подлинный народный тип, подлинно русский характер”. Иное представление о сути русского народа у Шолохова, видевшего в нем те великолепные качества, которые помогли выстоять ему в смертельной схватке с фашизмом: способность беззаветно трудиться, с непревзойденным героизмом сражаться с захватчиками, отдавать “последний кусок хлеба и фронтовые тридцать граммов сахару осиротевшему в грозные годы войны ребенку”, своим телом самоотверженно прикрывать “товарища, спасая его от неминуемой гибели”, стиснув зубы, переносить “все лишения и невзгоды, идя на подвиг во имя родины”.

Шолохов утверждал: “А когда пером начинает водить злость и обида, это уже не писатель, а вредоносный для общества тип” (Дон. 1990. № 5. С. 161). Нельзя ли отнести эту мысль к некоторым современным писателям? Не злая ли обида толкала и В. Войновича создавать “Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина”? И не она ли взяла под свою власть В. Астафьева?

Семья В. Астафьева в 30-е гг. была выслана на север Красноярского края, и эта несправедливость вызвала у него ненависть к советскому строю и вылилась впоследствии в ненависти к Шолохову (чего стоят его слова “Для меня самым радостным днем в моей жизни будет день смерти Шолохова”), к бывшим фронтовикам, которые шли к могиле Неизвестного солдата, неся красные знамена, (о них он сказал: “Мало били. Надо было разогнать толпу этих бездельников”). Он требовал расправы над людьми патриотической ориентации, подписывал мани-

фесты вместе с теми, кому органически чужды интересы русской нации. Ненависть к коммунистам перешла в ненависть к народу, который стал для него “ма-разматиком”.

Шолохов, рассуждая о правде, считал: “Особенно осторожно надо обращаться с теми, кого называешь собственными именами. Не надо показывать, что если ты писатель, то тебе можно все и выдумывать и преувеличивать, пренебрегая исторической правдой, возвеличивать одних за счет приуменьшения и даже унижения других” (Огонек. 1972. № 19. С. 20). Он высоко ценил Жукова, по его словам, маршал “был великим полководцем суворовской школы” (Правда. 1974. 31 июля). Когда Жукову вручили “Тихий Дон”, “глаза Георгия Константиновича оживились, а кончики губ улыгнулись при взгляде на эпическую книгу: “Любимый писатель. Дружу с ним” (Наш современник. 1995. № 5. С. 114).

Некоторая предвзятость по отношению к Сталину сохранилась у Ф. Кузнецова, с излишней категоричностью написавшего, что с течением времени единомыслия «Сталина и Шолохова становилось все меньше, а со временем после XX съезда партии согласия почти не осталось». Видно, либеральное прошлое не хочет полностью выпускать из своих объятий исследователя. Ф. Кузнецов обронил: «Надеюсь, своей книгой я верну уже навсегда России Шолохова, которого так нагло хотели у нас украсть» (День литературы. 06. 01. 2001). И это сказано всерьез? Не напиши он своей книги - исчез бы из русской литературы наш национальный гений...

Когда разоблачительный вал по отношению к Сталину поднялся столь высоко, что в печати о нем психологически трудно было сказать хорошее, Шолохов не поддался этой конъюнктурной волне, он искал многомерную правду об этом выдающемся историческом деятеле. Он верил суждениям Г. Жукова о нем, о его вкладе в нашу победу во время войны и считал, что “нельзя оглуплять и принижать деятельность Сталина в тот период”: “Во-первых, это нечестно, а во-вторых, вредно для страны, для советских людей. И не потому, что победителей не судят, а прежде всего потому, что “ниспровержение” не отвечает истине”. (Мировое значение... С. 9). Шолохов одобрял осуждение “культы личности”, но не чернил Сталина, отметив, что был «культ, но была и личность».

П. Бекедин в статье “Михаил Шолохов о Сталине” (Советская Россия. 1995. 10 августа) отметил, что сейчас одни стремятся представить великого писателя “типичным, закоренелым сталинистом, не жалующим диссидентов”, другие пытаются изобразить его “чуть ли не врагом Сталина, антикоммунистом и антисоветчиком”. Но он не был ни тем, ни другим. В 1939 г. Шолохов, отмечая 60-летие Сталина, опубликовал в “Правде” статью “О простом слове”, в которой писал о том, что “вся наша великая страна могуществом и расцветом своим обязана партии и Сталину”. Но в то же время в статье есть осуждающие интонации в адрес тех, кто пишет о своей любви к вождю многословно, злоупотребляя эпитетами. Важно отметить, что Шолохов в этой статье напомнил о страшном 1933 году, о том, что тогда весь хлеб был отобран у колхозников, что были необоснованные исключения из партии и аресты. Через 10 лет - в день семидесятилетия Сталина

- в статье "Отец трудящихся мира" он прочувствованно высказался о вожде, завершив ее словами: "Отец! Наша слава, наша честь, надежда и радость, живи долгие годы!" Проникновенно, с болью в сердце написал Шолохов некролог о Сталине "Прощай, отец!" Это не был отклик по заказу, Шолохов писал искренне, то, что думал, чувствовал. В день смерти Сталина отходило на второй план то, что не красило его, яснее вырисовывалось то великое, что он сделал для трудового народа и России.

Шолохов был многим обязан Сталину - и поддержкой третьей книги "Тихого Дона", и присуждением за него Сталинской премии 1 степени, и разрешением публиковать "крамольную" главу о коллективизации из "Поднятой целины", и тем, что он откликнулся на его письма и помог в борьбе с теми, кто обрек жителей Дона на голодную смерть, и, наконец, тем, что Сталин предотвратил арест писателя, при встречах с ним был доброжелательным собеседником. Кто сомневается в искренности Шолохова, пусть задумается над тем, что Симонов, встречаясь с Буниным в Париже, не слышал "ничего не только неуважительного, но скольконибудь двусмысленного, сказанного тогда такими людьми, как Бунин, в адрес Сталина": "в сорок шестом году Сталин был для него после победы над немцами национальным героем России, отстаившем ее от немцев во всей ее единности и неделимости" (Глазами человека... С. 105). Пусть задумается и над словами академика А. Сахарова о Сталине: "Я под впечатлением смерти великого человека. Думаю о его человечности" (Осипов В. Годы... С. 62)

В 1942 г., как писал Шкерин в "Правде Украины" (1988. 1 октября), Сталин пригласил Шолохова к себе в загородный двухэтажный дом справить именины писателя и подсказал ему, что надо написать всеохватный роман, в котором бы правдиво и ярко "были изображены и герои-солдаты, и гениальные полководцы, участники нынешней страшной войны". Летом 1951 г. на вопрос, как обстоят дела с романом о войне, Шолохов ответил: "Продолжаю обдумывать. Образ великого полководца не получается. Видно, не по Сеньке шапка... Поскребышев как-то звонил, спрашивал, не нужны ли для романа какие-нибудь документы из архива Генштаба. На той неделе прислали огромный запломбированный мешок с бумагами. Не разобрал еще... Но не в документах дело. Вроде бы все знаю, а не получается".

Шолохов мучительно бился над тем, чтобы сказать в романе "Они сражались за родину" сущую правду о войне и Сталине. Вряд ли стоит утверждать, что о Сталине в нем нет "ни единого доброго слова... Только обличения", как писал В. Осипов в статье "Своим он так и не стал" (Учительская газета. 1994. 31 мая). Генерал Стрельцов, незаконно репрессированный и освобожденный из-под ареста перед самой войной, рассуждает, доискиваясь до причин массовых арестов: "На Сталина обижаюсь. Как он мог такое допустить?! Но я вступал в партию тогда, когда он был как бы в тени великой фигуры Ленина. Теперь он - признанный вождь. Он создал индустрию в стране, он провел коллективизацию. Он, безусловно, крупнейшая после Ленина личность в нашей партии, и он же нанес этой партии непоправимый урон. Я пытаюсь объективно разобраться в нем и чувст-

вую, что не могу. ...Во всяком случае, мне кажется, что он надолго останется неразгаданным не только для меня". И эта мысль доказывается такими фактами: "В восемнадцатом году его заинтересовала судьба одного вражеского офицера, а двадцать лет спустя не интересуют судьбы тысяч коммунистов. Что же с ним произошло?" Герой романа отвечает на этот вопрос: "Для меня совершенно ясно одно: его дезинформировали, его страшнейшим образом вводили в заблуждение, попросту мистифицировали те, кому была доверена госбезопасность страны, начиная с Ежова. Если это может в какой-то мере служить ему оправданием..." Последний отрывок был выброшен при публикации в "Правде" и в отдельно изданной книге.

Приведенные выше рассуждения персонажа во многом отражают авторские мысли, но не стоит ставить знак равенства между ними. Это отличие можно наглядно проиллюстрировать следующим примером. "Однажды в двадцатых годах Сталин присутствовал на полевых учениях нашего военного округа. Вечером зашел разговор о гражданской войне, и один из наших военачальников обронил такую фразу о Корнилове: "Он был субъективно честный человек". У Сталина желтые глаза сузились, как у тигра перед прыжком, но сказал он довольно сдержанно: "Субъективно честный человек тот, кто с народом, кто борется за дело народа, а Корнилов шел против народа, сражался с армией, созданной народом, какой же он честный человек?" Вот тут я целиком согласен с ним!" Но сам Шолохов при разговоре со Сталиным в 1931 г. о субъективной честности не согласился со Сталиным... Уже это доказывает разницу миропонимания у генерала Стрельцова и Шолохова.

Шолохов хотел в романе показать некоторые из серьезных причин, приведших к нашим поражениям в 1941 г. Стрельцов исповедуется брату: "...лучших из лучших полководцев постреляли, имена их знает весь мир. Многих упрятали в лагеря. ...Сажали, начиная с крупнейшего военачальника и кончая иной раз командиром роты. Армию, по сути, обезглавили и, употребляя военную терминологию, обескровили без боев и сражений". Этот отрывок не печатался до публикации в седьмом номере "Молодой гвардии" за 1992 г. Генерал спрашивает: "...как такое могло случиться в нашей партии? Кто повинен? Я глубочайше убежден, что подавляющее большинство сидело и сидит напрасно, они - не враги".

Об издевательствах в тюрьмах, о расстрелах безвинных людей, о поисках правды идет напряженный разговор в романе. Директор МТС Дьяченко, попавший в 1937 г. в тюрьму по политическому доносу, рассказал, как следователи выбивали у него "правде наперерез лживые показания" на честных друзей-коммунистов и заставляли "подписывать на себя такое, что и бабушке" его "во сне не снилось". Он подчеркивает зловещий политический смысл репрессий: "...десятки тысяч коммунистов и преданных советской власти до последнего вздоха беспартийных сидят невинно, тысячи таких же расстреляны, сотни тысяч ихних близких и друзей не верят в виноватость этих людей. А что это означает? А то означает, что они потеряли веру в советскую власть и озлобились на нее. ...Ведь это же страшно!... Ведь больше тысячи людей сидят и ждут правду. В

числе их и мои друзья и знакомые. Когда-то должна же кончиться беззаконность”. Вопреки воле писателя этот разговор об острых проблемах военного и предвоенного времени был убран из отрывка, опубликованного в “Правде” в 1968 году.

Шолохов решил дать прочитать роман “Они сражались за Родину” Л. Брежневу, ждал ответа несколько месяцев (а Сталин, по словам Шолохова, “Поднятую целину” “за два вечера одолел”), рукопись вернулась без сопроводительного письма, на ее “полях три вопросительных знака. И все!” (Правда. 1993. 22 мая) Тогда Шолохов обратился к Брежневу с письмом, в котором требовал быстрее решить судьбу романа: “Обещанный тобою разговор 7 октября не состоялся не по моей вине, и я еще раз прошу решить вопрос с отрывком поскорее. Если у тебя не найдется для меня на этот раз времени для разговора (хотя бы самого короткого), поручи кому сочтешь нужным поговорить со мною, чтобы и дело не стояло и чтобы оградить меня от весьма возможных домыслов со стороны буржуазной прессы, чего я побаиваюсь и, естественно, не хочу. Найди 2 минуты, чтобы ответить мне любым, удобным для тебя способом по существу вопроса. Я - на Пленуме. Улетаю в субботу, 2/Х1. Срок достаточный для того, чтобы ответить мне даже не из чувства товарищества, а из элементарной вежливости...” (Молодая гвардия. 1992. № 7. С. 27). Ответа Шолохов не получил...

Этот случай лишний раз показал Шолохову, что “написать о войне то, что он задумал, и так, как хотел, пока не удастся - никто не напечатает. ...А издаваться за рубежом ему тоже убеждения не позволяли: сначала дома, в своей стране, и только потом - за рубежом” (Дон. 1995. № 5-6. С. 33). Подлинная правда о войне не устраивала Брежнева, Суслова и их приближенных. Рукопись романа “Они сражались за Родину” Шолохов сжег.

Глава 11. ЛИЧНОСТЬ М. ШОЛОХОВА И ЕГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

Глубоко понять истоки человеческого и писательского обаяния Шолохова и хорошо обрисовать его личность - задача исключительной трудности. Летом 1930 г. Левицкая, побывав в Вешенской, наблюдала его, как говорится, в упор и записала тогда свои раздумья над секретом его таланта: “Откуда он знает все это? - недоумевала я. - Ведь надо же прожить хотя бы некоторое время на свете, чтобы так тонко понимать женскую душу, ребенка, старика... Загадкой было все это для меня. Загадкой осталось и после пребывания в Вешенской. За семью замками, да еще за одним держит он свое нутро. Только изредка и всегда совершенно неожиданно блеснет какой-то луч. И снова потухнет. Я знаю только, что если я, старуха, не разгадала этого человека, то и все окружающие тоже его не знают” (Огонек.1987. № 17. С. 6-7). Она не могла ответить на вопросы: “...что это за человек? Простодушный или хитрый? Откуда это презрение к деньгам? Ни у одного писателя я не видела такого отношения к деньгам” (Знамя. 1987. № 10. С. 181). Видимо, удел истинного гения возбуждать подобные недоумения...

В очень молодые годы Шолохов поверил в свой блистательный творческий путь. В тяжелое время в Москве, когда ему с Марией Петровной жилось крайне трудно, он успокаивал ее: “Не всегда все бывает сразу. Вот напишу большую вещь, будут издавать не только здесь, но и за границей” (Литературная Россия. 1985. 24 мая).

У Шолохова была феноменальная память. Работая над своими произведениями, он помнил наизусть целые главы. Он мог по памяти декламировать “стихи Пушкина и Бунина часами. И ни разу не собьется, не запнется, не потеряет ни одной строки” (Огонек. 1985. № 21. С. 9). Лично знавшие его отмечали: “Очень любил поэзию, больше всего Пушкина. Много читал наизусть Баратынского” (Литературная Россия. 1985. 24 мая).

Шолохов был неистощимо любознательным, умел с большой заинтересованностью слушать людей, подмечать меткие черточки, поразительно перевоплощаться в общении с собеседниками. “Рассказывая о каком-нибудь из своих друзей или знакомых, - отметила Л. Пишенина, - он мимоходом импровизировал тончайшие по наблюдательности сцены. В такие минуты невольно возникала мысль: да ведь он природный портретист, живописец человеческих характеров, видящий в каждом жесте, в каждом слове человека, в его походке и взгляде глубинную суть личности” (Огонек. 1985. № 21. С.9).

Наблюдая за Шолоховым, Левицкая пришла к выводу: “Он живет какой-то своей особой жизнью. Охота, которой он увлекается, рыбная ловля и прочее нужны ему не сами по себе, а для каких-то своих особых целей; ему нужна поездка в степь, ночевка на берегу Дона, возня с сетями для того, чтобы получить эмоциональную зарядку, что-то еще ярче пережить, заставить других говорить, раскрыть свое сокровенное. Отсюда его постоянное поддразнивание людей, иногда неожиданное и провокационное, собеседник от неожиданности не успевает спрятаться за слова, а он все куда-то откладывает и подмечает. О себе говорит очень скупое, изредка и всегда неожиданно. Так, одно-два слова, и надо всегда быть начеку, чтобы поймать это неожиданно вырвавшееся слово, сопоставить его и хоть немного понять, уяснить этот сложный образ” (Огонек. 1987. № 17. С. 7). Здесь мы приближаемся к осмыслению того, что можно назвать предварением к творческому процессу писателя.

Знавшие Шолохова писали о его замкнутости, о том, что он не любил говорить о себе, “распахивать свою душу, рассказывать о своих замыслах, давать интервью” (А. Калинин). Н. Кастрикин в заметках “Тайна и трагедия М.Шолохова” (Литературная Россия. 1996. 10 мая), зачеркнув вторую книгу “Поднятой целины”, главы “Они сражались за родину” и “Судьбу человека”, написал, что после контузии 1942 г. Шолохов утратил талант и боялся, что “утрату дара ...заметят другие”. “Отсюда - вынужденная нелюдимость, упорное нежелание пускать кого-либо в свою творческую кухню и великое сидение в Вешенской”, его жизнь после этого “иначе не назвать, как трагической профанацией”. Бондарев справедливо подчеркнул, что “ничего более циничного, грязного “ ему “не приходилось читать и в черно-желтых изданиях” (Советская Россия. 1996. 25 мая). Кастрикин берется

оценивать личность и творчество гения, не зная существенных фактов его жизни. О “ряде грубейших ошибок” в “Тихом Доне” Сталин писал в 1929 г., а не в 1949-м. Вешенскую для постоянного места жительства Шолохов выбрал в середине 20-х гг. Никакой нелюбимости у него не было, но “свое нутро”, как уже отмечалось, он держал “за семью замками” и в начале 30-х гг. Никакой связи здесь с “утратой дара” при всем желании не найдешь. И не странно ли: при явном нежелании распахивать свою душу перед другими, Шолохов, общаясь с людьми, очаровывал их. Впрочем, бывают исключения. Войнович, которому жаль, что “Тихий Дон” “связывается (!) с именем Шолохова”, выдал гадкую небылицу, заявив, что когда он с Шолоховым “встречался, то видел совершенно деградировавшего человека” (Тверская жизнь. 1996. 12 января). Есть сотни зафиксированных в печати воспоминаний разных людей о тех прекрасных впечатлениях, которые оставались у них после встреч с Шолоховым. Шукшин говорил, что он заразил его своим образом жизни, ему захотелось переехать на жительство в родные Сростки. А. Тер-Маркарян, побывав в составе группы писателей в Вешенской в 1967 г., вспоминал: “Возвращались мы от М. А. Шолохова просветленные. Как будто прикоснулись к чему-то вечному, одухотворенному” (Литературная Россия. 1991. 1 марта). Маршал авиации А. Ефимов: “Каждая встреча с Михаилом Александровичем давала мне какой-то особый заряд необыкновенной нравственной силы”; “Сама манера слушать, говорить, его особая - меткая, яркая, в то же время простая - речь завораживали собеседника. Он обладал особым даром притягивать к себе людей, объединять даже совершенно незнакомых до этого друг с другом собеседников, увлекать общей темой разговора” (Молодая гвардия. 1988. № 5. С. 175, 118). У него был редкий житейский талант: “простым, незатейливым разговором увести собеседников от сложных тем, сделать отдых приятным, непринужденным. “Проклятые вопросы” разве решишь на ходу? Не стоит об этом! Не лучше ли шутка, милая, непринужденная? Она веселит кровь и прочищает мозги. Жизнь и без того сложна, - не раз повторял он” (Русская литература. 1978. № 2. С. 174).

Многие отмечали простоту, скромность и доступность Шолохова. По словам Калинина, Шолохову “было свойственно какое-то удивительное величие простоты или, может быть, простота величия. ...Аристократизм духа, внутренняя грация, благородство мысли и слова, предельная простота - все это органично сочеталось в нем” (Литературная Россия. 1985. 24 мая). Шолохов был очень отзывчив, внимательно, любовно относился к людям и, по словам Марии Петровны, безгранично доверял им: “Старался в каждом добро разглядеть. И если видел это добро - последним готов был поделиться” (Там же). Казачка Бокова говорила: “Он такой человечный. Все расспросит, прямо в душу заглянет и поможет, если что совхозу нужно. Когда его в Венгрию пригласили, он шестерых земляков с собой повез, и все время с нами - в кино, на стадион, на все встречи. Да что говорить, хороший он человек. Простой казак”. А. Бобров прокомментировал: “Я давно заметил, что это определение - “простой” - высшая похвала в устах трудового человека” (Литературная Россия. 1975. 23 мая).

Когда однажды речь зашла о районных руководителях, Шолохов с возмущением говорил: “Откуда только и берутся неуважительность, высокомерие, чванство, вседозволенность?” (Дон. 1987. № 11. С. 143). Он решительно пресекал попытки “командного нажима “сверху” и по отношению к себе” (А. Гаранжин), не различал людей по рангам: “мог не удостоить вниманием высокопоставленного чиновника или заезжую знаменитость, если те ему не понравились, и в то же время часами разговаривал с людьми простыми, искренними, самобытными” (Молодая гвардия. 1988. № 5. С. 170).

Устремленность к полной правде, вера в силу справедливости, гуманизма и подлинного демократизма определяли его жизненное поведение. Его умение разговаривать с разными людьми “на равных” отмечали многие. А. Плоткин писал: “Чудесные черты есть в характере Шолохова: простосердечие и непринужденность. Видел его в разговоре с колхозниками и с руководящими работниками окружного, краевого масштаба, участвовал вместе с ним в заседании Центрального Комитета ВКП(б), присутствовал дважды при его разговоре с И. В. Сталиным, везде, со всеми он держал себя одинаково - без принижения перед “вышестоящими” людьми и без тени превосходства или высокомерия перед нижестоящими” (Советская Россия. 1987. 22 мая). Это же заметил и В. Кожевников: “Вспоминаю встречу с Шолоховым в 1941 г. на Западном фронте: я не ощутил дистанции между ним, всемирно известным писателем, военным с четырьмя шпалами в петлицах, и солдатами, с которыми он беседовал” (Литературная газета. 1984. 29 февраля).

Эренбург в 1953 г. так отзывался о Шолохове: “Очень честный человек, не умеющий лгать и не выносивший двойного счета” (Осипов В. Тайная жизнь Михаила Шолохова. М., 1995. С. 250). По наблюдению Пишениной, в “душевном облике Шолохова бросалось в глаза еще одно великолепное качество, резко выделявшее его среди других, - это требовательная, даже суровая честность, беспощадная правдивость, не знающая никаких компромиссов” (Огонек. 1985. № 21. С. 9). Калинин подчеркивал, что “общение с ним само по себе воспитывало: “Не ври. Будь правдив и в жизни, и в литературе” (Литературная Россия. 1985. 24 мая). Шолохов говорил своему сыну, что нужно прежде всего быть честным перед самим собой. Когда дочь Ермакова, работая в школе, испытывала оскорбительное недоверие к себе и пришла к Шолохову за советом, то он, выслушав ее, сказал: “Знаешь чего, Поля, главное - честно жизнь свою прожить и самой быть в этом уверенной” (Литературная Россия. 1975. 23 мая). Сам Шолохов был предельно честен по отношению к своему народу; убежденность в том, что он честно живет, давала ему силы в изнурительной борьбе со многими напастями и превратностями судьбы.

Эту привлекательную черту характера Шолохова хорошо знали, чувствовали люди, постоянно жившие рядом с ним. К семнадцатилетнему И. Данилову, заведующему сельским клубом, пришла старушка с просьбой написать пустяшное, как ему показалось, заявление. Нужную бумагу он сочинил, но выразил не-

довольство: такие старухи “своим ногам покоя не дают и других от дела отрывают.

- Эх, какой деятель! - взвился отец. - А как же Шолохову вся страна пишет, день и ночь к нему идут. И для всех у него находится время, а тут, видишь ли, фигура - избач!

Чуть отойдя от обиды, я спросил отца: - Почему все-таки Шолохова считают всесильным? Так сказать, высшей инстанцией?

- За смелость, сынок, - серьезно ответил отец. - И за правду. Он ею живет. И в книгах она у него, и в душе. С нею идет он и к колхознику, и к самому Сталину” (Советская Россия. 1985. 19 мая).

“Шолохов был невероятно скромн” (Е. Исаев) В. Фирсов написал поэму о Шолохове “Огонь над тихим Доном”. “Михаил Александрович не хотел слышать ни о какой поэме о нем! Невозможно описать, сколько было растрачено сил и слов на убеждение в правомерности публикации такой поэмы, на получение его согласия на это. В ответ слышалось одно: нет и нет! Наконец уломали Шолохова: “Ладно уж, пусть все говорят, что воспользовались слабостью старика. Поэму, Володенька, надо хорошенько сократить, убрать все славословия в мой адрес. Уточнить кое-какие фактические данные. Такие места я в рукописи пометил. И тогда, что ж...- И он протянул Фирсову его рукопись” (Огонек.1985. № 21. С. 24). Он не любил говорить плохо о других писателях, старался отметить доброе, хорошее, но о литературных недостатках произведений сказать мог. Когда Серебровская выразила восхищение его памятью, то Шолохов “рассказал, что гораздо лучше была память у Фадеева” (Нева. 1987. № 11. С. 158). А с ним у него были сложные отношения.

У Шолохова была огромная сила воли, немало и здорового самолюбия, он не терпел нытья. “Он в такой мере внутренне богат, - подчеркивала Пишенина, - у него столько оптимизма и живых интересов, что обычные человеческие слабости - тоска, уныние, нытье - никогда не посещают его. Не выносит он этого состояния и в других.

- Однажды, - вспомнил Михаил Александрович, - находясь за рубежом, я повстречался с одним нашим писателем. Весь день он ходил со мной хныча, вечером его снедало недовольство, ныл так, что мне тошно стало. Пришлось убежать от него” (Огонек. 1985. № 21. С. 8).

Мне, прослужившему в советской армии за границей два года, побывавшему в ряде зарубежных стран, показался нелепым вопрос Лангуйевой-Репьевой: «Кстати, почему он не остался тогда в Европе?» «Объяснил это так: скучно у них там». Не стал Шолохов разъяснять, что русскому человеку почвеннической закваски свойственен настрой: «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». Или: «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». Эти суждения можно подкрепить признанием А. Кончаловского в книге «Низкие истины»: “Вася Шукшин за границей вообще не мог жить, ...думал лишь о том, как бы скорее вернуться. ...У меня все было наоборот”. Такое настроение, какое было у Шук-

шина, владело и Шолоховым и миллионами русских людей, не развращенных космополитической культурой.

Шолохов любил песни, играл на гармонии, при случае браво танцевал польку с Марией Петровной, с удовольствием вспоминал смешные случаи, рассказывая о них, смеялся “сам заразительно и неудержимо” (М. Алексеев). Он был разным в общении с разными людьми. Одним - в беседе со старым колхозником, другим - с журналистами, среди них он выглядел моложе их, любил “пошутить, посмеяться, подтрунить над неудачной фразой кого-нибудь из них. В веселой компании друзей он неожиданно предстанет в образе озорного донского казака” (Огонек. 1985. № 21. С. 8). Шолохов много шутил над своим другом В. Кудашовым, но когда тот в 1938 г. оказался в трудной ситуации, не на что ему было жить, Михаил Александрович не остался в стороне, он просил В. Ставского помочь этому писателю, первую часть книги которого “Последние мужики” напечатали в “Октябре”, а со второй случилась непонятная осечка - главный редактор журнала “Панферов дал распоряжение не читать ее” (Молодая гвардия. 1993. № 2. С. 251). В этом же письме Ставскому Шолохов просил вывести себя из редколлегии “Октября”, подчеркивая, что никакой работы в журнале он не вел, поэтому “отвечать за линию журнала” не мог, а “для вывески” он не хотел быть. Ему не нравилось, когда его пытались превратить в свадебного генерала.

По свидетельству сына, отношение Шолохова ко всякого рода оценкам его работы было довольно любопытным: “В нем каким-то удивительным образом, очень естественно уживались нескрываемый, живой и острый интерес к ним и столь же откровенное, нисколько не показное, неподдельное равнодушие, граничащее с полным безразличием” (Дон. 1990. № 5. С.159). Когда до Шолохова дошли слухи о выпуске пасквиля о нем за границей, он спросил Калинина: “Ты что-нибудь знаешь об этой книжке, изданной в Париже?” “Слышал только, что предисловие к ней написал Солженицын”. “Что тому чудаку надо?” Шолохов недоумевал: как писатель может унизиться до того, чтобы участвовать в фабрикации фальшивок. Когда же в его руки попал пасквиль, то “на вопрос, удалось ли ...ему прочитать это парижское издание, махнул рукой: “До сорок четвертой страницы. Скучно” (Правда. 1987. 16 мая).

Т. Иванова не раз чернила личность и творчество Шолохова. Можно подумать, что она поступила нормально с точки зрения газетной этики, когда 29 сентября 1989 г. поместила в “Книжном обозрении” такое суждение читательницы: “...я никогда не смогу простить Шолохову, что он выступил против Дудинцева. Не понимаю и никогда не пойму, как может совмещаться “великий писатель” и личная непорядочность”. Но если нельзя было избежать этой публикации, то необходимо было прокомментировать письмо совсем не так, как сделала Иванова, всецело солидарная с читательницей, напичканной недостоверными слухами. Надо было, исходя из интересов порядочности, разъяснить: если Шолохов в 50-е гг. не одобрил роман В. Дудинцева “Не хлебом единым”, то это нельзя рассматривать как непорядочность, ибо Шолохов имел право на свою оценку и говорил то, что думал. И хорошо бы напомнить читательнице, что он заслужил общена-

родную любовь и самое глубокое уважение не только своим писательским подвигом - своими бессмертными произведениями, но и мужественной борьбой против произвола и беззакония.

Много сделал Шолохов для Вешенской и ее жителей. Газета "Известия" 23 января 1941 г. сообщила, что "по инициативе и с помощью Шолохова в Вешенской был сооружен водопровод, с его же помощью были построены электростанция, здание больницы, родильного дома, благоустроены улицы, воздвигнуты общественные здания". Он добился, чтобы построили мост через Дон, хлопотал об открытии в Вешенской педучилища, о путевках в санаторий учителям, о создании казачьего театра в станице. Сталинскую, Ленинскую и Нобелевскую премии он израсходовал не на свои семейные нужды. В апреле 1935 г. Шолохов просил зав. ГИХЛом Н. Некорякова перечислить деньги с его текущего счета конторе Сельхозснабжения Наркозема СССР "в уплату за грузовую машину, отпущенную Еланской средней школе Вешенского района" и объяснил, что "у школы не оказалось презренного металла" (Молодая гвардия. 1993. № 2. С. 250). В голодный 1946 г. правление колхоза "Красный Октябрь" приняло решение выдать на трудодни по 300 грамм зерна, а бюро РК ВКП(б) постановило исключить за это из партии председателя колхоза. Узнав о таком решении, Шолохов сразу вмешался, обратился в Ростовский обком партии - и дело было поправлено. По инициативе Шолохова направили письмо в ЦК партии с просьбой помочь районам Верхнего Дона, пострадавшим от засухи и немецких захватчиков. И Москва освободила эти районы от хлебопоставок.

Настоящее мужество и смелость, вера в могущественную силу правды, в советскую власть, в то, что она воплощает в себе народные представления о справедливости, давали силы Шолохову достойно выстоять, победить в очень сложное время в конце 20-30-х гг. Он изобличал массовые репрессии, порочную практику проведения хлебозаготовок, когда у крестьян отбирали все зерно. Шолохов обращался к Сталину и добился того, что на Дон прислали зерно. Он отправил много писем в разные организации, чтобы восстановить справедливость, облегчить судьбу земляков. Приведем лишь одно его обращение к юристу Ф. Князеву: "Пересылаю ходатайство твоего станичника о смягчении приговора. А затем прошу твоего прокурорского вмешательства в следующее дело: у Яушенковых (братьев) в 1930 или 32 г. С/Совет (Букановский) изъял дом... Они не лишены, оба работают в колхозе. Третий работает в Москве, демобилизовавшись из Красной Армии. Рассмотрю это дело, пожалуйста, и восстанови поправленную революционную справедливость" (Советская Россия. 1985. 18 августа).

Напряженная борьба с теми, кто глумился над людьми, сильно выматывала писателя. В 1929 г. он признавался Левицкой: "Не работаю. Подавлен. Все опротивело". В 1933 г. в письме Сталину: "Для творческой работы последние полгода были вычеркнуты". И чего стоит такое заявление Кациса: "Шолохов - писатель политический, он не претендовал ни на единое слово правды. Глядя на то, как пухли с голода его односельчане, он размышлял, как написать о гражданской войне, чтобы не задеть никого из сильных "мира сего" (Российские вести. 1994.

10 сентября). Сей пасквильянт, видимо, опирался на слова Шолохова из его письма Левицкой от 7 апреля 1934 г.: “Грустные дела на тихом Дону. Хлеба вышло на “трудный день” в среднем по району 1,5 кил. И уже давно, с января примерно, пухнут люди. Не все, разумеется, но пухнут многие. И помаленьку мрут от голода, так и не дождавшись зажиточной жизни. А Шолохов сидит и пишет по ночам, как когда-то воевали на Дону и как милая, несчастливая Аксинья долюбливала Григория. Мужество надо иметь, чтобы писать сейчас о любви, хоть бы и горькой” (Дон. 1989. № 7. С. 159). Год назад Шолохов вступил в отчаянную борьбу с теми, кто обрек жителей района на голод и добился успеха. И сейчас его мучила какая-то невольная вина перед людьми, но что он мог сделать для облегчения их участи?.. Обвинять Шолохова в приспособленчестве может только циник, потерявший чувство ответственности за свои слова.

Очень трудная обстановка сложилась вокруг Шолохова в 1937-1938 гг. Он писал тогда Левицкой: “...так много человеческого горя на меня свалилось, что я уж начал гнуться. Слишком много для одного человека” (Литературная Россия. 1988. 20 мая). В 1937 г. были арестованы руководители Вешенского района - Луговой, Логачев, Красюков. Используя пытки, следователи вынудили председателя райисполкома Логачева подписать показания, что и он, и Луговой, и Шолохов враги народа. У арестованного Лугового добивались показаний против писателя. Добиваясь справедливости, Шолохов несколько раз ездил в Москву. “В одну из таких поездок, - вспоминал П. Луговой, - он рассказал Сталину обо всем наболевшем. В заключение сказал, что если мы враги народа, тогда и он, живший с ними одной жизнью, одним стремлением, тоже враг народа и что его тоже нужно посадить. Сталин пообещал во всем разобраться. Видимо, он и поручил лично Ежову расследовать наши дела”.

В это время к Шолохову был послан секретарь Союза писателей В. Ставский. Побывав в Вешенской, он составил докладную:

“В ЦК ВКП(б). Секретно. Тов. Сталину И. В. ...Какова же вешенская обстановка у Шолохова? Три месяца тому назад арестован бывший секретарь Вешенского райкома ВКП(б) Луговой - самый близкий политический и личный друг Шолохова. Ранее и позднее арестована группа работников района... Все они обвиняются в принадлежности к контрреволюционной организации. М. Шолохов мне прямо заявил: “Я не верю в виновность Лугового, и если его осудят, значит, и я виноват, и меня осудят. Ведь мы вместе все делали в районе”. Вспоминая о Луговом, он находил в нем только положительные черты... С большим раздражением, граничащем со злобой, говорил М. Шолохов: “Смотри, что делается! Гнали нас с севом, с уборкой, а сами хлеб в Базках гноят. Десять тысяч пудов гниют под открытым небом!” На другой день я проверил эти слова Шолохова. Действительно, на берегу Дона в Базках лежат (частью попревшие) около 10000 тонн пшеницы. Только в последние дни (после дождей) был прислан брезент. Озлобленно говорил М. Шолохов о том, что районный работник НКВД следит за ним, собирает всяческие сплетни о нем и его родных. В порыве откровенности М. Шолохов сказал: “Мне приходят в голову такие мысли, что потом самому страшно

становится". Я воспринял это как признание о мыслях про самоубийство". Ф. Кузнецов заметил: "Думается, комментарий этот неточен. "Мысли", от которых самому Шолохову становилось страшно, были связаны, не с самоубийством, но с переоценкой ценностей, утратой веры в связи с категорическим неприятием того, что происходило в родном ему Вешенском районе и во всей стране". Шолохов «почувствовал и понял, что репрессии против народа, всем сердцем откликнувшегося на идею социальной справедливости и потянувшегося к новой жизни, смертельно опасны для дела социализма» (Ф. Кузнецов. Завтра. 20. 03. 2001).

В. Ставский сообщил: "...Вместе с тем тов. Евдокимов также добавил: "Если бы это не был Шолохов с его именем, он давно бы у нас был арестован". ...Лучше всего было бы для Шолохова (на которого и сейчас влияет его жены родня - от нее прямо несет контрреволюцией) уехать из станицы в промышленный центр, но он решительно против этого, и я был бессилён убедить его в этом... Но основное - его метания, его изолированность (по его вине), его сомнения вызывают серьезные опасения" (Учительская газета. 1994. 31 мая).

После вмешательства Шолохова освободили из заключения Лугового и его товарищей. Это сильно ударило по самолюбию Н. Ежова, который был не только наркомом внутренних дел, но и секретарем ЦК ВКП(б) и председателем Партийного Контроля. Ему, обладающему огромной властью, пришлось признать, что были незаконно арестованы невинные люди и их несправедливо исключили из партии. Стойкая защита Шолоховым честных людей настолько мешала работникам НКВД, что они начали осуществлять новую операцию по его дискредитации. Работники НКВД дали поручение бывшему чекисту И. Погорелову, попавшему в трудное положение, "разоблачить" писателя как организатора втайне подготавливаемого казачьего восстания против советской власти. "Мне предложили поехать в Вешенскую, - рассказал он, - устроиться на работу, пользуясь знакомством с Луговым, войти в доверие к Шолохову, стараться бывать у него на квартире, на вечерах, а затем дать показание, что Шолохов - руководитель повстанческих групп на Дону. ...За показания о Шолохове меня обещали реабилитировать, дать хорошую работу" (Молодая гвардия. 1989. № 5).

Погорелов посвятил в суть этого задания Шолохова, который срочно выехал в Москву. На совещании в Кремле Сталин сказал, что Евдокимов, секретарь Ростовского обкома партии, два раза приходил к нему и "требовал санкции на арест Шолохова за то, что он разговаривает с бывшими белогвардейцами". Сталин сказал ему, что "он ничего не понимает ни в политике, ни в жизни. Как же писатель должен писать о белогвардейцах и не знать, чем они дышат". Выяснив правду, он заверил писателя, что покой и безопасность ему будут обеспечены.

Через месяц после совещания Ежов был снят с должности наркома внутренних дел. Занявший этот пост Берия завел дело на самого Ежова, понадобились компрометирующие его материалы, следователи решили доказать, что он выдал "некоторые конспиративные методы работы" НКВД, рассказал о специальных аппаратах, посредством которых подслушивались и фиксировались стенографистками разговоры между людьми. Они добились "признаний" знакомой его жены З. Гликиной, сотрудницы Иностранной комиссии Союза писателей, об-

виненной в шпионаже "в пользу иностранных разведок", в них сообщалось невероятное в поведении Шолохова: жизнь его висела на волоске, он приехал за помощью к Сталину и в это же самое время ухитрился соблазнить жену очень опасного тогда наркома Ежова! Не больше и не меньше! "Шолохов - любовный соперник кровавого наркома Ежова? Что за бред! Если бы такое написал какой-нибудь сочинитель, мы бы только усмехнулись: мели, Емеля!" - воскликнул Шенталинский и вместе с тем посчитал, что "жизнь фантастичней любой выдумки", сделав вид, что он поверил клеветническим показаниям об "интимной связи Хаютиной-Ежовой с писателем Шолоховым".

Конечно же, он знает, как сочинялись нужные работникам НКВД показания, приводит в своей статье слова арестованного Г. Астахова, писавшего 18 мая 1940 г. в ЦК партии и Берию: "В ночь с 14 на 15 сего месяца следователи избили меня резиновыми палками. Я... не смогу нести ответственности за показания, которые могут быть добыты таким способом, ибо под влиянием боли, к которой я не привык, я могу наговорить вздор". Мелькнула у Шенталинского очевидная мысль, что арестованная Гликина сообщила пакости о Шолохове, "вероятно, по указке следователя", но это не подсказало ему, как следует отнестись к грязным измышлениям, если хочешь честно искать истину.

Критик воспринял фальшивку как "достоверный документ", не пожелав считаться с тем, что лучшие сорта лжи делаются из полуправды. Действительно, в 1938 г. Шолохов был на приеме у Ежова, об этом не раз писали. М. Шкерин, который был в близких отношениях с Шолоховым, в рассказе-были "Ордер на арест", изображая заседание у Сталина в связи с "делом Шолохова", отметил, что писатель совсем недавно был у Ежова "на Лубянке, за Ивана Макарьева заступался - ни за что ни про что посадили человека".

Но в обнародованном "Новым миром" "документе" этот факт получил слишком "оригинальное" развитие: оказывается, "Ежов пригласил Шолохова к себе на дачу. Хаютина-Ежова тогда впервые познакомилась с Шолоховым, и он ей понравился", она также вызвала у него "особый интерес к себе". Откуда это стало известно Гликиной? Выходит, Шолохов когда-то, где-то сказал ей об этом... Но, как хорошо известно, не в его характере было раскрывать свою душу мало знакомому человеку. И в остальном содержании сенсационного "документа" господствует состряпанная следователями психологическая несуразица. В нем повсеместно выпирают белые нитки: когда летом 1938 г. Шолохов снова был в Москве, "он посетил Хаютину-Ежову в редакции журнала "СССР на стройке", где она работала, под видом своего участия в выпуске номера, посвященном Красному казачеству". "Под видом" - здесь снова заметен диктат режиссерской руки следователя. И далее: "После разрешения всех вопросов, связанных с выпуском номера журнала, Шолохов не уходил из редакции и ждал, пока Хаютина-Ежова освободится от работы. Тогда он проводил ее домой". Вполне законные сомнения в том, было ли это на самом деле, еще более усиливаются, когда узнаем, что Гликина, не присутствуя при этом, решилась на ничем не подкрепленную оценку

чувств и симпатий писателя: "Из разговоров, происходивших между ними, явствовало, что Хаютина-Ежова нравится Шолохову как женщина".

В дальнейшем фальшивка еще более обнаруживает свою надуманность: "В августе 1938 г., когда Шолохов опять приехал в Москву, он вместе с писателем Фадеевым посетил Хаютину-Ежову в редакции журнала. В тот же день Хаютина-Ежова по приглашению Шолохова обедала с ним и Фадеевым в гостинице "Националь". ...На следующий день после того, как Хаютина-Ежова обедала с Шолоховым в "Национале", он снова был в редакции журнала и пригласил Хаютину-Ежову к себе в номер. Она согласилась, заведомо предчувствуя (!) стремление Шолохова установить с ней половую связь. Хаютина-Ежова пробыла у Шолохова в гостинице "Националь" несколько часов". После этого-де Ежов устроил на даче дикую сцену ревности жене, затем он бросил Гликиной, свидетельнице (!) этой сцены, "документ", "указывая, какие места читать". В нем зафиксировано: "Тяжелая у нас с тобой любовь, Женя", "уходит в ванную", "целуются", "ложатся" и "женский голос: - Я боюсь...". Как написала Гликина, она поняла, что "этот документ является стенографической записью всего того, что происходило между Хаютиной-Ежовой и Шолоховым у него в номере и что это прослушивание организовано по указанию Ежова".

Ладно, как ни мерзко копаться в этой грязи, следует познакомиться с этим документом... Но, оказывается, Ежов, по словам его жены, уничтожил улику. И это еще не все. Неправдоподобно болтливый нарком рассказал Гликиной (!) и о том, "что Шолохов был на приеме у Л. П. Берии и жаловался на то, что он - Ежов - организовал за ним специальную слежку и что в результате разбирательством этого дела занимается лично И. В. Сталин". Тогда же Ежов старался убедить ее "в том, что он никакого отношения не имеет к организации слежки за Шолоховым и поносил его бранью". Уж слишком катастрофически неумным предстает здесь Ежов: он совершает очевидное должностное преступление, говорит постороннему человеку о сугубо служебных - секретных - делах, сам показал Гликиной "документ", свидетельствующий о слежке за Шолоховым, и затем уверяет ее в том, что он не имеет к этому никакого отношения. А Шолохов-то, какой поразительно недалекий человек: пошел жаловаться на Ежова, наркома внутренних дел, к его заместителю. Какая чушь!

Шолохов и Фадеев, у которых были сложные отношения, на самом деле встречались в 1938 г. в ресторане. Шенталинский приводит рассказ Шолохова корреспонденту "Литературной газеты" Вадиму Соколову: "Остановился в "Гранд-отеле. ...И вдруг уже под вечер звонок - Саша Фадеев. Тот предложил поужинать в "Яре". Договорились встретиться прямо в ресторане - это где нынче гостиница "Советская". Оттуда Шолохова, крепко подвыпившего, срочно вызвали на совещание к Сталину. Можно резонно предположить, что писатели, собираясь встретиться, знали, что им предстоит обсудить серьезные вопросы. Мог ли Шолохов, над которым нависла жуткая опасность, пригласить на эту деловую встречу жену Ежова? Чтобы понять несуразность придуманной следователями ситуации, отметим: по свидетельству Лугового, когда Шолохов был в Москве,

ожидая встречи со Сталиным, "к нему в номер пришел Фадеев с женой. Писатели вдвоем вышли в коридор и там долго разговаривали". Даже при жене Фадеева (не Ежова!) писатели не захотели обсуждать важные для них проблемы.

Если Шолохов, как установлено, явился на состоявшееся 4 ноября 1938 г. (эта дата называется в воспоминаниях Погорелова) совещание к Сталину, прервав ресторанный встречу с Фадеевым, то никакого свидания с Хаютиной-Ежовой у него не могло быть в "Национале". Неопровержимым фактом является то, что Шолохов уехал на следующий день после совещания, решившего вопрос о его жизни и смерти. По его словам, утром он "позвонил Фадееву, а днем отправился назад к Марье Петровне". Участник встречи со Сталиным и членами Политбюро И. Погорелов писал в феврале 1961 г.: "5 ноября мы выехали домой. До Миллерово мы ехали вместе с М. А. Шолоховым и Луговым. В Миллерово они сошли с поезда и поехали в Вешенскую, а я поехал в Новочеркасск".

Как объяснить, что примитивная фальшивка о Шолохове нашла себе место на страницах "Нового мира"? Может быть, тем, что институт "Открытое общество" выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3331 экземпляр этого журнала? Деньги, выделяемые фондом Сороса и российскими компрадорами "демократическим" изданиям, выделяются для того, чтобы они помогали либералам проводить выгодную для них русофобскую политику, и "Новый мир", опубликовав очередную фальшивку, продемонстрировал, что журнал продолжает активно участвовать в информационной войне против патриотической оппозиции и народных основ русской литературы.

При рассмотрении идеологического аспекта этого явления следует учитывать и то, что среди хулителей великого писателя много литераторов, которым чужды наши национальные особенности мышления. Видимо, сохранила свое определенное значение давно высказанная А. Чеховым мысль о том, что многие наши критики - люди, "не знающие, чуждые русской коренной жизни, ее духа, ее форм, ее юмора, совершенно непонятного для них" (П. с. с. Т. 17. С. 224). Нет ли в этом обстоятельстве заключаются причины непонимания и неприятия некоторыми литераторами глубинной сути личности и творчества Шолохова, в частности, характерного для него глубоко народного русского юмора? Не этим ли объясняется недовольство Шенталинского и его единомышленников "паясничаньем" Шолохова?

В работах многих литературоведов используется двойной стандарт при оценках, с одной стороны, Шолохова, Есенина, Исаковского, с другой - Пастернака, Мандельштама, Бродского. Первым не прощаются даже самые мелкие "провинности", более того, сочиняются и распространяются о них гадкие небывлицы. При разговоре о вторых замалчивается то, что их явно не красит. В статье Шенталинского бросается в глаза предвзятое отношение к Шолохову и восторженное - к Пастернаку. В ней говорится: "Пастернаку не привыкать к публичным нападкам. И как он ни уязвлен, сохраняет внешнее спокойствие, даже находит силы и время поддержать тех, кому еще хуже". Но насколько мизерна была эта поддержка, если сравнить ее с той, какую оказал Шолохов тысячам людей. Он

яростно защищал своих товарищей, ставил на кон свою жизнь, выступая против репрессий, а Пастернак не заступился даже за своего друга Мандельштама, трусливо смолчал, что удивило Сталина. И. Добра, хорошо знавший Пастернака, так оценил его поведение: "Борис Леонидович "помогал", как правило, тогда, когда это ничего ему не стоило, не нарушало его покой, достаток или было выгодно.... О Пастернаке вообще распространяли совершенно нелепые слухи, дескать, его преследуют, не дают возможности писать и т. п. Иностранцы, приезжая к нам, бывали у Пастернака и убеждались в том, что все эти слухи - чистейшее вранье. ...Иностранцы видели, что Пастернак живет на советских хлебах не так уж и бедно, обеспечен всем необходимым, получает высокие гонорары за переводы классиков, что у него своя большая дача и что вообще любой западноевропейский или американский писатель мог бы позавидовать его положению" (Литературная Россия. 1996. 9 февраля).

Одобрительно рассуждая о "независимом" поведении Пастернака, Шенталинский умалчивает о том, что он первым, если иметь в виду крупных поэтов, опубликовал хвалебное стихотворение о Сталине. Критик подчеркнул, что в 1937 г. Пастернак "отказался подписать коллективное письмо литераторов, одобряющих казнь Якира, Тухачевского и других военачальников. Тогда, в 1937-м, арест предотвратила сама власть - просто взяла и поставила имя Пастернака среди других под опубликованным позорным писательским письмом". Можно ли подтвердить это серьезными доказательствами? Вспомним: когда шел судебный процесс над Радеком, Сокольниковым, Пятаковым и др., Правление Союза писателей приняло резолюцию, опубликованную 26 января 1937 г. в газетах под заголовком "Если враг не сдается - его уничтожают". И Пастернак заявил о своем присоединении к ней в посланном в Правление письме. Неужели "власть" сама сочинила его? Но почему же тогда она не совершила подобного с Шолоховым?

Можно предположить, что Шолохов вызывал у Сталина сложную гамму чувств, среди которых было и раздражение. Трудно сказать, следует ли полностью доверять В. Лебедеву, который говорил К. Чуковскому: "Сталин намеревался физически уничтожить Шолохова. К счастью, тот человек, который должен был его застрелить, в последнюю минуту передумал" (Осипов В. М. Шолохов. Годы, спрятанные в архивах. С. 41).

Лжедемократическая пресса не перестает публиковать грязные измышления о личности и творчестве Шолохова. Р. Медведев стремится представить его как очень консервативного писателя, чьи политические и публицистические выступления отличаются "крайней реакционностью". Он утверждал, что "с 1939 года Шолохов психологически и нравственно сломался", и, не попытавшись доказать это, писал: "Не играл ли во всем этом большую роль страх разоблачения или сознание своей виновности?" (Вопросы литературы. 1989. № 8. С. 209). В программе МГУ по "Истории русской литературы XX века" (М., 1994) при изучении Шолохова рекомендуется выявить "негативное влияние культа личности в его выступлениях и статьях конца 30-х - начала 50-х гг." (По отношению к другим писателям эта программа такого пожелания не зафиксировала.) А ведь можно

вспомнить, как Фадеев в свое время упрекал Шолохова в совершенно других грехах, говоря о “Тихом Доне”: “В романе не показана победа сталинского дела... В романе не было даже имени Сталина, хотя оборона Царицына со Сталиным во главе соседствовала с Вешенским восстанием и по времени - 1919 год, и по степям - окровавленным” (Дон. 1995. № 5-6. С. 40).

Шолохов не пытался тенденциозно очернить Сталина, чем повседневно занимается сейчас прозападническая пресса. Культ личности он считал неизбежным, не случайным явлением в России после победы советской власти. В разговоре с сыном Шолохов сказал: “Боюсь, что Сталин еще и не худший вариант из того, что могло бы получиться. Вот что страшновато...” (Литературная Россия. 1990. 23 мая).

В день семидесятилетия Сталина в статье “Отец трудящихся мира” Шолохов прочувствованно высказался о вожде, завершив ее словами: “Отец! Наша слава, наша честь, надежда и радость, живи долгие годы!” Проникновенно, с болью в сердце написал Шолохов некролог о Сталине “Прощай, отец!” Это не был отклик по заказу, Шолохов писал искренне, то, что думал, чувствовал. После смерти Сталина отходило на второй план то, что не красило его, яснее вырисовывалось то великое, что он сделал для народа, России. Шолохов был многим обязан ему. Сталин решил вопрос о публикации третьей книги “Тихого Дона”, поддержал присуждение за этот роман Сталинской премии 1 степени, одобрил “крамольную” главу о коллективизации в “Поднятой целине”, отзывался на его письма и помог в борьбе с теми, кто обрек жителей Дона на голодную смерть, предотвратил его арест, при встречах с ним был доброжелательным собеседником. Шолохов одобрил осуждение “культа личности”, но не чернил Сталина, отметив, что был «культ, но была и личность».

Когда о Сталине психологически трудно было публично сказать хорошее, Шолохов говорил: “Сталин никогда не оказывал на меня политического давления. Это был внимательный, мудрый и терпеливый читатель “Тихого Дона” с гениальной памятью. ...Сталин удивил меня своей памятью, цитируя отдельные сцены и целые страницы моего романа, не заглядывая в книгу. Мы полемизировали с ним по многим проблемам “Тихого Дона”. И всегда Сталин приятно поражал меня внутренним обаянием, глубиной мысли и своей корректностью. В беседах со мной не было и тени “нажима”, “диктата” или “вмешательства” в мой творческий замысел... Да, наши взгляды на некоторые исторические личности (персонажи “Тихого Дона”) были различны. Но Сталин в полемике о “Тихом Доне” проявил больше такта и понимания, чем ортодоксы-вожаки РАППа, которые ...почти на три года задержали публикации третьего тома романа в журнале “Октябрь”, а затем препятствовали изданию его отдельной книгой” (Прийма К. “Тихий Дон” сражается. С. 491).

Выше уже отмечалось, что Шолохов в конце 20-х-начале 30-х гг. спас от голодной смерти десятки тысяч жителей Дона. В 1938 г. он заступился за конструктора “Катюши” И. Клейменова, писал о нем же заявление в комиссию партийного контроля при ЦК КПСС в 1955 г. В 1940 г. он предлагал дать Сталинскую премию

А. Ахматовой за сборник "Из шести книг", вскоре запрещенный. Шолохов вызволил из тюрьмы Л. Гумилева, сына А. Ахматовой, критика И. Макарьева, любимую артистку Э. Цесарскую, помог выйти из тюрьмы Е. Пермитину, сыну А. Платонова. Когда Платонова не печатали и ему не на что было жить, Шолохов помог ему издать сборник отредактированных им сказок. Людские боли и радости Шолохов "воспринимал, как свои, тяжело ранящие или радующие его. Если нужны были его помощь, защита, вмешательство, он немедленно шел человеку навстречу" (Мировое значение... С. 169). К. Воробьеву не удавалось напечатать правдивый рассказ о жизни литовской деревни в первые послевоенные годы, и Шолохов, прочитавший это произведение, "выразил готовность лично отредактировать рукопись и тем самым снять бесчисленные вопросы издателей" (Литературная Россия. 1996. 21 июня).

Многим людям он помог в решении трудных проблем. И. Шкапа, выйдя на свободу после длительного заключения, внезапно повстречался с Шолоховым, и тот так отреагировал на это: "Шолохов шел по улице в Москве, нес в обеих руках огромный арбуз. Когда увидел меня - арбуз вдребезги. Жил у него полтора месяца, еще не реабилитированный... Вот был друг" (Литературная газета. 1988. 23 ноября).

Злопыхатели, не желая вспоминать о таких фактах, распространяют о Шолохове подлые небылицы. Так, Кацис вещает: "Возможно, советский писатель имел моральное право публично требовать смертной казни для своих коллег, как делал это Шолохов с трибуны партийного съезда" (Российские вести. 1994. 10 сентября). Е. Евтушенко, обидевшись на то, что Шолохов прохладно принял его, когда он приехал к нему в Вешенскую, клеветает: "А может быть, будучи сам под страхом ареста, он совершил однажды преступление против нравственности, присоединившись к призывам типа "если враг не сдается, его уничтожают", а потом начал стремительно деградировать как личность и профессионал-писатель" (Литературная газета. 1991. 23 января). Радзишевский не может забыть, как "глумился" Шолохов "на партийном съезде над Синявским и Даниэлем: "Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а "руководствуясь революционным правосознанием", ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! А тут, видите ли, еще рассуждают о "суровости" приговора" (Литературная газета. 1995. 24 мая).

Но отсюда следует, что Шолохов, осуждая этих литераторов, считал, что у них "черная совесть", и говорил, что было бы, если бы их судили в 20-е годы. Вместе с тем у него не было "прямых призывов к убийству", как лгал Евтушенко, Шолохов не требовал смертной казни, как представил это Ф. Медведев (Книжное обозрение. 1990. № 4). Его, видно, перепутали с Мейерхольдом, который, желая "приблизить искусство к жизни, предлагал устраивать расстрел "врагов народа" прямо на сцене его театра" (Литературная Россия. 1994. 4 марта).

В одном из интервью Б. Окуджава признался, что, "конечно, ему случалось по отношению к кому-то оказываться предателем - и не однажды" (Нева. 1994. №

7. С. 267). Думается, что он предавал прежде всего идеалы порядочности и гуманности. О кошмарном показательном расстреле Верховного Совета, защитников Конституции и законности он заявил: “Я наслаждался этим” (Правда. 1993. 29 декабря). 1 мая 1995 г. по телевидению в передаче “Момент истины” выступали А. Караулов и Б. Окуджава, которые использовали домашнюю заготовку с целью опорочить Шолохова. Караулов спросил Окуджаву, не хочется ли ему перечитать “Тихий Дон” или “Поднятую целину”, и ответ последовал категорический: Окуджаве настолько неприятна личность Шолохова, что она отбивает охоту перечитывать его произведения, и вообще Шолохов “большой прохиндей”: он же издевался над Синявским и Даниэлем. Но окуджавы умалчивают о том, что многие писатели поддержали приговор этим диссидентам, что и Солженицын отказался подписать обращение к правительству в их защиту, заявив: “Негоже русскому писателю искать славы за границей”.

Обращение за помощью к западу в борьбе со своим правительством Шолохов был склонен относить к духовной власовщине, к предательству наших национально-государственных интересов. Он хорошо представлял, какими бедами может обернуться направленная на разрушение государственности писательская деятельность, и потому говорил: “Считаю, что фронда, в какой бы форме она ни проявлялась, - никчемная штука. И в творчестве, и в поведении она дурно пахнет. Эх, если бы кое-кому из наших молодых эту самую фронду, да заменить бы на элементарную разборчивость! К слову сказать, не думаю, чтобы Маяковский пошел читать свои стихи в Капитолию. Уж он-то прикинул бы, почему и с какой целью его туда приглашают...” (Мировое значение творчества М. Шолохова. С. 13).

Шолохова беспокоила судьба молодого поколения, он говорил: “Наша молодежь в основном хорошая... Конечно, есть у нас молодые люди, отравленные ядовитой западной пропагандой... За влияние на молодежь идет повседневная борьба. И не в наших интересах отдавать вас, таких хороших девчонок и ребят, в чьи-то чужие и грязные руки...” (Могучий талант. С. 266). В другой раз: “Чего греха таить, некоторая часть городской молодежи порой легко воспринимает от Запада и несет за собой ненужное нам” (Слово о Шолохове. С. 164).

Шолохов говорил: “Много привычек и обычаев сложилось у наших предков, и многие из них мы должны сохранить как устои общества” (Слово о Шолохове. С. 164). Остро реагируя на подрывную работу диссидентов, которые - в своем большинстве - были чужды традиционным устоям России, он провидчески предугадывал тот губительный для нашей государственности результат, который мы сейчас пожинаем. Он остро воспринял трагические события в Венгрии осенью 1956 г. и говорил: “Больно переживать эти события и потому, что мои коллеги - венгерские писатели, которые очень смело выступали против ...ошибок, в нужное время, когда царило замешательство, не подняли писательского слова против реакции...” (Правда. 1956. 27 декабря).

Левицкая записала свое впечатление о Шолохове в 30-е гг.: “Невольно, смотря на Михаила Александровича, думалось, нет ли некоторых автобиографи-

ческих черточек в Григории, в его сомнениях, исканиях и шатаниях” (Огонек. 1987. № 17. С. 8). Были они, но Шолохов верил в идеи, провозглашенные Октябрем. “Он никогда не был коммунистом-ортодоксом, - отметил В. Осипов. - Да, идею поверил - создать нечто лучшее, светлое для страны и народа. Тогда это называлось коммунизмом. Он был идеалистом и выступал за эту идею вообще, в расширительном понимании, и не принимал античеловеческих методов ее воплощения” (Известия. 1995. 24 мая). Шолохов критически относился к верховным правителям нашей страны, его очень тревожила ее дальнейшая судьба. “И чтобы понять драму Михаила Шолохова, - писал Шкапа, - надо знать, как он рано распознал народную беду. Чтобы понять, как он смог, смел написать, создать в столь молодые годы величайшее произведение “Тихий Дон”, переполненное многоголосьем согласий и несогласий с властями предрержащими, тоской по правде, кровью, болью и любовью. Не однажды я слышал от него: “Илья, бандиты, идиоты нами управляют” (Литературная газета. 1988. 23 ноября).

Шолохов не раз остро критиковал неумные директивы, приводящие, например, к вырубке садов, высмеивал недостатки в работе министерств, разрыв между словом и делом, сильно переживал из-за распространившихся у нас бюрократизма, протекционизма, бездушного отношения к людям. Он был убежден, что “очень велика ответственность писателя перед народом”. Обращаясь к молодым авторам, он говорил: “Мы все вместе и каждый из нас отдельно должны быть совестью народа” (8, 308). Он протестовал против того, что “вопросам культуры уделяется со стороны всех организаций ничтожное количество времени и средств” (8, 114).

Шолохов много раз писал о необходимости беречь природу, о недопустимости пренебрежительного отношения к памятникам и заповедным местам, стремился внушить чувство беспокойства за тех, кто будет жить после нас. Шолохов защищал остатки лесов в верхних районах Дона, обращался к председателю Совмина РСФСР с письмом, где протестовал против бездумной вырубки их лесхозами: “Если их сейчас не остановить, то в ближайшие годы у нас будет “зона пустыни” (Рабочая трибуна. 1995. 4 мая). В 1974 г. он утверждал: “Русский народ - от богатства, что ли, своего - был всегда недостаточно внимателен к бережному сохранению лесов, морей, рек... Мы привыкли, что у нас всего много. Видно забыли, что не все вечно” (Мировое значение ... С. 13). “Самое важное и самое трудное состоит в том, - говорил Михаил Александрович во время одной из бесед в Вешенской, - что нам надо преодолевать привычку враждебного отношения к природе. Вы обращали внимание, как у нас и в школах, и по радио, и в газетах постоянно повторяется такой тезис: дескать, с природой надо бороться, что ее надо якобы побеждать? Мы воспитываем детей в бессознательно враждебном отношении к природе. Не замечаем, не задумываемся, что это - рудимент злодейского отношения к природе, идущее от хищников-капиталистов” (Литературная Россия. 1975. 23 мая).

Работая над “Тихим Доном”, Шолохов написал Левицкой: “...я, как видно, в недалеком будущем стану толстовцем. Все чаще мне становится грустно, когда я

убиваю птицу, либо зверя. И уже серьезно думаю, как бы мне расстаться с охотой. В прошлом году потерял бездну времени, выхаживая мною же подраненную стрепетку. На дню по три раза ходил за станицу ловить ей кузнецов, к вящему удивлению баб...” (Знамя. 1987. № 10. С. 190). Прошло с тех пор много лет, и один деятель пригласил Шолохова охотиться в заказник. “Я ушел один, - рассказал писатель. - Не успел и ста шагов сделать по аллее, как навстречу мне красавец. ...С ним две ланюшки. ...Стрелять? Какой же, черт побери, ты охотник! Если бы ты походил за ним дня три, выследил бы да перехитрил его, тогда... Поднял я ружье кверху, дал залп...” (Огонек. 1985. № 21. С. 9). Он сожалел, что в Вешенском районе последнюю волчицу убили: “ведь всякий зверь красивый”. Когда зашла речь об атомной бомбежке Японии, Шолохов говорил об американском президенте Трумене, отдавшем приказ бомбить мирные города: “Какая мать его родила? Как можно считать себя человеком после такого варварства, такого вандализма?”

На Втором Всесоюзном съезде писателей в 1954 г. Шолохов критиковал поток “бесцветной, посредственной литературы, который последние годы хлещет со страниц журналов и наводняет книжный рынок” (8, 296). Причину этого он видел в падении “требовательности к себе”. Он выступил против захваливания произведений “именитых” авторов, против беспринципных группировок, против снижения высоких критериев во время присуждения премий. Это выступление в защиту коренных интересов русской литературы Золотоносов оценил так: “...речь Шолохова прозвучала столь реакционно, что сам Суслов (!) просил Федора Гладкова дать немедленный отпор” (Московские новости. 1995. № 41).

В чем заключалась эта “реакционность” - остается только догадываться, такое суждение можно посчитать, используя фразеологию критика, “плодом белой горячки и нравственной деградации”. Иначе придется зачислить в число реакционеров громадную часть читателей нашей страны. Ведь “самую большую почту “Правды” составили отклики на речь Шолохова с трибуны Второго съезда советских писателей. Это были многие тысячи писем рабочих, колхозников, воинов Советской Армии и Флота, интеллигенции. В них была самая горячая и единая поддержка позиции, занятой Шолоховым” (Огонек. 1985. № 21. С. 9).

Шолохов был убежден, что главное для писателя - “писать правду”, а самое первое, самое необходимое условие для правдивого изображения жизни - доскональное знание ее. И потому на XX съезде КПСС он резко выступил против того, что многие писатели не знают “толком ни колхозников, ни рабочих”, “давненько уже утратили связь с жизнью и не оторвались от нее, а тихонько отошли в сторону и спокойно пребывают в дремотной и непонятной мирозерцательной бездеятельности”. Он посчитал, что излишне много писателей осело жить в Москве, и к тому же среди них есть немало таких, которые живут в “заколдованном треугольнике: курорт - Москва - дача” (8, 320). Это выступление не увеличило числа его друзей и сторонников среди столичных писателей и критиков. “Правда” немедленно опубликовала гневное письмо А. Гиндина, который бичевал Шолохова за “демагогические нотки”. Речь Шолохова на XX съезде партии осудили на

совещании в ЦК, проходившем под руководством Суслова, Брежнева, Фурцевой. Секретарь Союза советских писателей Б. Полевой высказал тогда такое суждение: “Речь Шолохова, по моему твердому убеждению, нанесла существенный вред, и в этом надо отдавать отчет” (Учительская газета. 1994. 31 мая).

Шолохов неоднократно шел против течения, не считался с тем, понравится ли его поведение верховной власти. Другой бы - после осуждения его речи на XX съезде - притих, перестал бы дразнить гусей, а он и на XX11 съезде КПСС снова заговорил о низком качестве издаваемых книг, об отрыве писателей от жизни, о весьма поверхностном знании ими того, о чем они пишут в своих произведениях, о том, что “из 2700 писателей РСФСР 1700 - постоянные жители только двух городов - Москвы и Ленинграда” (Литературная газета. 1961. 26 октября).

Показателен и такой факт. Политорганы доносили М. Суслову: “26 декабря 1958 года нами была организована встреча личного состава Академии с писателем Шолоховым. ...При ответах на вопросы тов. Шолохов допустил вольности, граничащие с аполитичностью” (Дон. 1955. № 5-6. С. 58). Будучи во Франции в 50-е гг., отвечая на вопрос журналиста, что он думает о “Докторе Живаго”, Шолохов “сказал, что надо его сначала опубликовать в России, прочитать, а потом уж выносить суждения... Что там было! Советский посол срочно сочинил секретную депешу в ЦК - как быть с Шолоховым?” Последовало решение Политбюро: “Обратить внимание М. Шолохова на недопустимость подобных заявлений, противоречащих нашим интересам” (Учительская газета. 1994. 31 мая).

Шолохов был невысокого мнения об этом произведении. Когда в 1965 г. его спросили: “Что вы думаете о книге Пастернака “Доктор Живаго” как о романе?”, он ответил: “Я не меняю взглядов. Это был плохой роман. Пастернак был талантливым поэтом. Он был еще более талантливым переводчиком” (Литературная Россия. 1990. 23 мая). Но Шолохов ничем не запятнал себя в той травле, которую устроили против Пастернака.

По просьбе редакции “Правды” Шолохов съездил на целину, написал очерк, где изобразил, как губили многие тысячи тонн хлеба, как бурты зерна по полям мокли под дождем. По его словам, “редактор “Правды” Поспелов в ужас пришел”. Писатель пошел “к секретарю ЦК Суслову. Тот прочитал и категорически запретил” (Правда Украины. 1988. 1 октября).

Дочь Шолохова Светлана размышляла о жизни и поведении отца: “Почему-то принято считать Шолохова этаким “любимцем вождей” - от Сталина до Брежнева. И это тоже неправда. Он был неугоден им всем, всем одинаково неудобен, потому что не “прислуживался”, а всю жизнь честно служил той идее, в которую искренне верил, нигде не отождествляя эту идею и “исполнителей”, партию, к которой принадлежал по убеждению, а не из корысти, и ее руководителей, далеко не всегда достойных. В такой ситуации жизнь его не могла быть ничем иным, как трагедией, а творчество - постоянной борьбой “на два фронта”. С одной стороны - с “доброжелателями-критиками” и цензурой, а с другой - с самим собой. ...И, может быть, этот второй фронт - самая страшная для писателя борьба, обрекавшая на поражение, т. е. на молчание” (Дон. 1995. № 5-6. С. 30).

Шолохов был убежден в том, что главное для писателя - оценивать явления жизни с государственных, подлинно народных позиций. Когда в 1967 г. в Вешенскую приехали молодые писатели, он, беседуя с ними, говорил: “Мы служим идее, а не лично себе. Каждый из нас должен видеть и чувствовать в себе прежде всего “государственного человека”, т. е. творцу-писателю не дано право на ошибку, так как его ошибка может покалечить тысячи душ...” (Там же. С. 36).

Это кредо Шолохова позволяет лучше оценить его жизнь, его творчество, его поведение. Непримирым к “погрешениям” Шолохова Семанов упрекал его за то, что он сопровождал в Америку “нашего Никиту Сергеевича”, украшал “там своим присутствием кучу хрущевских холуев” и спрашивал: “Какой бес толкнул его под ребро? Но толкнул ведь...” (Молодая гвардия. 1992. № 7. С. 260). Семанов не может уразуметь, что Шолохов, поехав в Америку, думал не об интересах и потребностях Хрущева и тех, кто его сопровождал, а о делах государственных, об авторитете своей родины, о том, чтобы лучше донести правду о ней американской общественности. В то время он считал и Хрущева и самого себя полномочными представителями советского народа и своим присутствием в делегации служил идее укрепления нашей государственности.

Лангуева-Репьева - вслед за другими исследователями - заключила: «Личность Шолохова вовсе не была сломлена всем тем кошмаром, что он пережил в тридцатые, и что пережила страна». Но 30-е годы по своей содержательной сути не укладываются в определение «кошмар». Тогда были и унесший много жизней голод, и террор, но вместе с тем это была эпоха великого строительства, быстро вырастали новые города, возникали новые отрасли промышленности, строились авиационные, тракторные, моторные заводы. Вся страна училась, школа рассталась с западными моделями образования, укреплялась армия, молодежь считала честью служить в ней, страна спешно готовилась к своей защите. А теперь нынешняя власть не созидает, а проедает то, что сделано советской властью, и ликвидирует былые социальные завоевания трудящихся. И трудно поверить заключению Лангуевой-Репевой: «И нам, сегодняшним, понять неприятие той «сутолоки» жизни не так уж и сложно. Потому что сами живем вот уже лет десять, как будто на пожар спешим». Раньше спешили созидать, строить, теперь же – рушить или жульнически присваивать ценности из народного достояния.

Трагические перегибы во время коллективизации и репрессии были известны Шолохову не понаслышке. Но вместе с тем он с подлинно государственных позиций высоко оценивал ту титаническую созидательную работу, тот стремительный рывок к индустриальной мощи, какие совершили наши люди в те годы. И потому он утверждал: “Тридцатые годы останутся в истории как высокие годы. Великие по размаху, нови своей, грандиозности задач и по тому, что было сделано советскими людьми. ...Эти люди - из крепкой, нержавеющей стали. Они не жалели ни себя, ни своей жизни ради великой цели, ради социализма. Они были неподкупные творцы в той своей благородной вере” (Мировое значение... С. 8).

Интересно то, что Шолохов не хотел рассказывать сыну о тяжких сторонах 30-х гг., потому что по своему складу характера тот не был “бойцом”, он считал

необходимым “уберечь человека (особенно еще незрелого, слабого, душевно хлипкого) от унижительных, деморализующих, а потому и вредоносных истин, от “правды”, которая способна “возбудить” самого низкого человека тем, что демонстрирует людей еще более падших, чем он сам, которая убеждает его в том, что он еще далеко не худший представитель “животного мира” из человеческого рода” (Дон. 1990. № 5. С. 101).

В 1983 г. в обращении “К болгарским писателям” (Огонек. 1985. № 21. С. 22) Шолохов пронизательно протестовал против попыток переписать историю, обогатить то, что сделано людьми в последнее время: “Есть еще охотники разрушить связь времен, забыть о светлых традициях в жизни народа, порушить то доброе, героическое, что накоплено прадедами и отцами, завоевано ими в борьбе за лучшие народные идеалы, за свободу и независимость наших стран, за социализм”. В то время многим, в том числе, конечно, и Шолохову, было ясно, что руководство партии и советского государства деградирует, что в хозяйственном и политическом организме страны все больше появляется нежелательных аномалий, что нужны серьезные перемены. Чрезвычайная сложность вопроса заключалась в том, как и в каком направлении проводить реформирование нашей общественно-политической системы. Шолохов, по свидетельству его дочери Светланы, считал: “...пусть это общество несовершенно, но если не разрушать то, что уже построено с таким трудом, а совершенствовать его, направить силы и способности нашего талантливой народа на созидание новых материальных и духовных ценностей, умножать те богатства, которые нам достались по наследству от отцов и дедов, и то, что еще уцелело от страшных катастроф, можно многое изменить к лучшему, и тогда только может сохраниться государство и народ, бесценные сокровища культуры. Иначе произойдет такое расслоение поколений, которое неизбежно приведет к отрицанию всего и всех, к оплевыванию собственной истории и святынь прошлого, а без прошлого народ не имеет будущего” (Дон. 1995. № 5-6. С. 37).

Опасения Шолохова относительно разрушительных последствий неверно избранного реформаторского пути оправдались на все сто процентов. Либералы разрушили союз, Россию, за ее границами оказалось свыше 25 миллионов человек. Народ расколот политически, морально, материально, зияющий разрыв произошел не только между интеллигенцией и народом, но и сама интеллигенция раскололась на патриотический лагерь и космополитический. Для одних очень дорого “корневое, почвенное начало культуры, другим близок всечеловеческий, космический пафос” (Н. Анастасьев). Борьба между этими направлениями приобрела острый характер. И одним из следствий ее стало огульное шельмование Шолохова, бессовестная фальсификация его творчества, его личности. Но почему избран в качестве мишени писатель номер 1, которого уже нет в живых, который, как он однажды выразился, “уже не может ни на место поставить, ни по морде дать” (Дон. 1990. № 5. С.157)?

Г. Климов, одно время обслуживающий спецслужбы США, в “Красных протоколах” сообщил о двух статьях о Шолохове, написанных М. Коряковым и опубли-

кованных в “Новом русском слове”. Они передавались радиостанцией “Свобода”, сказанное в них являлось официальной точкой зрения американской пропаганды. ”В первой статье (до 1958 года),- пишет Климов, - Коряков до небес превозносил Шолохова, называя его писателем в душе антисоветским и даже христианским, подкрепляя это цитатами из “Тихого Дона” и из довольно серьезных источников в западной прессе. Во второй статье (после 1958 года) тот же Коряков, в том же “НРС” вдруг становится на голову, дрыгает ногами и пишет совершенно обратное тому, что он писал о Шолохове в первой статье. Поливает грязью. В общем, Коряков сам себя выпорол. Публично. Но где же Правда и где Кривда? В чем же дело? А дело в том, что в 1958 году поднялась дикая свистопляска вокруг Пастернака и его “Доктора Живаго”. И в этой свистопляске Шолохов имел неосторожность выступить против Пастернака”. И получается, что Шолохов задел национальные чувства евреев, те обиделись, и “сразу после этого и началась кампания злобной лжи и клеветы против Шолохова...” (205). Можно посчитаться с этим соображением, но вряд ли оно выявляет главную причину возникшей травли Шолохова. Ведь в шельмовании Пастернака он не участвовал.

Видимо, спецслужбы США к 1958 г. пришли к осознанию того, что их попытки представить Шолохова противником советской общественной системы обречены на провал, его выступления в печати говорили о тщетности этих начинаний, и потому было принято решение повернуть на сто восемьдесят градусов траекторию его творчества.

Шолохов верил в благотворность для русского народа идеи социалистического пути развития, всеми силами содействовал тому, чтобы он сохранил традиционные нравственные ценности. Он был непримиримым противником того, чтобы власть денег определяла поведение и мирозерцание людей. О хозяевах Америки Шолохов говорил: “Всем им служит путеводной звездой тускло мерцающий доллар - в жизни нет у них иного светила” (8, 234). На XXII съезде КПСС Шолохов вспомнил рассказ американского писателя О. Генри “Дороги, которые мы выбираем” и обратил внимание на то, как Акула Додсон спокойно убивает своего товарища, затем разоряет приятеля, повторяя фразу: “Боливар” двоих не снесет”. Писатель сделал вывод: “Вот он волчий закон бандитского, то есть капиталистического товарищества. Впрочем, в нашем понимании это ведь одно и то же: тут никак не проведешь разграничительной линии и не поймешь, где кончается бандитизм и начинается капитализм. И бандитское и капиталистическое товарищество - попросту два сиамских близнеца, достаточно отвратительных по внешности и нутру для здорового человеческого общества”. Шолохов с возмущением говорил о резком социальном размежевании в Италии: в окрестности Рима он видел роскошное здание, где помещается санаторий для кошек итальянских миллионеров: “Там этих больных от ожирения и безделья кошек лечат опытные врачи: холят, купают, причесывают и опрыскивают духами квалифицированные санитарки, кормят этих проклятых больных изысканными кушаньями, водят на прогулки и ублажают всячески предупредительные няни. А рядом, на помойках, роются голодные детишки и смотрят на тебя ввалившимися

глазами с недетской тяжелой тоской”. Это он назвал “низостью самых растленных душ”. Как могли воспринять такие заявления хозяева Америки? И как могут относиться к Шолохову “демократы”, по вине которых возникли те же разительные социальные контрасты в нашей стране?

Глава 12. О ЛЮБВИ К РОДИНЕ И КОСМОПОЛИТИЗМЕ

Современные либералы издеваются над русским патриотизмом, над идеей коллективизма, устремленностью к социальной справедливости, к обществу без сверхмерно богатых и нищих, стремятся уничтожить в русских душах помыслы о созидании великой державы, о защите своих основополагающих геополитических интересов.

Вся деятельность русских писателей-патриотов, их политический и нравственный облик противостоит такой политике, согласно которой ничего хорошего не было в России, особенно при советской власти, культура задыхалась, литературы не было. А тут Шолохов, путающий все карты русофобов: лауреат Нобелевской премии, всемирно известный писатель и вместе с тем защитник литературы социалистического реализма, основных идейно-нравственных ценностей советского государственной системы. Клеветническая кампания против Шолохова ведется с такой интенсивностью и изощренностью, что под ее воздействием гибнут и те, кто в свое время очень высоко оценивал его творчество. Так, Л. Колодный нашел рукописи “Тихого Дона” и испортил тем самым настроение его недругам. Он высказывал верные мысли о подоплеке инсинуаций о Шолохове: “Шумиха вокруг романа носит не литературный, а политический характер. Раньше она была выгодна для тех, кто пытался ниспровергнуть Шолохова как выразителя официальной идеологии. Но и теперь... по инерции продолжает катиться на писателя передача “Пятое колесо” (Литературная Россия. 1991. 19 июля). О политическом характере здесь сказано правильно, а вот на счет инерции... Не слишком ли мощной она оказалась?

Через несколько лет Колодный сам заговорил откровенно политическим и со странным акцентом языком: “Сталинист Шолохов, в массовом сознании предстающий (и не без оснований) столпом рухнувшей системы, классиком соцреализма, гонителем диссидентов... Прodelал сложную эволюцию, стал ретроградом, можно сказать, даже реакционером” (Московский комсомолец. 1993. 29 мая). В действительности все дело в том, что Шолохов с несомненной очевидностью величаво возвышался над всеми расхваленными в средствах массовой информации деятелями прозападнической творческой интеллигенции, подавляя их великой правдой, художественной мощью своих произведений, благородной открытостью своей нравственной и политической позиции, - потому им хотелось любой ценой, используя самые недозволительные средства, принизить, испачкать его жизнь и книги. Шолохов и либеральствующие литераторы - антиподы во всем, в сути своего поведения, своих поступков, и это с особенной силой проявляется в отношении к России и русскому народу.

Настораживает то, что некоторые патриотические газеты пытаются представить Шолохова неким «саботажником», диссидентом, который испытывал невыносимые притеснения со стороны советской власти и особенно Сталина. Огорчаясь произволом, обрушившимся на затурканных советских авторов, Лангуева-Репьева пишет: «А на первом форуме писателей страны политическое давление на них было таким сильным, что именно после съезда и Пастернак, и Мандельштам написали стихи о Сталине. ...И только Шолохов не пожал протянутую ему царственную руку Иосифа Виссарионовича. После 1934 года Шолохов... напечатал только одну небольшую статью – «Красная Подкушевка». ...И замолчал «специальный корреспондент» «Правды» аж до военного лета 1941». Напрасно думать, что только политическое давление заставило, например, Пастернака написать стихи, прославляющие Сталина.

Но меня заинтересовало то, как оригинально Шолохов выказал свое решительное неприятие вождя. А было ли это на самом деле? После ознакомления с фактами пришел в недоумение. Оказывается, в июле 1935 года угрюмо молчавший Шолохов совершил поездку на Кубань, в августе встретился с рабочими в Новочеркасске. 8 января 1936 года выступил на районной конференции читателей «Поднятой целины», 24 апреля беседовал с корреспондентом ТАСС. В июне выступил на собрании учащихся педучилища и слушателей курсов учителей в станице Вешенской с речью, посвященной памяти М. Горького. 24 декабря опубликовал статью о Н. Островском. 30 мая 1937 г. напечатал в «Литературной газете» статью «О советском писателе». 10 июня участвовал в работе краевой партийной конференции. 17 ноября опубликовал в «Литературной газете» обращение к избирателям. 23 ноября написал статью «Талантливый выразитель народных дум» в связи со смертью Сулеймана Стальского. 30 ноября встречался с избирателями в Новочеркасске. 16 декабря в газете «Большевицкий Дон» напечатал статью «Театр, которым все мы гордимся». В январе 1938 года участвовал в работе сессии Верховного Совета СССР. 18 января опубликовал в «Известиях» статью «Писатель-большевик» о своем старшем друге А. Серафимовиче. 17 марта 1939 г. выступил с речью на 18 съезде ВКП(б). Прервем перечисление. Ведь уже ясно, что слова о том, что Шолохов замолчал, - это плод либо злого умысла, либо скверного знания того, о чем писала избоблительница «ужасов» советской жизни. Возможно, сочеталось и то, и другое.

Лангуева-Репьева ужасается: «Но от него требовали, чтобы он был еще и политиком. Мало – фанатиком-коммунистом». Кто это требовал? Немало времени я отдал изучению творчества Шолохова, а вот требований к нему – стать «фанатиком-коммунистом» - ни разу не встретил. Лангуева-Репьева наставительно разъясняет: «...истина жизни заключается в том, что занятия политикой и настоящей литературой одновременно невозможно». Во время Великой Отечественной войны многие советские писатели успешно занимались тем и другим. Это сыграло выдающуюся роль в борьбе нашего народа против фашизма.

Шолохов был истым патриотом и настоящим интернационалистом. Он считал: «Каждая нация, большая или малая, имеет свои культурные ценности. Из

этих ценностей складывается великое духовное состояние человека” (8, 310). Он подчеркивал, что “советский народ всегда относился с большим уважением к трудовому американскому народу” (8, 246), говорил о светлом разуме “мужественного и трудолюбивого венгерского народа” (8, 336), писал о любви “к великому, талантливому украинскому народу”, о “самобытной и разносторонней по своему характеру украинской литературе” (8, 387), ценил творчество О. Вишни, И. Франко, О. Гончара, В. Собко. Шолохов высоко отзывался об армянских писателях А. Исаакане и М. Налбандяне, о мужественных песнях Джамбула, называл Сулеймана Стальского “истинно народным поэтом”.

Шолохов неоднократно писал о своей любви к Донскому краю, к родине, к русскому человеку, придавал очень большое значение патриотическому воспитанию людей. Он был убежден: “Надо воспитывать патриотизм с ползункового возраста. Тогда человек пронесет любовь к родине через всю жизнь...” (Слово о Шолохове. С.168). Шолохов не проходил мимо попыток очернить русского человека. Когда в английской прессе после издания первых книг “Тихого Дона” заговорили о “жестокости русских нравов”, то он заявил, что “жестокость русских едва ли превосходит жестокость нравов любой другой нации” (8, 104). Шолохов ценил творчество А. Толстого за то, что он, “верный сын разгневанной России, исполненный глубокой веры в свой народ, воскрешал перед советскими людьми историческую славу русского прошлого, заветы наших великих предков”, что он, “писатель большой русской души и разностороннего яркого дарования... находил простые, душевные слова, чтобы выразить свою любовь к советской отчизне, к ее людям, ко всему, что дорого сердцу русского человека” (8, 178-179).

В “Слове о Родине” (1948) Шолохов восклицал: “Милая, светлая родина! Вся наша безграничная сыновья любовь - тебе, все наши помыслы - с тобой” (8, 215). После получения Нобелевской премии о своем настроении и своей оценке этого факта он сказал: “Тут преобладает чувство радости оттого, что я - хоть в какой-то мере - способствую прославлению своей Родины и партии, в рядах которой я нахожусь больше половины своей жизни, и, конечно, родной советской литературы” (Могучий талант. С. 234). В 1970 г. он писал: “Я родился на Дону, рос здесь, учился, формировался как человек и писатель и воспитывался как член нашей великой Коммунистической партии. Я вырос в среде трудящегося казачества, того, которое потом, в годы гражданской войны, называли красным за поддержку Советской власти. ...И, будучи патриотом своей могущественной Родины, с гордостью говорю, что являюсь и патриотом своего родного Донского края” (Мировое значение... С. 8-9). В 1956 г. Шолохов утверждал, что “никому не отнять у нас нашей великорусской гордости” (8, 334). В 1957 г.: “Никогда не померкнет наша патриотическая гордость, закованная в булат таких пословиц: “Наступил на землю русскую, да оступился”, “С родной земли - умри, не сходи”, “За правое дело стой смело” (8, 339-340).

Француженка О. Карлайл-Андреева, внучка Л. Андреева, в начале 60-х гг. встретила с Шолоховым и засвидетельствовала: “... о России и русских он говорил с пронизательностью и лиризмом. В этом не было ни капли притворства, а

только великая, неутомимая любовь. Я ни разу не сталкивалась со столь земным и в то же время прочувствованным отношением к России” (Вопросы литературы. 1990. № 5. С. 28). Побывав в Вешенской, повстречавшись с Шолоховым, финский писатель М. Ларни так определил суть его любви к “малой родине”: “Мне понятна любовь Шолохова к Дону, к его природе и людям. Дон для него не просто черная плодородная земля и желтый бесплодный песок. Дон - это живое, одухотворенное целое. Человек, которого до слез волнует воспоминание о тяжелых боях за свободу родины, - это не только солдат и не только пламенный патриот - это поэт, для которого родина его собственная плоть и кровь...” (Огонек. 1964. № 15. С. 7).

В октябре 1953 г. Т. Семушкин направил в ЦК КПСС письмо, где говорилось: “Группа писателей с реваншистскими настроениями, еще с момента борьбы с космополитизмом, одно время притихшая, вновь поднимает голову, и небезуспешно. ...Так по существу в их руках оказалась “Литературная газета”, значительная часть аппарата Союза писателей с его секциями и постоянными творческими комиссиями и многое другое. Ядро же русских писателей, определившееся минимум в 20 процентов, по одиночке избивается и устраняется от руководства с виду весьма конституционными методами. Так фактически отстранен от руководства Панферов. Софронов устраняется от руководства, игравший до сего времени большую роль в деле сохранения советского, чисто русского начала в нашей литературе”. Далее отмечалось, что в результате деятельности Симонова как редактора “Литгазеты” в ней “со всех командирских должностей русские литераторы устранены” (Вопросы литературы. 1993. Вып. 3. С. 239). 14 октября 1953 г. состоялось партийное собрание группы правления Союза советских писателей. В отчете о нем, в частности, говорилось о пристрастии Симонова к писателям “одной национальности”, о “тенденциозной защите А. Фадеевым группы раскритикованных ранее писателей одной национальности” (243). 23 сентября 1954 г. М. Бубеннов обратился с письмом к Г. Маленкову, в котором предлагалось, чтобы основным докладчиком на 2 съезде писателей был Шолохов, а руководство Союза писателей даже не обратилось к нему “с просьбой сделать основной доклад (хотя бы о прозе)... руководство Союза писателей почему-то отстраняет М. Шолохова от руководящей литературно-общественной деятельности” (261). Нетрудно заметить, что приведенные в этих письмах факты и суждения свидетельствовали о целенаправленной борьбе “интернационалистов” с писателями, стремящихся укрепить и прославить свою родину.

Шолохов не только многократно говорил о своей любви к России, русскому народу, всеми своими делами способствовал ее величию и процветанию, но и возмущался тем, что о “России русские не имеют права громко говорить, только шепотом” (Литературная Россия. 1991. 1 марта). Сходных позиций придерживался Леонов. Председатель Комитета госбезопасности Ю. Андропов в секретной записке сообщал ЦК КПСС 8 июля 1973 г.: “Среди окружения видного писателя Л. Леонова стало известно, что в настоящее время он работает над рукописью автобиографического характера, охватывающей события периода коллективиза-

ции, голода 1933 года и репрессии 1937 года... Автор также выступает против проявляющихся, по его мнению, тенденций предать забвению понятия “русское”, “русский народ”, “Россия” (Вопросы литературы. 1994. Вып. 5. С. 283).

Шолохов в свое время иронизировал над теми “доморощенными “иностранцами”, которые вместе с западными “друзьями”, хотят “отсечь нас от добрых революционных традиций, объявив все это прошлым” (Правда. 1974. 31 июля). Сейчас особенно хорошо становится понятным шолоховское возмущение “тупоголовыми американскими остряками”, которые пропагандировали “в своей печати рисунок, изображающий пресловутого дядю Сэма, протянувшего через океан руки к Москве и другим городам нашей родины. Под рисунком лихая надпись: “Вот какие длинные руки у дяди Сэма!” (8, 233). В наше время эти “дяди” обсуждают вопрос о колонизации России, о покупке Сибири...

После критики в печати Евтушенко обратился за помощью к Шолохову. Приехав к нему в Вешенскую, подарил книгу с надписью “Дорогому Шолохову... с благодарностью за все”, вылил обиды на антисемитов, а тот, послушав его болтовню и хвастовство, почувствовал желание поскорее прекратить встречу. Позднее Шолохов поведал поэту А. Маркову: “И чего только он не порассказал: все президенты, министры, кинозвезды, в том числе Фидель Кастро, у ног его побывали. Он даже признался, что прямой потомок Ермака... Чтобы не дошел в своих воспоминаниях до родства с Чингисханом, я постарался поскорее расстаться” (Литературная Россия. 1991. 1 марта).

Долго Евтушенко таил обиду на Шолохова, перешедшую в ненависть, наверное, потому, что тот подчас говорил такое, что выводило его из себя. Подумать только: Шолохов осуждал использование своего служебного положения или авторитета для получения выгоды: “Представь, чтобы Толстой пришел в редакцию “Нивы” пристраивать рукопись своего сына. Или Рахманинов просил бы Шалыпина дать своей племяннице петь с ним в “Севильском цирюльнике”. Или, еще лучше, Менделеев основал бы институт и посадил директором своего сына” (Мировое значение... С. 17). Нет, Евтушенко не такой бездушный святоша, он сам сочинил ходатайство о присвоении своей матери звания заслуженного работника культуры, хотя она трудилась в другом ведомстве. Он пришел к министру культуры РСФСР Ю. Мелентьеву, а тот не помог “его восьмидесятилетней матери - старейшему киоскеру страны - получить почетное звание” (Литературная газета. 1991. 30 января).

Евтушенко дождался своего звездного часа, облил Шолохова помоями в статье “Фехтование с навозом” (Литературная газета. 1991. № 3), в которой явно обнаружил свое агрессивное “человекофобство”, злобное бескультурье, грубость и цинизм. Он приврал, заявив, что Шолохов “обещал защитить его “Бабий Яр”, на самом деле Михаил Александрович так отозвался о нем: “Длинные, спекулятивные, подхалимски политикантствующие стихи” (Литературная Россия. 1991. 1 марта). Мстительная власть фантазии Евтушенко поставила милицескую будку у шолоховских ворот. Свою ущербность он приписал Шолохову, обнаружив у него “провинциальное чванство перед слабыми и заискивание перед

сильными мира сего”. Но кому не известно, сколь доступен был Шолохов по отношению к простым людям, с каким достоинством писал смелые письма верховным правителям, сколь внимательно он относился к просьбам избирателей, когда был депутатом Верховного Совета СССР. Немного времени был в такой роли и Евтушенко. Получив письма от избирателей, он пришел к сотрудникам секретариата Верховного Совета и потребовал разобраться с поступившей к нему почтой. Его очень возмутило возражение: “Но это же письма лично к вам. Мы не можем принимать решения по ним от имени депутата, не зная его мнения” (Советская Россия. 1989. 10 декабря).

Евтушенко представил Шолохова шовинистом и антисемитом. Тут пригодились и то, что русский классик “издевательски назвал повесть Эренбурга “Оттепель” “слякотью”. Но повесть на самом деле далека от совершенства, Шолохову она не понравилась, и никто его не лишал права на собственную оценку. Вместе с тем следует указать, что он высоко ценил патриотическую работу Эренбурга в годы Отечественной войны, подчеркивая, что тот “писал действительно нужные вещи, очень ценно это было тогда” (Шолохов на изломе времени. С. 167). Евтушенко припомнил Шолохову и то, что он “выступил с шовинистическим призывом отменить псевдонимы”. По словам Симонова, Шолохов тогда “между прочим попер против Сталина”, который на одном из совещаний сказал: “Разве писатели не имеют права выступить под псевдонимом?” Но какое отношение к шовинизму имеет хотя бы то, что друг Шолохова И. Ф. Трусов опубликовал в 1927 г. сборник рассказов “Ярь” под псевдонимом “И. Трусов-Заревой”, после чего недовольный этим Шолохов стал шутливо издеваться над ним, называть “Ваня Трусов-Зверовой”, и тот “навсегда бросил псевдоним” (Молодая гвардия. 1993. № 2. С. 252). В. Ерофеев рассудил: “В девяти случаях из десяти человек, меняющий фамилию, прохвост” (Знамя. 1995. № 8. С.167). Когда в одном из писем Шолохова обвинили в антисемитизме, он ответил: “Ни одно из своих произведений никогда никому не посвящал. А именно рассказ “Судьба человека” посвятил большому моему помощнику в нелегком творческом труде заведующей Ленинской библиотеки товарищу Левицкой Евгении Григорьевне, члену партии с 1903 года, по национальности еврейке” (Дон. 1987. № 11. С. 143).

В марте 1978 г. Шолохов обратился к Л. Брежневу с письмом, в котором утверждал, что “чрезвычайно трудно, а часто невозможно устроить выставку русского художника патриотического направления, работающего в традициях русской реалистической школы”. И далее: “Принижена роль русской культуры в историческом духовном процессе, отказывая ей в прогрессивности и творческой самобытности, враги социализма тем самым пытаются опорочить русский народ как главную интернациональную силу советского многонационального государства, показать его духовно немощным, неспособным к интеллектуальному творчеству. ...Особенно яростно, активно ведет атаку на русскую культуру мировой сионизм. ...Широко практикуется протаскивание через кино, телевидение и печать антирусских идей, порочащих нашу историю и культуру”. Шолохов посчитал, что “становится очевидной необходимость еще раз поставить вопрос о более

активной защите русской национальной культуры от антипатриотических, антисоциалистических сил, правильном освещении ее истории в печати, кино и телевидении, раскрытию ее прогрессивного характера, исторической роли в создании, укреплении и развитии русского государства” (Вечерняя Москва. 1993. 15 декабря). Была создана комиссия, Политбюро приняло секретное постановление, в котором предлагалось “разъяснить Шолохову действительное положение с развитием культуры в стране и в Российской Федерации, необходимость более глубокого и точного подхода к поставленным им вопросам в высших интересах русского и советского народа” (Осипов В. Годы... С. 85).

Шолохов любил и ценил Есенина, перекликался с ним в своих раздумьях о родине, впитал в себя его боль за судьбу России. У них близкое понимание национальной жизни, исторических нужд и чаяний нашего народа, исходных позиций русской литературы, есть общее в использовании фольклора и его традиций. М. Обухов вспоминал: “Михаил Александрович как-то Озимому и мне прочитал с десятков стихотворений Есенина. Я тогда почувствовал: это один из любимых его поэтов. Да оно и понятно. Метафоричность и вся образная система Есенина близки к народной поэзии. Она не могла не увлечь Михаила Александровича, тоже близкого к самым истокам народного творчества” (Творчество М. Шолохова. С.295). Шолохов вместе с М. Исаковским и Вс. Ивановым “просил ЦК разрешить сестрам Сергея Есенина - пожилым и нуждающимся женщинам - вступить в пользование наследством”. Он “дал согласие стать главным редактором первого академического собрания сочинений Есенина. ...согласие Шолохова сыграло преогромную роль в ускорении есенинской издательской программы” (Осипов В. Годы... С. 71).

По словам А. Калинина, из наших современников ближе всего Шолохову “был М. Исаковский - его стихи он часто цитировал, ссылаясь в своих выступлениях” (Литературная Россия. 1985. 24 мая). Называя Исаковского “большим русским поэтом”, Шолохов предупреждал западных деятелей, “плохо разбирающихся в нашей жизни, в характере советских людей”: “Не мешало бы им, прежде чем бряцать оружием, понять солдатскую песню о родине, написанную поэтом Михаилом Исаковским: “Пускай утопал я в болоте, Пускай замерзал я на льду, Но если ты скажешь мне снова, Я снова все это пройду” (8, 348).

В 1939 г. Шолохов опубликовал в “Правде” статью “О простом слове”, посвященную шестидесятилетию Сталина. В ней он писал: “Народ любит своего вождя, своего Сталина, простой и мужественной любовью, и хочет слышать о нем слова такие же простые и мужественные”. Он полемически - по отношению к высокопарным статьям о любви к вождю - подчеркивал, что Сталина можно “благодарить без многословия, любить без частых упоминаний об этом и оценивать деятельность великого человека, не злоупотребляя эпитетами”. Шолоховский принцип в истолковании величия Сталина и в выражении ему своей признательности господствует в лирике Исаковского. В стихотворении “Слово к товарищу Сталину” замечается прямая перекличка с Шолоховым: “Позвольте ж мне сказать Вам это слово, Простое слово сердца моего”. Самое важное, что Исаковско-

го роднит с Шолоховым, - это отношение к родине, России, русскому народу, ярко выраженная “русскость” в его мировосприятии. В 1946 г. он восклицал: “Славься, Россия, бессмертною славой, Славься, великий наш русский народ”.

В 1945 г. Исаковский создал наполненное глубоким трагизмом стихотворение “Враги сожгли родную хату” (Шолохов выучил его наизусть), которое раскритиковали С. Трегуб, Э. Литвина, А. Бочаров, посчитавшие его “рассадником страданий”. В первом номере за 1995 г. “Литгазета” откликнулась на это произведение статьей Вл. Корнилова “И холоп, и пророк”, проникнутой неприязнью к личности Исаковского. Автор признает, что “Враги сожгли родную хату” - “стихи великой лирики”, что “за пятьдесят лет о печалях, горе и поражении (?) в великой войне никто лучше Исаковского не сказал”. Вместе с тем он не мог понять, как это именно Исаковский создал такой шедевр. Корнилов сокрушается: “Поэты куда правдивее, талантливее и мужественнее Исаковского таких стихов не написали”. Он удивляется: “как мог столь замечательное стихотворение написать человек с вполне сервильным сознанием”, он, мол, не раз шел “супротив своей совести”.

У Корнилова странное представление о сути таланта, художественной правде и мужестве, способности жить нуждами и чаяниями родины, ему не дано верно понять особенности мировоззрения и поэзии Исаковского, который, как отметил В. Лакшин, “был не по званию и призванию, а по подлинному разлету своей популярности народным поэтом. Личность и творчество Исаковского отмечены одной чертой, одним свойством, окрашивающим все, что он писал и делал: поразительная, щепетильная, не знающая оговорок и уклонений правдивость” (Знамя. 1987. № 10. С. 3). Твардовский подчеркивал, что самая важная черта характера Исаковского - “почти беспримерная, как бы врожденная правдивость”, что отразилось в его творчестве. Произведения Исаковского - в соответствии с его миропониманием, особенностями его дарования - правдиво, хотя и избирательно, раскрывали существенные стороны того жестокого и великого времени.

Основа отмеченных выше противоречий и расхождений глубока и важна, ибо речь идет об определяющем направлении в развитии русской культуры: то ли она должна держаться почвенно-русских традиций, то ли ей уготовано свернуть в русло иноземных влияний и потерять свое подлинно национальное лицо. Нашей литературе угрожает то, что наблюдается сейчас в кино и театральном искусстве, где полузагублена, если не загублена вообще, национально-русская ветвь развития, где мало что напоминает о русских корнях, русской почве, о русском художественном мышлении, о русском видении мира.

Приведенные выше факты красноречиво подчеркивают, какая непроходимая стена стоит между глубоко патриотической позицией Шолохова и теми, кто льет грязь на Россию, русский народ, на выдающихся русских писателей. Для них Шолохов - бельмо на глазу, всем своим творчеством он уличает их не только в бездарности, но и в изменническом отношении к России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

М. Шолохов в полную силу олицетворяет собой Россию, русский народ, его поразительную талантливость, могучий размах, богатырские возможности, мощную устремленность к общечеловеческой правде и справедливости, к социальной гармонии мира. По словам В. Распутина, “Шолохов навсегда войдет в наше ощущение Родины, духовной ее мощи, которая выказывалась в нем именно тогда, когда больше всего это было необходимо” (Литературная газета. 1984. 29 февраля).

Шолохов в своих произведениях, особенно в “Тихом Доне”, с предельной правдивостью раскрыл самые существенные закономерности великого по своему нравственному и социальному смыслу революционного времени, показал острые конфликты русской жизни XX века, смятенную душу русского человека, его противоречивые крайности, мудрость, простоту и доверчивость, его сложившуюся веками философию и психологию, отразившие великую историю нашего народа. Простые люди труда стали яркими носителями высоких побуждений, устремленными к вековечной идее справедливой жизни.

Творчество Шолохова питалось живительными идеями Октябрьской революции, они возвысили простых людей, но вместе с тем писатель показал, что не подошло еще время, когда они могут жить по законам нравственной гармонии, полной социальной справедливости. Художественный гений Шолохова раскрыл и те опасности, какая несла с собой новая власть. Его произведения наполнены горячими думами о русской земле, о ее будущем, отразили героическую борьбу нашего народа за свою честь и независимость. Высшие интересы советского народа были и самыми сокровенными интересами Шолохова, всю свою жизнь, все свои богатырские силы, весь свой уникальный талант он отдал любимой родине, России, которую он навсегда прославил своими произведениями.

По словам Е. Исаева, “Шолохов - человек непоколебимого мировоззрения, самого наиприродного, самого высоконравственного”. Поэт посчитал, что “лицо у него летописца. Он где-то там, еще в нашем “Слове о полку Игореве”, оттуда его талант, оттуда его энергия неповторимого слова. Не знаю, это, видимо, последняя вершина мировой классики XX века. И, пожалуй, одна из самых великих вершин” (Литературная газета. 1984. 29 февраля). Вещие слова!

Просидев весь вечер на берегу Дона и услышав рассказ Шолохова о суровых годах своих “университетов”, М. Ларни поведал интересную мысль: “Наш английский друг Роджер Лаббок... сказал мне утром, что теперь ему открылось подлинное лицо Михаила Шолохова как человека и как писателя. “Ведь он же пророк и провидец, - сказал Лаббок. У него лишь одно призвание и цель в жизни: изображать человека как индивидуальность и как часть огромного целого”. Я совершенно согласен с Лаббоком” (Огонек. 1964. № 15).

Причины клеветнической кампании против Шолохова кроются не столько в собственно литературной обстановке, сколько в идеологических, политических условиях нашего времени. Эта непрекращающаяся кампания - часть хорошо спланированной акции, ставящей далеко идущие задачи по разрушению русского национального самосознания, в конечном счете - российской государственно-

сти. Она свидетельствует о прискорбном нравственном разложении “демократической” интеллигенции, той ее немалой части, для которой Россия - “эта страна”, не имеющая права претендовать на самостоятельный - успешный - путь исторического развития.

i